

Дальний **В**осток



1975



Хабаровские строители (слева направо)
Виктор Загорулько, Нина Спагреева, Борис Суртаев

Фото В. Садового



Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
И ХАБАРОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ГОД ИЗДАНИЯ 43-й

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- Василий Ефименко** — МАНЬЧЖУРСКИЙ АВГУСТ, повесть 3
- Юрий Кашук** — ДЕКАБРЬ, ОПЫТ; ОТХОД, ПРОЩАНИЕ; ПЕРВАЯ МОРСКАЯ, «МОЛЧАЛА И ДНЕВНИК ПИСАЛА...», «ПРОСТО ПЕЛОСЬ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ...», «ВСЕ ПРОЩЕ СЛОВ ОДЕЖДА...», стихи 62
- Валерий Тряпша** — «ЯНВАРЬ ТЫ МОИ СЕРЕБРЯНЫЙ...». «РЕЧКА ЗЕЯ...», КАМЕНЬ, стихи 66
- Станислав Балабин** — ЗОЛОТАЯ ЖИЛА, роман. Продолжение 67
- Лев Князев** — ИДУ ПО ФЕСКО, путевые заметки. Окончание 111

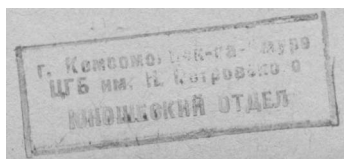
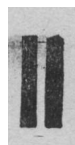
ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

- Лариса Сладковская** — СЧАСТЛИВЫЕ ДОРОГИ, очерк 125
- Вера Побойная** — ТРИ ВРЕМЕНИ СУТОК 132
- В. Александровский** — ДНИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ДАЛЬ-
НЕМ ВОСТОКЕ 135
- Всеволод Сысоев** — ВОЛОЧАЕВСКАЯ ПАНОРАМА 137

К 70-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 ГОДОВ

- И. А. Быховский** - И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ НАЧИНАЛИ СВОЙ ПОХОД 141

НОЯБРЬ • 1975



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Вольпе — ИНТЕНДАНТ ВТОРОГО РАНГА ЛОПАТИН И ЕГО «ЗАПИСКИ»	149
Л. Дорофеева — ПЛАМЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ	155
В. Федоров — ЛЕТОПИСЬ ВСЕНАРОДНОЙ СТРОЙКИ	156
НОВЫЕ КНИГИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ	158
КОРОТКО О РАЗНОМ	159

Главный редактор **Н. М. РОГАЛЬ.**

Редакционная коллегия:

В. Н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, В. М. ЕФИМЕНКО,
Н. Д. НАВОЛОЧКИН (зам. главного редактора),
В. Е. РОМАНОВ, В. М. САНГИ, П. В. ХАЛОВ.

Ответственный секретарь **К. С. ОВЕЧКИН.**

Рукописи объемом меньше авторского листа не возвращаются.

Технический редактор *Н. А. Лызова.* Корректор *А. Е. Москвитин*
Адрес редакции: 680610, г. Хабаровск, Комсомольская ул., 80. Телефон 33-13-68.

Подписано к печати 22/X 1975 г. ВЛ 12493.
Бумага 70X108^{1/16}. 5 б. л., 14 усл. п. л., 15,66 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз.
Заказ № 6424. Цена 50 коп.

Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Типография № 1 Красового управления издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.



«Дальний Восток», 1975.

МАНЬЧЖУРСКИЙ АВГУСТ

ПОВЕСТЬ

Глава первая

1

Сидеть было очень удобно: плетенное из лозы дачное кресло чуть поскрипывало, июльское солнце грело изрядно, но ветер ощутимо давил на лицо, проникал в широко расстегнутый ворот гимнастерки, трепал прическу. Иногда, когда железнодорожный путь начинал извиваться, протискиваясь между густо поросшими лесом сопками, дым паровоза ослабевшими, разреженными клубами переваливал через платформу. Угольная пыль заставляла прикрывать лицо книгой.

Эшелон длинный, тяжелый: только два пассажирских вагона в нем, а остальные — знаменитые, воспетые и много раз проклятые красные теплушки, вперемешку с платформами, на которых стояли пушки, зарядные ящики, спецмашины... Кочегары на подъемах шуровали вовсю. Военский эшелон шел по графику пассажирского. Только и разницы — не останавливался у вокзалов больших городов, проскакивал их с ходу.

Конечно, из всех в эшелоне только его начальник подполковник Корзун был доволен, когда эшелон с ходу минует очередной городок. Меньше беспокойства и причин для нежелательных ЧП. Всегда может найтись какой-нибудь разгильдяй, который отстанет от эшелона, невзирая на старания старших по вагонам и дежурных.

Ах, товарищ подполковник Корзун, строгий начальник эшелона. Ну чем вам мешает это кресло-качалка, такое удобное для отдыха? Разве мы не заслужили отдыха?

— Старший лейтенант Морозов! Немедленно убрать кресло! Это вам воинский эшелон, а не дача!

— Слушаюсь, товарищ подполковник!

Шофер Иван Лотяну тут же опустил кресло за другой борт платформы, но не сбросил его, а прицепил за проволоку. Ловок молдаванин. Он тоже предпочитал находиться на платформе, лежа на сиденьях, вынутых из машин. Теперь на остановках кресло пряталось в кузов, а как эшелон трогался, водворялось на обычное место возле МГУ¹, которая стояла на платформе, надежно закрепленная проволочными растяжками, колодками под колесами.

Иван Лотяну и ночевал в машине. Спокойнее, надежнее и посвободнее, чем в теплушке. Похожий на цыгана парень не всегда был в ладах с требованиями уставов. Но находчив и ловок. За это стар-

¹ МГУ — мощная громкоговорящая установка.

ший лейтенант многое прощал ему. Да еще за песни под гитару. Даже во фронтовой ансамбль приглашали парня. Отказался.

«Спасибо. По гроб жизни не забуду. Только что я отвечу дяде Курцу, когда с войны вернусь? «Ну как войну воевал?» — спросит, а я в ответ: «Пел и плясал». Не подумайте плохо. Ансамбль тоже нужен, но меня он не устраивает. Вот эта «гитара», — кивал он на МГУ, — громче десяти ансамблей сыграть может».

Вот и висит его гитара рядом с карабином в кабине машины. И как только уцелела — просто удивительно. Почти год она здесь висит.

Восьмой день они в пути. Восьмой день, а конца и края не видно. Велика и необъятна Россия! И как только бесноватый фюрер решился напасть на нее? Мелко мыслил, мерзавец, и как скорпион сам себя убил.

До Урала!.. Это надо же придумать. Представляли ли себе фрицы, что такое Россия до Урала? А разве она Уралом кончается? Вот и Урал эшелон давно пересек, а Россия продолжается. Они еще до Байкала не добрались, но ведь и за ним еще ехать да ехать.

Теперь всем стало понятно, куда их везут, хотя начальство на вопрос «куда» отвечало уклончиво. И младенцу теперь понятно. Если бы их часть мчалась только в Сибирь, то можно было бы подумать — на новое мирное место дислокации. Но тут каждая станция забита эшелонами. Если везут на восток столько самолетов, орудий, танков, самоходок, «катюш», то становится понятно даже самому дубоватому. Настала пора навести порядок и на Востоке. Развороченная разоренная Европа только-только приходила в себя, привыкая к тишине, без рева самолетов, разрывов авиабомб, орудийных сполохов. А в Азии война полыхала еще вовсю, и пора с ней было кончать.

Не очень прямо, иносказательно об этом говорили политработники. Офицер штаба знакомил командиров с организацией и вооружением японской императорской армии.

Старший лейтенант Морозов не особенно задумывался над этим. «Надо так надо!» Человек он холостой и одинокий. Одинокий!.. Проклятая война. Сталинград остался в его памяти светлым, просторным; больше сорока километров правого берега уступила ему Волга под дома. А на северном краю города, в поселке тракторного завода бегал не так еще давно школьник Алешка Морозов — заядлый рыбовод и конструктор детекторных приемников. Он и связистом стал поэтому. Только батя, Никита Михайлыч, внес поправку: «Ну, раз



Дальневосточный писатель Василий Михайлович Ефименко родился в 1915 году. Много лет служил в рядах Советской Армии, прошел путь от рядового до подполковника. Участник боев против милитаристской Японии.

Автор четырех сборников рассказов, книги путевых заметок по Японии, романов «Смертник» и «Когда цветет сакура», затем объединенных под наименованием «Ветер богов», повестей «Привидение с Гуама» и «Интервью».

ты нашему фамильному кузнечному ремеслу не наследуешь и тебя другая техника завлекла — не возражаю. И связисты люди нужные, хотя, конечно, с кузнецами не сравнишь. Но вот тебе мой наказ: если хочешь быть связистом, то — связистом военным. Тревожно в мире стало, сынок. Не миновать войны».

Отца Алексей уважал по-настоящему. Тот в кузнечном цехе ковал коленчатые валы, и его портрет неизменно находился в галерее портретов стахановцев. А в гражданскую войну он Царицын от белых защищал.

Выполнил Алексей наказ отца. К тому же, когда он заканчивал школу, уже гремели пушки на Халхин-Голе, а за год до этого разгромили самураев на Хасане. И в Европе фашисты начали войну. Нет, батька был мудрый человек.

И ничего от Сталинграда не осталось. Пустые обгоревшие коробки домов, груды битого кирпича и обломки бетонных глыб. Нет ни одного уцелевшего деревца в Комсомольском садике, куда они с Раиской по вечерам заглядывали. И ни следа, никаких известий об отце, матери и сестренке. Отец наверняка из города не ушел, сложил свою голову, может быть, в родном пролете кузнечного цеха, около своего молота, как в старину пушкари около Пушек. Матери, сестренке, возможно, удалось эвакуироваться, и он еще разыщет их. Надежда есть, на войне и не такие чудеса случались.

А Сталинград отстроят, еще красивее будет. Только он никогда в этот город не вернется. Не потому, что там его никто не ждет. Ведь даже птицы возвращаются к родному разоренному гнезду и снова его восстанавливают. Он не думал возвращаться в Сталинград, потому что все эти годы его не оставляло чувство вины, чувство, что и за ним какая-то доля вины есть в том, что фашисты разрушили родной город, дошли до Волги. Алексей Морозов воевал честно, никто не сможет его упрекнуть. И награды даны ему недаром. Он и кровь пролил, случайно остался жив, провалявшись полгода по госпиталям. И не его вина, что войну он закончил всего-навсего начальником МГУ и от младшего лейтенанта добрался до старшего, когда другие его товарищи, с кем начинал военную службу, носят погоны с двумя просветами. «Ограниченно годный» — ...«клеймо» поставили ему после госпиталя. Кто подолгу сидел в армейском резерве, хорошо знает, что это такое. Да и быть начальником МГУ тоже не просто. Иные, правда, могут съязвить: «С музыкой катаешься». А ведь эта машина скольким жизнь спасла. Только никто не подсчитывает, и подсчитать это невозможно.

За этой машиной, которая не стреляет ни снарядами, ни минами, фрицы охотились ожесточенно, иногда открывали огонь из минометов и орудий, как при контрбатарейной стрельбе. Огнем они пытались заглушить ее могучий голос. На ней следы пуль и осколков, и экипаж нес потери, как и боевые расчеты пушек, экипажи танков и самоходок.

Политотдельцы называли ее «звуковой», но Морозову не нравилось такое название для МГУ. В этом названии есть что-то уменьшительное. Сам он называл ее «громкоговорящая». Такое название казалось более весомым, точным, более подходящим для боевой машины. Хотя называли же грозный реактивный миномет ласковым словом «катюша».

Никогда Морозов не забудет случай в августе 1944 года. Они прибыли тогда на передний край неподалеку от Великих Лук — города, от которого осталось одно название, и он просматривался насквозь. Ночью, после того как «громкоговорящая», трижды меняя

позиции из-за вражеского огня, провела сеансы передач и готовилась уже отбыть, чтобы не стать на рассвете легкой добычей противника, к ним подошел капитан — командир батальона, — на участке которого находилась тогда МГУ. Капитан был небрит, и глаза его налились кровью от переутомления и недосыпания.

— Слушай, старший лейтенант, у тебя Гимн Советского Союза есть, на твоих пластинках? — хрипло спросил он.

— Есть, — удивился несколько его вопросу Морозов.

— Выручай, старший лейтенант. Два раза мы атаковали эту проклятую высоту, — кивнул он в сторону невидимого в ночи переднего края, — и никак. Уперлись фрицы. Сейчас мои убитых и раненых вытаскивают, что днем полегли. А «хозяин» звонил: если утром не возьму эту горку проклятую, под трибунал меня. Только трибунал меня не дожидается — некого судить будет.

— Но чем я могу помочь?

— Атака в пять ноль-ноль. И, как только артиллеристы перенесут огонь — я и с соседями договорился, помогут огоньком, — после красной ракеты мои пойдут. Тогда дай на полную железку Гимн, вдохнови славян. А потом «ура» покричи. Ведь вон какая силища у твоей машины — дивизию перекричит. Ну, как, а?

Морозов думал недолго. Если действовать по инструкции, то он не мог рисковать ни машиной, ни ее экипажем. Даже в случае удачи начальство, если узнает, устроит нагоняй. Но он не мог и не имел права отказать капитану, который уже решил, что, если и третья атака захлебнется, навечно лечь на поросших желтым бурьяном склонах этой безымянной горки.

— Добро! Сделаем! — твердо проговорил он тогда.

— Да, да! Заверяем вас! — поддержал диктор Игорь Пермин — застенчивый как девушка, талантливый лингвист, аспирант университета. Если бы не война, он давно бы закончил свою диссертацию с мудреным для Морозова наименованием.

— Спасибо, хлопцы! — облегченно вздохнул капитан. И тут только Морозов понял, что капитан молод, может быть, даже моложе его, и только неимоверная усталость и напряжение делали его таким старым на вид.

— Конечно, — продолжал комбат, — фрицы, может, из-за огня и не услышат вас. Но до моих-то дойдет.

— Дойдет и до фрицев, — заверил его Морозов. — У нас выносные динамики есть. Фрицам под самый нос поставим. Покажи куда.

Оператор Якуб Гаврилович — флегматичный, пожилой белорус, единственный, кто остался из прежнего экипажа МГУ, шофер и Игорь Пермин бросились снимать динамики, подсоединять катушки с проводом. Вскоре они исчезли, сопровождаемые молчаливым ординарцем комбата.

Комбат разыграл атаку, как по нотам. Ровно в пять ноль-ноль предутреннюю тишину взорвал грохот орудий. Темные, с проблеском огня разрывы снарядов плотно легли на передний край немецкой обороны. МГУ была наготове: аппаратура прогрета, адаптер в руках оператора готов лечь острием иглы на пластинку и начать трансляцию.

«Хорошо помогают соседи комбату», — подумал Морозов, всматриваясь через трофейный цейсовский бинокль. В первой траншее у немцев не должно было остаться ничего живого. Но Морозов знал, что так всегда кажется, когда смотришь на артоподготовку, но потом, когда огненный вал перекатывался дальше, оживали уцелевшие огневые точки и косили атакующих. Хорошо, если немцы не ушли

из первой траншеи, оставив только охранение. Бывало и так — немцы умели воевать.

Внезапно, так, как и начался, артогонь умолк, вскоре стена разрывов обозначилась дальше, на склонах «Проклятой», поближе к ее вершине. В воздух взвилась красная ракета, и Морозов крикнул оператору: «Гимн»!

И, словно подчиняясь мощным торжественным звукам, на безлюдном до этого нашем переднем крае из-под земли появились фигурки солдат и бросились вперед, стремясь достичь вражеской траншеи, пока гитлеровцы не пришли в себя. Они бежали, спотыкались, падали, снова вставали. Морозову казалось, что именно звуки Гимна помогали им подняться и снова идти вперед. Стали видны разрывы ручных гранат. «Очищают первую траншею», — пересохшими от волнения губами сказал Морозов Пермину, который стоял рядом и тяжело дышал, сжимая руками, как гранату, микрофон.

Серые фигурки, не задерживаясь, стали штурмовать склоны «Проклятой». Некоторые из них, падая, не поднимались. Звуки Гимна закончились.

«Микрофон!» — крикнул Морозов, и вместе с Перминым он стал кричать «Ура», будто это он сам, сжимал автомат, падая и подымаясь, хватаясь руками за жесткий бурьян, задыхаясь и матерясь, шел в цепи атакующих солдат.

Поредевшая цепь атакующих достигла вершины и перевалила за нее.

— Все! — выдохнул Морозов. — Все! Якуб! Игорь! Жмите за динамиками. Быстрее! Если фрицы вызвали авиацию и нас засекут, то хана. Иван, выводите машину на дорогу!

Они успели заскочить в ближний лесок, когда над дымящейся сопкой показались «мессершмитты». Но тут на немцев со стороны солнца свалились наши «лавочкины», и в воздухе закружилась сумасшедшая карусель.

— Ну, хлопцы, счастлив наш бог, — облегченно проговорил Морозов, вылезая из кабины. — Еще потопаем по земле. А комбат, молодец, взял высоту. Закуривай!

Из кузова машины вышли Пермин и Гаврилович.

— В одном динамике три дырки. Только в раструб попали, ерунда, — медленно проговорил Гаврилович.

— Загорай, воины. Придется обождать, пока фрицев дальше отгонят. Теперь им не за что зацепиться.

Игорь Пермин достал носовой платок, старательно вытер лицо, аккуратно сложил платок, спрятал в карман и, глядя в сторону, проговорил:

— Я первый раз видел такое. Идут на огонь и умирают. Не знаю — смог бы и я вот так. Да... А этот комбат там, у динамиков, обнял меня и поцеловал. А тебе, старшой, вот передал, — закончил он, протягивая Морозову «вальтер». — На память. А я эту атаку на всю жизнь запомню. Навсегда!

Морозов повертел в руках пистолет.

— Неплохая машинка, — подтвердил он. — У меня уже был такой, сам с одного оберлейта снял. Только я к ТТ привык. Возьми, Игорь, себе. Пусть будет на память от капитана и от меня. А в атаку ты бы смог. Понимаешь — смог бы! Только тебе в атаку не надо ходить. Тебе еще диссертацию надо закончить...

Незаконченной осталась диссертация. Перечеркнула ее война. Случилось это через три месяца. День в день. Они трое сами выкопали могилу Игорю...

2

Алексей закрыл книгу. Она была без начала и конца, перевод с французского. В ней излагалась довольно скучная история скучных людей с достатком. Книгами его снабжал Иван Лотяну, неведомо где их добывавший. Да еще лейтенант Юрий Доронин — начитанный до невозможности человек, помнящий уйму стихов. Возможно, он сам тайком их сочинял да выдавал за чужие. Надо же, «Василия Теркина» знал до последней строчки. Хотя Алексей трудновато сходил с людьми, Юрию Доронину он сразу пошел навстречу. Корреспондент армейской газеты был общим любимцем. Во время боев он все время толкался на переднем крае, лез в самое пекло. «Пойми, Алексей, — объяснял он, — я же должен сам видеть, понять, почувствовать. Иначе как же писать о наших воинах? Пишут часто после события, по рассказам других. А наш солдат — человек скромный и о себе скупко говорит. Вот и раскрашивают испытанными приемами. Мне до настоящего газетчика еще далеко, но я хочу писать правду, без прикрас. Правда о нашем солдате и не нуждается в прикрасах».

Долговязый, светловолосый, он носил очки в металлической оправе — ими он очень дорожил из-за сильной близорукости, и поэтому к дужкам была привязана резинка, которую он надевал под шапку или пилотку. Гарантия не потерять очки в любой передрыге. Заметил за ним Алексей еще одно качество. Если кто Доронина обманывал или нес явную чепуху, он скучнел и быстро терял интерес к собеседнику.

«Я ведь не военный человек, педагогический немного не дотянул, — рассказывал он о себе. — Как демобилизуюсь — в школу. Люблю маленький народец. Вот уж где непосредственность чувств. И своих детей заведу».

Он и, действительно, выглядел не военным. Форма на нем сидела мешковато, пилотку надвигал чуть ли не на глаза. Может быть, из-за резинки для очков? И всегда у него битком набита полевая сумка.

— Иван, — окликнул Морозов шофера. — Похоже, скоро станем на обед. У нас с горячим как?

Лотяну приподнял с подушки сиденья опухшее от сна лицо.

— Пока я при этой машине, — стукнул он сапогом по колесу МГУ, — такого вопроса не существует.

— Добро. Тогда позови обедать к нам лейтенанта Доронина. Он где-нибудь с воинами.

— Есть разыскать. — Лотяну поднялся, сладко зевнул. — Ему бы следователем работать. Как пристанет к кому с расспросами, аж в пот вгонит. Ну, дотошный! И все записывает, записывает. Только на нашем Якубе и он застопорился. Чертов бараболя посопит, вякнет: «да», «нет» или «как сказать» — и все! Он, похоже, и бабе своей ночью за всю жизнь ни одного слова не сказал. Первый раз такой молчун мне попался.

— Зато ты за весь экипаж стараешься. Якуб мужик серьезный.

— Не отрицаю, — согласился Лотяну. — Я, старшой, человек компанейский. Что это за компания, если все молчать будут? И опять же с женским полом без разговора нельзя. Надо так их заговаривать, чтобы очнуться не успела, как готова.

— То-то ты из санбата поцарапанный пришел.

— Бывает. Я ж с ней, душой, по-хорошему, а она...

— Потаскун ты, Иван. Кобель, а не мужчина, — серьезно по-

смотрел Морозов на прихорашивавшегося перед осколком зеркала шофера. — Плохо это у тебя кончится. Помянешь меня тогда.

— То-ва-рищ старший лейтенант, — обиженно протянул тот. — Так когда же приударить-то всерьез? Мы с вами по всему фронту мотаемся. Тут только блицкригом и можно действовать.

— Смотри-ка, даже стратегию выработал, — насмешливо произнес Морозов.

— Непонятный вы для меня человек, командир, — оскалил белые зубы Лотяну.

— Ну-ну, чем же я непонятный? — заинтересовался Морозов.

Лотяну согнал улыбку с лица и на полном серьезе продолжал:

— Мужчина вы видный, мне бы такую фигуру, да награды, да звание. Ей-богу, ни одна бы не устояла, никаких осечек. Что я не вижу, как некоторые глазами едят одного старшего лейтенанта. Я так полагаю, что в свое время такие в монахи шли.

Морозов рассмеялся:

— Ну, загнул ты. Монах... Ты посмотри, сколько таких, что себя в руках держат. А, кстати, среди монахов бабников было не меньше, чем среди шоферов.

— Так то женатые, их жены ждут дома. Или для невест себя берегут. А у меня никого. Да и у вас. Сколько вместе, а вам ни одного письма...

— Ну, ладно, поговорили, — оборвал его Морозов. — Давай мотай за лейтенантом!

Лотяну, спрятав зеркало, пошел выполнять приказание, лихо перебираясь с платформы на платформу.

Морозов смотрел ему вслед. Ловкий парень. Он нравился командиру «громкоговорящей» именно своим веселым, неунывающим характером. Война — штука серьезная, чересчур серьезная, и если человек способен шутить, то это очень даже неплохо. Твардовский здорово об этом написал.

Монах... Скажет же такое. Алексей знает, что такое женщина. Райка, Райка... Здорово она тогда его ударила. Во время отпуска он один только раз и видел ее издали, с располневшим животом. А свадьбы у нее еще тогда не было, и была ли она — он так и не узнал. Все война перечеркнула.

Конец их любви был предрешен, впрочем, еще раньше. Одногодки, они по-разному росли. Райка уже в девятом налилась, округлилась и выглядела старше своих лет, а он был долговязый, худой юноша, у которого на подбородке только начали пробиваться признаки будущей бороды. И он боялся даже дохнуть на Райку, притронуться. Ей, конечно, нужен был парень зрелый, сильный. Не могла она ждать еще годы. Не та натура. Теперь-то он это понимает.

Еще он понял, что влюблен был только он, а Рая лишь разрешала быть ее поклонником. А он думал — на всю жизнь она одна. Ведь у них даже фамилии были близкие: Морозов и Дармороз.

Колеса платформы чаще застучали на стыках рельс. Мимо проплывал маленький разъезд. Почти у самого полотна стояла плотная курносая девчонка. На ее голове выгоревшая форменная фуражка, вихри плотно прижали ситцевое платице. В вытянутой руке зеленый флажок.

Девчонка что-то задорно отвечала на шутки солдат, сверкала зубами. По всему видно, что эшелоны для нее — главное развлечение. И, может быть, единственное.

Морозов невольно улыбнулся разбитой девчонке. Сам довольно замкнутый, он любил людей жизнерадостных. Слишком много горя

видели люди за эти годы, еще не подсчитаны все потери, не все слезы выплаканы.

Девчонка, наверное, и не сознает еще толком, как ей повезло. Повезло, что она родилась в такой необъятной грандиозной стране. Кишка тонка оказалась у фашистов, чтобы протаранить ее всю, как Бельгию или Голландию. Может быть, и в этот одинокий домик пришла похоронка, но над ним не гудели моторы «юнкерсов», не грохотали вокруг бомбовые взрывы.

Морозов все смотрел туда, где девчонка уже, наверное, свернула зеленый флажок и, поскуцнев, пошла к домику.

«А ведь, наверное, Зое не намного больше лет было», — пришла внезапно мысль. Почему? Может быть, потому, что она тоже была маленькой, не выше плеча ему, и однажды, вот так же, прямо держа руку, как эта девчонка флажок, подарила ему букетик полевых цветов. Подарила как признание, которое он тогда не понял.

Понятно, что она была совершеннолетней, иначе кто бы ее в армию взял. Но все же сколько ей лет? Вопрос, на который уже не получишь ответа.

Эх, Зоя, Зайчик. Оставила ты след на сердце. Нестираемый, как шрам на его щеке. Как же называлась та деревня, где он в первый раз ее встретил? Марьевка?! Но, наверное, они и раньше встречались. Седьмой отдел часто стоял рядом с армейскими связистами. А в этой деревне он впервые ее заметил. Он и Лотяну шли тогда из отдела к своей «громкоговорящей». Они проходили мимо машин связистов, когда увидели невысокого роста девушку, которая с немым отчаянием на лице наклонилась над раскрытой панелью радиции. В позе девушки, в выражении ее лица была такая беспомощность, что Морозов подошел к ней и участливо спросил:

— Не получается?

Девушка молча кивнула головой.

— Ну-ка, посмотрим, — отстранил он связистку.

Он внимательно осмотрел радицу, пощелкал переключателями, поворачивал ручку настройки.

— Ну-ка, Иван, принеси быстренько мой «докторский». — Так он называл фельдшерского вида чемоданчик, в котором хранил измерительные приборы и инструменты, которые брал с собой на «консультации» по радиоделам. Он очень дорожил своей славой знающего специалиста-связиста.

— Признаться, роняла? — Морозов поднял голову от радиции.

Связистка огорченно шмыгнула носиком:

— Да. Я вон о тот пенек, — кивнула она в сторону головы.

— Ну и как пенек?

— Что пенек? — округлила глаза девушка.

— Цел пенек остался?

Девушка слабо улыбнулась. Только теперь Морозов рассмотрел ее. Широкие серые глаза на узком лице. Аккуратный носик. Голова из-за светлой пышной копны волос, уложенных под пилотку, казалась большой, не по ее тонкой, чуть загорелой шее. Аккуратно подогнанная гимнастерка не скрывала ни округлости груди, ни тонкой талии. «Какой балда заставляет эту девчонку такую тяжесть таскать», — подумал Морозов, и, словно отвечая на его мысли, девушка проговорила:

— Только вы, пожалуйста, сержанту Копыловой не говорите.

— Договорились, — серьезно пообещал он. — Даже под пыткой не скажу.

Сержанта Копылову он знал. Да и кто ее не знал в штабе ар-

мии? Обладательница сержантских погонов и пышных форм была громкоголосой, требовательной и довольно яркой женщиной. И отнюдь не скромницей. А службу несла получше мужчин.

Морозов как-то стал невольным свидетелем безнадежной попытки Лотяну завоевать сердце пышнотелого сержанта.

«Оставь, Ванюша, — услышал он голос Копыловой. — На кой ты ляд мне сдался. Придушу и не замечу. Не по себе дерево хочешь срубить, парнишка. Вот станешь мужиком, как твой командир, тогда посмотрим... Того я бы сама завлекла. Да не хочу дорогу кое-кому перебегать. И учти — сунешься к кому из моего отделения — лысый уйдешь. Мое слово свято. Давай ходи!»

Морозов повернул назад, чтобы не встретиться с Копыловой, старался ее обходить и долго недоумевал, кому это она не хотела перебегать дорогу. Потом забыл про этот разговор.

— Как звать тебя? — прервал он неловкое молчание. — Давай познакомимся. — Он почему-то не мог обратиться к ней на «вы».

— Зоя, — ответила девушка, бросив на него быстрый взгляд и краснея. — Я вас знаю. Вы Морозов, командуете МГУ.

— Точно, — подтвердил он. — А звать Алексеем.

— Вас среди наших «профессором» называют, — чуть смелее произнесла она. — Это потому, что вы в аппаратуре здорово разбираетесь. У нас, когда неисправность не могут найти, так и говорят: «Надо позвать профессора». Еще и «колдуном» называют. Вот придет колдун, поколдует — и все.

— За «профессора» — спасибо, лестно даже. А вот «колдуном», — покрутил головой Морозов.

— Что вы! Они вас очень уважают. — Улыбчивое лицо девушки мгновенно изменилось, снова стало серьезным, серые глаза прямо смотрели на него.

«Ну и глаза, — удивился Морозов. — Не глаза, а фары».

— Ваше приказание выполнено! — лихо отпартовал появившийся Лотяну, подавая чемоданчик.

— Спасибо. Давай, Зоя, разберемся, какую печенку ты могла отбить у этого аппарата, — шутливо сказал он, наклоняясь над рацией.

Лотяну начал принимать картинные позы перед связисткой.

— Брысь к машине. Скоро здесь сержант Копылова появится, — командовал Морозов.

Лотяну немедленно испарился.

Неисправность была устранена. Две головы — беловолосая и черная — поднялись над рацией. Глаза связистки были полны радостной благодарности.

— А вы и на самом деле колдун, — убежденно проговорила она.

— Тогда ты ведьма, правда, курносая ведьма. Вместе же ремонтировали, — пошутил он.

— Курносая? — обиженно протянула связистка, касаясь пальцами носа.

— Шучу, — успокоил он ее. — Только не надо так расстраиваться и теряться из-за каждой неисправности. Не то я буду звать тебя не Зоя, а Зайка, Зайчонок.

— Я согласна, — лицо ее снова стало серьезным, и снова она смотрела на него не глазами, а фарами.

— Договорились, — почему-то слегка смутился Морозов. — Ну, бывай здорова. И осторожнее мимо пеньков.

— Спасибо! — нерешительно протянула она ему руку. Рука была маленькая, прохладная...

На следующий день они отправились в очередную поездку на передовую, но буквально перед выездом Морозов встретился с сержантом Копыловой.

— Спасибо за помощь, товарищ старший лейтенант, — официально поблагодарила сержант. Субординацию она признавала редко. Во всяком случае, не с молодыми офицерами.

— Какую помощь? — деланно удивился Морозов.

— Плохой бы я была командир отделения, если бы не знала, что у меня делается. И эта скромница ни слова.

— Наверное, чересчур строгий у нее командир, — отшутился Морозов.

Лицо сержанта подобрело, она улыбнулась, темные как черносливовины, глаза стали мягче.

— Папироска найдется? — спросила она. И, уже выпустив тонкой струйкой дым, продолжала. — Да, строгая. А разве мать нестрогой бывает?

— Возрастом к ним в матери рановато, — заметил Морозов.

— Дело не в возрасте, — раздумчиво продолжала сержант. — Среди них я одна замужем была и вдовой стала. Их две у меня таких — Зойка и Нинка. Скромницы. Молоденькие еще. Проклятая война. Вот такие же девчонки вас, мужиков, с поля боя таскают. А мужик легким только в постели бывает. Не думай — я и с поля боя таскала. Убитый, знаешь, какой тяжелый становится. Даже удивительно — откуда вес берется. Мне нестрогой — нельзя. Служба не разбирает, где мужик, а где баба. Только нашей сестре тяжелее. Да и среди вас есть такие, что отбиваться приходится.

Морозов недоумевал: к чему этот разговор? Уж не принимает ли она его за одного из таких?

Копылова заметила досаду на его лице.

— Не обижайся, — еще мягче проговорила она. — С тобой-то по-человечески поговорить можно. Ты «с чувствами» не полезешь, хоть и мигни тебе. Может, и не надо было такой разговор начинать... Есть у меня одна... Как на бога на тебя смотрит. А она еще и нецелованная, сама признавалась. Так вот, чтобы не обидел.

Морозов даже растерялся.

— Ничего не понимаю, — пожал он плечами. — Никто из твоих, сержант, подопечных мне не нужен. Будь спокойна — не обижу. Вроде бы и повода не давал...

— Эх ты, — сокрушенно вздохнула своей мощной грудью сержант. — Не о тебе моя забота. Только разве это справедливо, если хорошая девушка любит, а может и погибнуть нецелованная. Война ведь. Кто знает, сколько кому еще осталось?

Искренность, с которой Копылова все это сказала, смягчила Морозова. Но ему некогда было разбираться, что справедливо или несправедливо в любви на фронте. Впереди срочная поездка и довольно опасная.

— Может быть, ты и права, — ответил он. — Только мне сейчас не до сердечных дел. Уезжаю.

И, протягивая ей руку, неожиданно для себя добавил:

— Ты хороший человек, сержант!

Копылова долго стояла и смотрела ему вслед.

Уже в дороге, сидя в кабине рядом с Лотяну, он долго думал над этим разговором. «Смотрит, как на бога». Кто же это такая?..

Он было уже забыл о разговоре с командиром отделения связисток, как Игорь Пермин, возвратясь из отдела, отозвал его в сторону и таинственным голосом, лукаво улыбаясь, сказал:

— Должен сказать, что тобою интересовался один рядовой боец.

— И что из этого?

— Да то, что я первый раз видел, как военнослужащий может то краснеть, то бледнеть. А в глазах смущение. И в каких глазах! Больших, серых. Даже завидно стало.

— Зоя? Зайка! — не удержался Морозов.

— Не имел чести познакомиться, — развел руками Пермин. — И весьма сожалею. Уж очень симпатичный боец. Можно сказать, неотразимый.

Морозов поднес к его носу кулак:

— Вот это видел?!

«Значит, Зойка, — догадался он. — Вот о ком Копылова намекала».

Редко, по пальцам можно пересчитать их встречи. Зайчонок все-таки завладела его мыслями. Не так, чтобы он все время думал о ней. Неподходящее для этого время — война, неподходящее место — фронт. Но когда МГУ возвращалась в политотдел, «домой», ему приятно было знать, что кто-то его ждет, волнуется. Он видел, как она, не обращая ни на кого внимания, кидалась к их машине.

В эти редкие встречи, он позволял себе только взять в руки ее маленькую руку. И ни от кого не терпел никаких разговоров о нем и Зайке.

То, что потом случилось, произошло внезапно. Неделю МГУ пробыла на правом фланге армии — фронт тогда не двигался. В сводках поминались бои местного значения. Самое время для работы МГУ. Если войска идут вперед — не до передач. Когда они вернулись, впервые Зайка не пришла. Вместо нее пришла сержант Копылова.

— Несчастье у нас, старший лейтенант, — с тоской сказала она и, увидев испуг на лице Морозова, быстро проговорила: — С Зойкой, все в порядке. Нина — подруга ее, погибла, только что похоронили. Убивается твоя Зойка, смотреть жалко. Ты сейчас к ней не ходи. А вечером помянем подругу.

Вечером на окраине рощи, где стояли машины связистов, их собралось немного. Зоя с распухшим красным носиком тоже храбро выпила свою долю и схватилась руками за рот. «Впервой она», — кивнула на нее Копылова.

Сидели тоже недолго. Армейский механизм работал, не принимая во внимание ни горя, ни радости тех, кто его обслуживал.

— Какой из тебя сегодня дежурный, — сказала Зое Копылова, — отдежурю за тебя. Проветрись и отдыхай до утра.

И они пошли вдоль опушки. Алексей привлек к себе Зою за плечи, и она прижалась к нему, такая маленькая, беззащитная. Вечер был теплый, тихий. И ни звука. Удивительная тишина. Такая редкая и тем более дорогая. И не было для них сейчас ничего важнее того, что они рядом, вместе.

Вдруг она остановилась, положила ему руки на плечи и прижалась всем телом, потом обняла и, привстав на носки, поцеловала твердо сжатыми губами, горячо и неумело.

— Алеша, — зашептала она, — я не хочу больше ждать. Зачем ждать? Нина тоже ждала, а ее... А завтра, может, и меня. Или тебя... Я люблю тебя, Алеша...

Они расстались на рассвете. Он нес ее на руках, удивляясь, какая она легенькая и какая сильная. Расставаясь, она сказала:

— Алешенька, я теперь так боюсь, так боюсь. Уж если что, то

пусть меня... Без тебя я не смогу жить. — И, сжав ладонями свое лицо, добавила:—Я такая счастливая. Такая счастливая...

Это были последние ее слова, которые он услышал. В тот день МГУ отправилась на передовую, через два дня армия, прорвав оборону немцев, стремительно двинулась вперед, и невозможно было найти друг друга. А через неделю Зайки не стало. Машина связистов попала под бомбежку и похоронили в одной могиле Зайку и ее строгого доброго командира сержанта Копылову. Ему не удалось ни разыскать, ни побывать на этой братской могиле, где вместе с воинами мужчинами похоронены и женщины в военной форме.

Случилось это год назад. Только год, но это был год войны, когда время измеряется другими категориями, другими критериями.

Ее нет, а он живет. И верит — она без него не смогла бы.

Странно утешил его тогда Игорь Пермин.

— Тебе повезло. Ты встретил, ты познал настоящую любовь. Не каждому это дано. Не каждому...

3

С нарастающим шумом, грохотом мимо их эшелона промчался встречный поезд. Пахнуло разгоряченным теплом локомотива, порывом ветра, и, как моментальные кадры, замелькали мимо окна пассажирских вагонов.

— Фу, — выдохнул Морозов. «Что это меня потянуло на воспоминания,— подумал он. И где этот Лотяну!»— Он с досадой приподнялся с качалки.

Эшелон как раз начал описывать новую крутую дугу, и Морозов увидел, как с платформы на платформу перебираются Лотяну, лейтенант Доронин и Гаврилович. Наконец-то!

— Привел, командир! — первым у МГУ появился Лотяну. За ним сверкнул очками Доронин, и, приотстав, осторожно перебрался на платформу Гаврилович. Если была возможность посидеть «семьей», то он не упускал такой возможности. Земляки никуда не денутся, путь еще долгий. Полевая сумка Доронина разбухла, и, похоже, некоторые бумаги он уже заталкивал и в карманы.

— Нестору нашей армии привет! — радушно протянул ему руку Морозов.

— Здравствуй, Алексей. Что за неотложное дело?

Лотяну извинительно оскалился в улыбке:

— Так иначе бы мне лейтенанта не дозваться.

— Есть одно важное дело, — поддержал шутку Морозов. — Пообедать и выпить с нами!

— Вот черти! — рассмеялся лейтенант. — Только-только человека разговорил...

— Да брось ты сумку. Кривоплечим станешь от такой тяжести. Оставь часть записей у нас в машине — сохраним, как пакет секретный. Давай, Иван, что у нас там есть? По распорядку через двадцать минут обед, как раз и аппетит нагоним.

Разбавленный спирт разливал Гаврилович. Делал он это обстоятельно, не торопясь и с точностью аптекарской.

— Да не тяни ты, — нетерпеливо проныл Лотяну.

Кружки налиты, куски хлеба, колбасы, огурцов разложены на бумаге.

Доронин спросил:

— Так за что пить будем?

Морозов поднял кружку, посмотрел на всех: хорошие испытанные парни, воины.

— А я предлагаю за то, чтобы как-нибудь зашли мы в книжный магазин и увидели книгу. О войне. О ее горьких днях и о Победе. Настоящую книгу. И автор — Ю. Доронин.

Кружка в руке Доронина дрогнула.

— Спасибо, друзья, — смущенно проговорил он. — Не знаю. Для этого талант нужен. Не мне, так другому записи пригодятся.

Молча закусили. Когда Гаврилович начал наливать еще понемногу, раздался голос Лотяну:

— Когда я возил генерала...

— Ой, не могу, — заржал Гаврилович. — Ну всегда после первой про генерала зачинает. И опять набрешет. Ты, Вань, лучше скажи: за что тебя генерал турнул?

Лотяну обиженно замолчал. Приврать он, действительно, любил. Так это же для интереса в разговоре! А генерала он и вправду возил. Целых четыре месяца. Генералу он, видно, по душе пришелся и, строгий с другими, он допускал вольности шоферу. В том числе, и кудрявый в кольцах чуб. Только оплошал Лотяну. Повез он генерала в корпус, а тот дальше на передовую укатил на бронетранспортере. А Ивану приказал ждать. Лотяну же, вспомнив про одну симпатичную санитарку из соседней гвардейской дивизии, махнул к ней. Да на беду свою нарвался на полковника — начальника штаба. Полковник, увидев кудрявого красавца, распорядился громовым голосом:

— Дежурный! Взять этого пижона и привести его в порядок!

Не успел Лотяну опомниться, как взяли его дюжие гвардейцы под белые руки, посадили на скамейку и под гогот любопытствующих обкорнали его чуб машинкой под ноль. И пояс офицерский сняли, а вместо него — брезентовый надели. На все протесты Лотяну пожилой старшина успокоительно твердил: «Видно, твой генерал, человек занятый, некогда ему посмотреть, какой ты, сынок, стал. Давай жалуйся. И скажи своим начальникам, что в нашей гвардейской порядок, как в Москве».

Сел в машину Лотяну, глянул в зеркальце и даже заплакал от обиды: голова, как шар, и уши лопухами торчат по бокам.

На беду генерал раньше времени вернулся, а машины нет. И турнули Лотяну с легковой. Потом уж он на МГУ попал.

Пожалел Гаврилович товарища, не стал рассказывать эту историю при лейтенанте. А то вдруг возьмет тот и в книгу про это напишет.

Эшелон начал замедлять ход. Показались сначала одинокие дома, окруженные зеленью огородов, потом склады, кучи угля, штабеля ящиков...

— Вот и к обеду прибыли. Ну-ка, хлопцы, — скомандовал Морозов своим подчиненным, — давайте за обедом.

— Газеты раздобудьте, — попросил Доронин.

Они собрали остатки закуски и перебрались в машину, оставив дверь открытой.

— Закуривай! — протянул портсигар Алексей. — Закуривай и признавайся: будешь книгу писать?

— Если честно — есть такая мечта. Сейчас важно ничего не забыть. Вот и расспрашиваю, записываю. Что удивительно — неохотно про войну вспоминают, а ведь она, можно сказать, вчера лишь закончилась. Меня интересуют человек и война. Вот познакомился я с одним старшиной артиллеристом. Весь набор орденов Славы, Крас-

ное Знамя и медали в два ряда. Немецких танков нашелкал много и врукопашную сходил. А до войны агрономом был. Куда уж профессию мирнее, курицу не мог зарезать. Понимаешь, какое превращение?

Морозов с удовольствием смотрел на лейтенанта. Вот бы их раньше с Игорем Перминым свести.

— Не очень весело это — вспоминать войну, когда еще не все зажило. Ни на теле, ни в душе. Я, признаюсь, и сам вот до твоего прихода не войну вспоминал, а женщин, с которыми меня судьба свела.

— Вот уж не замечал, чтобы ты ими увлекался.

— Я же тебе сказал: судьба свела...

Они помолчали, думая каждый о своем.

— Ну ладно, — переменял тему разговора командир МГУ. — Человек и война... Это, я понимаю, сложно и трудно. Но вот твои записи, — кивнул он на полевую сумку, — это же отдельные кадры, из которых еще надо сделать полотно. Как мирный человек стал воином?! Да, это важно. Но ты попробуй ответить и на другие «почему?» Их много.

— Например? — весь собрался лейтенант.

— Почему мирный человек стал воином, повторяю, мне понятно. Так и в старину бывало. Напал враг на отечество — становишься пахарь ратником. Партизаны еще в первую Отечественную были... — Морозов застегнул ворот гимнастерки, провел рукой по щеке, на которой краснела иззубрина шрама. — Как тебе точнее сказать? — медленно продолжал он. — Вот я перед Сталинградом себя виноватым считаю, хотя воевать начал уже после, когда фрицев там раздолбали... Или вот мы с тобой обратный путь проехали. Я, может, только теперь по-настоящему понял, чего нам эта война стоила.

— Разве мы хотели этой войны? — мягко перебил его Доронин.

— Да что я иностранец какой, что ты меня такими истинами... Да, навязали, надо было воевать. Как тебе объяснить? Я вот в госпитале лежал, там были такие, которые еще на границе начали. Такого наслушался... Не так война началась. Не так! Почему?..

Доронин протер очки и снова надел их.

— Вот ты о чем... — протянул он. — Я бы тоже хотел другого начала. Очень хотел бы... Я вычитал у Чаадаева, что прошлое нам неподвластно, но будущее зависит от нас. Прошлое есть прошлое. И наши потомки сделают главный вывод: «Они устояли, они победили». И проанализируют наши ошибки и наши победы. Но все равно будут нам благодарны: мы обеспечили им будущее. Это ты многого от меня хочешь, — усмехнулся затем он. — Такой гигант, как Толстой, «Войну и мир» создал через полсотни лет. И, пожалуй, он первым ответил на многие вопросы своим современникам. А я только недоучившийся учитель и рядовой армейский газетчик... Ты лучше расскажи, почему в госпитале оказался. Из-за этого? — он показал на шрам от виска до мочки уха на щеке Морозова.

— И из-за этого. Ножом еще фриц меня в грудь саданул. Думал: не выживу. Я командиром взвода тогда был. Прижали нас тогда фрицы здорово, штабники гранатами отбивались, потом врукопашную схватились. Того, который меня ножом, я задушил. Еле оторвали меня санитары от него — без памяти уже был. Нас тогда танкисты выручили. В госпитале ограниченно годным определили. Еле вырвался сюда, — похлопал он ладонью по стенке МГУ.

— А дальше как думаешь? — продолжал по привычке допытываться газетчик.

— Дальше? — начал было Морозов, но тут послышались голоса Лотяну и Гавриловича. — Не знаю. К тому же, похоже, еще одна война впереди.

— Похоже на то, — согласился лейтенант.

В проеме двери показался Гаврилович:

— А я вареной бараболи купил, — довольный, сообщил он, — не такая, как наша, но ничего. Уже свисток был к отправлению.

— Тогда пошли на прежнее место, — решил командир.

Щи со свежей капустой, перловая каша да вареная картошка. Что еще надо?

Когда все было съедено, они дружно закурили. Морозов сказал:

— Доставай, Иван, гитару. Спой что-нибудь про любовь.

— Это мы с удовольствием, — охотно согласился Иван.

Умел петь Лотяну. И песню выбрал знойную, страстную. Она очень удачно укладывалась в ритм эшелона, и постукивание колес словно аккомпанировало гитаре.

Эшелон все дальше уходил на восток...

Глава вторая

1

«Только бы в разведку. В разведку! — мысленно твердил себе Николай. Эта мысль заглушала все остальное, мешала воспринимать окружающее. — Конечно, это бы лучше всего, но выбирать, похоже, не придется», — размышлял он, еще раз обежав взглядом длинный коридор, стоявших и сидевших здесь офицеров разных званий и родов войск. На стульях сидели те, кто имел на погонах два просвета, а стояли младшие по званию. В приемной и коридоре армейского отдела кадров все уставные нормы соблюдались неукоснительно. Большинство офицеров было с орденами и медалями на груди, некоторые с золотыми и красными нашивками за ранения. «Фронтовики», — уважительно подумал Николай. Он понимал, что в прославленную Краснознаменную Дальневосточную армию их прислали на укрепление. И кто-то из дальневосточников еще не знает, что ему придется уступить место фронтовику, тем, чей опыт не приобретешь ни в училище, ни в академии. Опыт фронтовиков добыт кровью, жертвами, в ожесточенных битвах от Северного до Черного морей, от Сталинграда до Берлина...

«Ну, а кто из них знает японский язык? Конечно же, никто! Для японцев «Хэнде хох!» непонятно будет». — Эта мысль утешила Николая, он приободрился и бросил взгляд в зеркало, на противоположной стене коридора. Зеркало с виду какое-то домашнее, явно случайно попало на стену серьезного военного учреждения. По углам темнели проталины от отставшего отражающего слоя, да и все оно пожелтело, покрылось мелкими крапинами. Но это не помешало ему увидеть отражение довольно бравого младшего лейтенанта, в туго затянутой гимнастерке, чуть сдвинутой наборе пилотке, под которой слегка вился в меру отпущенный, рыжеватый чуб. Правда, как считал Николай, лицу не доставало мужественности, решительности, как вон у того капитана с четырьмя орденами. Кругловатое лицо, желтоватые брови, такие же ресницы вокруг серо-голубых глаз. И нос свидетельствовал, что в роду младшего лейтенанта не было ни древних греков, ни римлян, к тому же нос шелушился от солнца.

Да и веснушек не смог скрыть густой загар. И подбородок какой-то девичий...

Мать утверждала, что Николай точная копия деда, которого он не застал в живых. Но это мало утешало парня. Дед перестарался, передавая свои черты внуку. А в остальном он внука не обидел. Широкие в меру плечи, выпуклая грудь свидетельствовали, что у младшего лейтенанта силенка есть и постоять за себя он сумеет. На турнике, брусьях и прочих гимнастических снарядах Николай был одним из первых, да и на маршах приходилось тащить не только свою винтовку и вещмешок.

Николай отвел взгляд от зеркала и посмотрел на свои старательно начищенные кирзовые сапоги: да... тут тоже дед переборщил, видно, много сам по земле топал: при среднем росте — сорок второй размер...

Из приемной показался писарь со стопкой личных дел в руках, и размышления Николая приняли новый оборот. Он понимал, что штабные писари нужны, но, как и все, кто служил в строю, относился к ним иронически.

Время тянулось медленно. Николай освоился и стал внимательнее всматриваться в лица тех, кто выходил из дверей кабинетов. Некоторые улыбались, другие оставались бесстрастными, а случалось, что кое-кто, играя желваками, направлялся в приемную начальника отдела. Вот и перед тем как настала очередь Николая, из кабинета стремительно вышел офицер и решительно повернул в сторону приемной.

Николай расправил еще раз гимнастерку и, набрав воздуха, словно собираясь нырнуть, открыл дверь. В кабинете стояло два стола, перед одним сидел старший лейтенант, вошедший перед Николаем, и он обратился к капитану, сидевшему с противоположной стороны:

— Младший лейтенант Королев прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы!

Пожилой капитан устало улыбнулся. Опытным взглядом он уже определил в Королеве новоиспеченного офицера. Для этого достаточно было старательного, излишне громкого представления.

— Садитесь, младший лейтенант, — проговорил капитан и стал внимательно читать личное дело Королева. Потом, откинувшись на спинку стула, проговорил:

— В разведку будешь проситься?

— Так точно. Я ведь солдатскую службу в разведроте проходил.

— Потому и догадался, — улыбнулся уголками губ капитан. — Только разведотдел наш уже укомплектован, а посылать тебя переводчиком в соединение не стану. Парень ты, видать, толковый, раз отлично курсы закончил, и к языку способности есть.

Настроение Николая резко упало — с его мечтой было покончено быстро и непререкаемо. Обжаловать решение капитана у начальника отдела Николаю и в голову бы не пришло.

Капитан, словно не замечая разочарования собеседника, которое явно проступало на его лице, продолжал:

— Направляю я тебя в наш политотдел. Там деятели вроде тебя нужны. Есть такие специалисты, что почище твоих преподавателей. К тому же завтра у них учебные сборы начнут действовать... Вот так, — закончил капитан, снимая телефонную трубку.

— Иосиф Борисович?! — сказал он кому-то явно дружески. — Здравствуй. Ну вот наконец я выполнил свое обещание — такого орла к тебе направляю. Да, одного. Где я их возьму? И этого отдаю

под свою ответственность, начальство узнает — быть мне на ковре... Да, с курсов. Ну, готовых академиков где я тебе возьму? А это будущий академик, не меньше Марра... Привет Ольге Николаевне. Пусть зайдет к моей, если сами не можем, сидим тут за полночь. Бывай!

— Вот так! — повторил капитан, и голос его стал суше. — Вижу: не доволен. Ничего, потом благодарить будешь, если хорошим специалистом хочешь стать. Начальником у тебя будет майор Иосиф Борисович Марштейн. Он в МИДе работал, и за границей в дипломатах был. Понял, с какими людьми служить будешь? Вот твое личное дело, — капитан заклеил пакет. — Как пройти к ним — дежурный объяснит. Тут неподалеку у них резиденция. Желаю успеха! — Капитан поднялся и протянул руку Николаю.

«Сборы? Значит, опять учиться? Опять зубрить», — тоскливо размышлял Николай, неторопливо шагая по прямым улицам городка. — Вот тебе и разведка. А ведь он и самбо занимался, стрелял отлично. И на курсах его хвалили, в отличниках ходил. Правда, где-то в душе было сомнение, — поймут ли его японцы и он их? Японцев он еще ни разу не видел, только в кино. Вот отец, тот их узнал хорошо, когда в отряде Шевчука партизанил.

Зачем же их на курсах раньше на месяц выпустили и дня не дали, чтобы дома побывать? И проехал он мимо родного Хабаровска, немного побродив по вокзалу, да с площадки посмотрел в сторону Казачьей горы, где стоял их дом.

Что события называют важные — каждому понятно. Во всяком случае для тех, кто около железной дороги живет. Сколько воинских эшелонов уже прошло на Восток по Сибирской магистрали. Поначалу хоть маскировали, а потом, можно сказать, в открытую — с самолетами, танками, пушками. Их, факт, самураи засекли. Граница-то местами чуть не рядом с насыпью железнодорожной проходит. Заметались, наверное, самураи. Будет им пространство до Урала, как фашистам...

— Младший лейтенант! Вы почему не приветствуете старших по званию?

Николай оглянулся: его подзывал майор в авиационной форме, мимо которого он прошел.

— Виноват, товарищ майор! Извините, задумался, — густо покраснел Николай.

Майор окинул его взглядом и заметил в руках знакомый каждому военному пакет.

— Только что назначение получили?

— Так точно! Прямо из отдела кадров.

— Идите, младший лейтенант. И будьте внимательней. Не стоит новую службу начинать со строевой подготовки во дворе комендатуры, — голос майора стал менее суровым. А может быть, вспомнил он и себя молодым, в такой же ситуации.

— Слушаюсь! — Николай четко повернулся. Теперь он так старательно приветствовал всех офицеров, так четко и твердо печатал шаг, что на него даже оглядывались.

У двери в кабинет майора Марштейна никакой очереди не было. Николай провел большим пальцем вдоль ремня, расправляя гимнастерку, проверил, как сидит пилотка, и чуть приоткрыл дверь: «Разрешите!..»

В кабинете, у домашнего вида этажерки с книгами, стоял невысокого роста, худенький, узколицый майор. Светлые, с рыжинкой волосы, серые глаза и над ними высокий лоб. Хотя на майоре была

тщательно подогнанная форма и на ремне в кабуре висел тяжелый ТТ, он больше походил на научного работника, какими их представлял себе Николай. Манера разговора, то, как майор себя держал, выдавали в нем интеллигента научного профиля, который только временно, в силу обстоятельств военного времени, надел офицерское обмундирование.

— Личное дело я посмотрю позже, — приветливо сказал майор, пригласив его сесть. — А сейчас расскажите о себе. Прямо, как по анкете, только не так лаконично. Почему вы поехали на курсы переводчиков?

Николай растерялся. Да что рассказывать?..

Учился в школе, закончил ее, а до призыва еще год оставался. Год на заводе, где всю жизнь проработали его отец да и дед, когда-то опальный солдат, которому не разрешили вернуться на родную Орловщину. Год... У станков — половина мальчишек и девчонок. Некоторым подставляли ящики — не хватало роста. С темными кругами усталости под глазами, со впалыми от недоедания щеками, они таскали тяжелые болванки, которые и мужчины с трудом подымали, и точили, точили на станках снаряды. Снаряды в несколько рядов стояли вдоль пролетов цеха, пирамидами громоздились около станков. На тележках такие же пареньки, как он, вывозили их из цеха, но к концу смены все свободные места снова загромождались. Из цеха не уходили, пока не перевыполняли норму. «Все для фронта, все для победы!» Этот призыв для Николая и всех на заводе был законом жизни, имел свое зримое, осязаемое каждый день содержание. Но как об этом расскажешь?

Потом повестка призывника. Слезы матери и сдержанное отцовское: «Ну ладно, мать. Хватит. Раз его черед пришел — надо идти. Пока обучат его солдатскому делу, глядишь, и войне конец».

Войне, конечно, до конца было далеко. Отец это прекрасно понимал, Но ведь что скажешь матери? А сам сыну только и сказал, положив ему руки на плечи: «Я в тебе сомнения не имею».

А Ленка? Из их же подъезда, где всего четыре квартиры, работали в одном цехе, только она на штамповке. Да и ничего между ними не было такого. Даже поцеловались всего раз, когда прощались. Она подняла к нему лицо, силилась улыбнуться, но глаза вдруг заполнились слезами, и она, слегка прижавшись к нему, поцеловала его в щеку, словно клюнула, и тут же убежала.

До этого просто дружили, без каких-либо ухаживаний. Разве нельзя парню с девушкой быть просто друзьями? Николая даже бесило, когда мать Ленки шутя иногда называла сватьей его мать. Мать тоже нет-нет да и затянет со значением украинскую песню про рыжего: «Сам рудый, руду взяв, бо рудую сподобав». Мать Николая — с Украины, а отец хабаровчанин. Мать, бывало, когда рассердится на него, то говорила: «Дикорос ты дальневосточный».

А Ленка вовсе и не рыжая, она золотая. В письмах он стал называть ее «золотинкой». Эх, надо было с вокзала попытаться в цех дозвониться. Не догадался...

Три года, три долгих года Ленка аккуратно шлет ему письма. Лучше бы фотографию прислала. Мать писала, что стала она красавицей и парни что-то подолгу прикуривают около их подъезда. Был бы он дома, так эти типы бегом бы старались пробегать мимо. Дал бы он им прикурить.

В тайге, у сопки, которая, как часовой, стояла в дефиле широко-

кой пади, тянувшейся до самой границы, смешение народов и возрастов. Что ни отделение или взвод — сплошные отцы и дети. Иногда «дети» — молоденькие ефрейторы — командовали отцами — рядовыми.

К тому времени, когда Николай попал в батальон, на границе стало потише. Впрочем, нередко подымали их ночью по тревоге, когда со стороны границы доносились винтовочные выстрелы, пулеметные очереди. Бывало, что утром по дороге проезжали санитарные двуколки или машины с ранеными, а то и с убитыми...

Николая назначили в разведроту. Там все молодые, крепкие. Правда, доставалось им больше других, после отбоя валились на нары и засыпали мгновенно. Нары в три этажа. На верхних зимой еще куда ни шло, а на нижних холодно. Да, нелегкая служба была и на Востоке. Многие, и Николай тоже, писали рапорты с просьбой отправить их на фронт. Некоторых посылали, целая рота набралась таких. В первую очередь посылали тех, у кого и личный счет мести был к фашистам за убитых родителей, погибших братьев.

Когда Николай, уже ефрейтором, сам стал командовать другими, его вдруг вызвали к комбату. Хороший у них был комбат — капитан Сиверцев. Немолодой — виски седые. Кадровый офицер.

— Вот что, ефрейтор Королев, — сказал комбат. — Служишь ты хорошо. Даже жаль расставаться с тобой.

«Неужели на фронт», — обрадованно подумал Николай.

— Из тебя хороший разведчик получится, — продолжал капитан. — Решили послать тебя учиться.

— Учиться? — растерянно переспросил Николай.

— Да! Языкам учиться. Настоящий разведчик должен знать язык противника. «Стой! Руки вверх!» — это может каждый зазубрить. Разведчику надо знать больше. Настоящему разведчику.

— Так я, товарищ капитан, — пересохшими губами ответил Николай, — уже полгода, как учебник по немецкому зубрю. Из дому прислали.

— Знаю! Поэтому и выбрали тебя. Только не немецким тебе придется заниматься. Насколько я знаю, на курсах учат японскому. Вот так!

— Товарищ капитан...

— Что, товарищ капитан? — чуть повысил голос Сиверцев. — К твоему сведению, товарищ капитан тоже подавал рапорт с просьбой отправить его на фронт. Я восемнадцать лет в армии. Понимаешь? Меня восемнадцать лет готовили на случай войны, а я тут... Так надо! Ты самый нужный человек будешь. И не так уж долго придется ждать. Вот покончим с фашистами на Западе... Их ось антикоммунистическая два конца имеет. Понял? Я тебе это говорю не только как командир подчиненному, а как коммунист комсомольцу. Надо!..

Николай Королев, получив сухой паек и дорожные талоны, покатил на этот раз пассажирским поездом в далекий сибирский город. В глубокий тыл, где не знали, что такое светомаскировка.

Не обо всем этом и не так подробно рассказал младший лейтенант Королев майору Марштейну.

— К нам, надо полагать, без особой охоты. Менять геройскую службу разведчика на неизвестно что. Вы представляете задачи, которые придется вам выполнять? — спросил майор.

— Так точно. Нам на курсах разьяснили.

— Знаю, как вам там объясняли, — усмехнулся майор. — У нас есть офицеры, которые закончили ваши курсы два-три года назад. Некоторые хорошими специалистами стали. Возможности для этого у нас самые благоприятные. Вы назначаетесь инструктором, а используем вас как диктора МГУ — мощной громкоговорящей установки. Знаете про такую?

— Так точно! — Николай поднялся. Ему было все равно, на какую должность он попадет. Все равно получилось не так, как он рассчитывал. — Правда, — добавил он, — даже видеть не приходилось.

— Увидите, — сказал майор, выходя из-за стола. — Ваша машина еще в пути. Экипаж фронтовики. Кроме диктора, конечно. Немецкий здесь не понадобится. Тут, прямо скажу, повезло вам, хотя придется потрудиться, чтобы вровень с ними стать. Мы теперь служить вместе будем. Желаю успехов, младший лейтенант! — Майор протянул ему узкую ладонь.

Капитан Гагаркин, к которому направил его майор — высокий, худой, озабоченный человек с морщинистым лицом, встретил младшего лейтенанта Королева, как давнего знакомого. Тут же вызвал сержанта и поручил показать место в общежитии и, вообще, снабдить офицера всем необходимым на первый случай.

Уже засыпая после беготни, Николай долго ворочался на набитом сеном матрасе. «Вот так, несостоявшийся разведчик. Попали вы, как кур во щи, — в дикторы. Можно сказать, в мастера художественного чтения. Для аудитории, которая вместо аплодисментов пулями будет тебя награждать».

С такими невеселыми мыслями он и уснул...

2

В комнате офицерского общежития, где одна около другой стояло двенадцать железных кроватей, не спал только один Николай Королев. Сидя за облезлым столом, он писал письма отцу с матерью и Ленке. Над столом неяркая электролампочка, обернутая газетой, чтобы не мешать тем, кто спал. С коек доносились похрапывание, присвистывание, сонное бормотание — обычные казарменные ночные звуки.

В комнате душно, хотя окна — благо, второй этаж — открыты настежь. Возможно, к утру соберется дождь.

Сегодня Николай получил письмо от матери, отец писал редко. Мать сообщала, что он сильно похудел и начал сдавать. Но на заводе теперь полегче. Те, кто пришел сюда в первые дни войны, те женщины, которых он знал, стали квалифицированными работницами, подростки-девчонки вымахали во взрослых девиц и сами уже могут обучать ремеслу других. Исчезли сверхурочные, рабочий день вошел в норму. Завод снова начал мирное производство. А ведь такая перестройка тоже нелегко дается. Вот отец — старый кадровик, и вынужден вместе с теми, кто отдал заводу много лет, взять этот груз на свои плечи.

Мать писала о тех, кто вернулся с войны, а кого и след потерялся — ни похоронки, ни человека: «Пропал без вести...»

И в каждой строчке беспокойство за сына. Она, как и все дальневосточники, понимала — быть новой войне.

А что он мог ей написать? Жив, здоров. Не напишешь же, что капитан из отдела кадров оказался прав — здесь есть такие специа-

листы, до которых ему, как до неба. Ученые мужи из Москвы, Ленинграда. Даже словари сами издали. Куда уж ему...

Единственно, в чем Николай не уступал им, — это в строевой, огневой и физической подготовке. Даже смешно бывало смотреть на этих ученых мужей, как они старательно, но неумело отработывали строевой шаг, приветствие и прочие солдатские премудрости. Или как, покраснев от натуги, беспомощно болтались на спортивных снарядах. Даже майор Марштейн изрядно «мазал» по мишеням из пистолета, хотя и старался изо всех сил.

Трудновато им приходилось, но старались.

Сразу видно, что они не ели солдатской каши. Но, если говорить откровенно, не очень это и надо было им. Николай это понимал. И все же майор Марштейн неукоснительно требовал, чтобы все делалось по уставу, чтобы даже в мелочах никто не упрекнул их в «гражданском» духе. Но, понимая, что сам строем по-настоящему командовать не сумеет, майор поручал это другим.

Конечно, много тут было людей вроде Королева. Тех, кто прошел путь от солдата до офицера. А были и такие, что и язык знали только разговорный и то на бытовые темы. И тоже без солдатской школы. Народ это был пожилой, в отцы ему годились.

Здесь полегче, чем на курсах — все-таки офицеры. Немало из них жило на квартирах, с семьями. Да и холостые личным временем сами распоряжались. Хоть на танцы иди. Жаль только, что времени этого мало было. Не подготовишься к занятиям и будешь на следующий день кровью наливаться от стыда. Николай на танцы ни разу не рискнул пойти, хотя его одногодки из разбитных парней не раз приглашали. Танцевать он согласился бы только с Леной.

Письма от нее он хранил, даже нумеровал. Ждет она его, это твердо. И карточку уже прислала. Да, мать права. Она и вправду изменилась, как золушка. «Твоя Ленка» — было написано ее рукой на фотоснимке. Когда он получил это фото, чуть было не пошел к майору Марштейну просить краткосрочный отпуск. Но сам понимал, невозможно это сейчас. А у него с Леной уже все договорено. При первой возможности они навсегда вместе. Она готова с ним хоть на Северный полюс.

Если бы он ей сейчас написал: «Приезжай», — примчалась бы немедленно и сменила фамилию на Королеву. Ну, а вдруг здесь начнется скоро? Что она будет делать одна? Пусть лучше живет пока дома, под присмотром двух матерей. А что свадьба непременно будет, он матери уже сообщил.

Да и на войне все может случиться. То, что его могут убить, он не допускал, не верил, но мало ли что... Он в минуту откровенности поделился этими мыслями с соседом по койке капитаном Зотовым. Капитан почти три года пробыл на фронте. Выслушав Николая, он подумал и сказал:

— Не торопись. Понимаю тебя, но потерпи. Здесь все будет иначе. Уверен в этом. Такую силу собирают. Если бы в самом начале Отечественной у нас такой опыт, такая сила были, — разве мы дали бы фашистам полстраны разорить, столько людей наших погубить?

Капитан Зотов учил японский язык еще раньше, на разведкурсах, но в самом начале войны сумел вырваться на фронт. Год назад как знающего японский язык его отозвали с фронта и направили на Дальний Восток. У него наград больше, чем у кого-либо на сборах. И держится он независимо. Как-то строевые занятия он назвал несвоевременными. В отместку майор Марштейн следующие занятия

поручил проводить ему. Капитан беспрекословно выполнил приказание, но остался при своем мнении. Устав есть устав!

Ну разве напишешь об этом всем отцу и матери? Ни к чему, и Лене тоже нельзя.

А написать бы о том, как он разговаривал с настоящим японцем. Главное, японец понимал его, а он — японца. Он здорово тогда поволновался. Ведь его и другие слушали. Значит, не даром он учился. Теперь он еще с большей охотой зубрит иероглифы, слова, идиомы... Вот бы знать язык, как майор Ковыленко, который ведет с ними занятия. Он ведь и не намного старше Николая, на какие-нибудь четыре-пять лет. И учился здесь же, на Дальнем Востоке, во Владивостокском университете. А не уступит «ученым мужам» из столицы.

В последний год японцы притихли. Все реже рисковали открывать огонь по нашим пограничникам. Поняли, наверное, что жареным запахло для них. Не то время. Видно, здорово беспокоятся, пытаются узнать, что у нас делается.

На сборах офицер-пограничник рассказывал, что японцы усилили агентурную разведку. Засылают на нашу территорию агентов. В основном, китайцев. То заставляют, грозя расстрелом самому и семье, то опикурильщики используют. Задания дают пустяковые: зайти а нашу деревню, купить что-нибудь в магазине или свежую газету принести. Сознательно посылают их на провал, чтобы загрузить пограничников и следственные органы; в этой массе квалифицированному агенту легче затеряться и проскользнуть. А уж если кто из посланных оказался ловким и вернулся, дают тем потом задания посерьезнее. Иногда, чтобы встретить возвращающегося агента, японцы пытались нарушить нашу границу и отвлечь внимание пограничников. Бывало, что они несли потери, в том числе и пленными. В таких случаях офицеры-политработники получали возможность побеседовать с задержанными.

Как-то для подобной встречи майор послал в погранотряд капитана Зотова и Королева.

В первый раз Николай оказался непосредственно на границе. И поначалу немного разочаровался. Такая же падь с небольшим ручьем, как и те, которые он встречал раньше. Не зная местности, свободно можно забрести в Маньчжурию, если пограничники проморгают. Но внешне такая мирная, такая обычная падь в любой момент с обеих сторон могла ощетиниться стволами пулеметов и винтовок. В детстве Николай представлял себе границу, как узкую полосу, вдоль которой с нашей стороны и из-за рубежа нескончаемо протянулись проволочные заграждения, а около них полосатые пограничные столбы.

Японец оказался молодым, низкорослым солдатом, в кургузом ките ле зеленого цвета с узенькими поперечными погончиками на плечах.

— Ну давай, ты начинай! — сказал капитан Зотов. — Мне уже приходилось с ними разговаривать.

Королев не ожидал этого и переволновался, наверное, не меньше, чем японец, хотя, конечно, положение у них было разное.

Но все оказалось просто. Японец охотно назвал фамилию, имя, звание. Он все еще был потрясен тем, что его захватили. Их было пятеро, проникших на нашу территорию. Одному удалось ускользнуть. Старший — унтер-офицер — был убит в перестрелке, двое ранены, а его, оглушив в рукопашной, взяли наши пограничники. Пленный был немногословен. Он, дескать, выполнял приказ господина

унтер-офицера, и о том, что они на советской территории не знал. Считал, что они отражают нападение русских. Отец — мелкий служащий. Япония ведет справедливую войну за освобождение народов Азии от гнета белых империалистов, за лучший порядок в мире. Япония, несомненно, победит; все японцы преданы императору; императорская армия самая сильная в мире: поражения на Тихом океане временные...

Только дважды Зотов уточнил Королева, да и то при переводе ответов японца.

— Да... — протянул Зотов, когда они закончили, — этот самурай, как фриц в начале войны. А может, еще похлеще оболванены они все. Пожалуй, только когда всерьез побьем их, тогда начнут к нашим словам прислушиваться.

— Я только теперь понял, что языком владею. И вас как-то смущался, — признался Королев.

— Для этого тебя майор и послал. Он так всех молодых по очереди посылает, кому не приходилось с японцами говорить. Ничего не скажешь — умно.

— Неужели у них все такие фанатично убежденные?

Капитан Зотов пожал плечами:

— Не думаю. Полагаю есть и у них такие, кто не согласен умирать за императора и господство племени Ямато над миром. Но у них, наверно, таких еще меньше, чем у немцев. Ничего, как только их «непобедимая» империя себя битой признает, такое смятение в умах должно произойти, что трудно сказать, чем это может закончиться.

— Неужели они и на своих островах воевать будут? — спросил Королев.

— Многого от меня хочешь. Они и сами, наверное, не знают. Ладно, не будем заниматься высокой политикой. Только я тебе скажу, если начнем, то война тут по-другому пойдет, чем против Гитлера. Напомним самураям и Порт-Артур, и Цусиму, и гражданскую войну. Хватит, побезобразничали они, пора и смирить их. — Капитан чуть усмехнулся: — Вот у меня на фронте ординарец был, я тогда ротой командовал. Голова у него с сединой, уже и внучонка имел. До войны он конюхом в колхозе на Рязанщине был. Мудрый такой дядька, степенный. И вот как-то после Минска, когда наш полк остановили передохнуть и пополниться, сидим мы с ним вечером на берегу речушки, неподалеку от деревни белорусской, от которой одни только печки остались. Открыли американские консервы «второй фронт», и фляга со шнапсом у нас была. Выпил мой Макарыч, задумался и говорит: — «Думаю я вот, товарищ капитан. Неужто и после такой войны люди в разум не войдут? Неужто и внуку моему, Петьке, воевать доведется?» Понял? Еще война не кончилась, а он далеко в будущее заглядывал. Что его внука, Петьку, ждет. И не только о Петьке, обо всем человечестве задумывался. «Войдут ли люди в разум?...» Вот и надо постараться нам, чтобы самураи тоже в разум вошли. Такая у нас задача.

Капитан Зотов снял пилотку, поправил рукой каштановый чуб и pokrutil головой:

— Что-то меня на высокий штиль потянуло. Ты же на сборах порядком наслушался. Кстати, ты заметил: те, кто фронт прошел, меньше высокопарных слов употребляют. Присмотрись и делай вывод. Я где-то вычитал, еще до войны, что человек — это дробь. В числителе, что человек сам о себе думает, а в знаменателе, что о нем

другие думают. Так вот фронт здорово эту дробь к истинному значению приводит. Маленьким у некоторых числитель оказался.

Королеву стало неловко.

— Может быть, я... — начал он.

— Не о тебе речь, — капитан снова надел пилотку. — Просто смотрю я на тебя и себя таким вспоминаю. Я ведь не намного старше тебя. Воевать в твоём возрасте начал. Только каждый год на фронте во много раз плотнее, чем мирный. Меня, наверное, жена и дети не узнают. В эвакуации они, в Сибири. Вызов я им послал. Может, повидаться успеем, какие у меня сыны стали посмотрю. Ох, как хочется их увидеть!

Всегда сдержанный, несколько замкнутый капитан впервые вот так открылся. А они ведь за одним столом на сборах сидят, койки рядом.

— Ладно, поговорили. Поехали! — закончил Зотов, садясь в машину, и всю дорогу больше не сказал ни слова.

Ну разве обо всем этом тоже напишешь матери или отцу?

Королев устало потянулся, погасил лампочку и ошупью пошел к койке. Но сон еще долго не шел к нему.

Оказывается, диктор МГУ — это ответственная должность. Прочсть текст листовки или обращения — это не все. Может сложиться такая ситуация, когда сам должен будешь искать слова, мысли, аргументы, чтобы убедить тех, к кому адресован его голос, усиленный МГУ.

И это, ох, как нелегко! Милитаристы Японии здорово оболванили свой народ. С детства воспитывают. В школе, в юношеских организациях, в учебных заведениях. Радио, пресса, кино — все бьет в одну цель: воспитать верноподданного солдата. И религия тоже воспитывает. Прав майор Ковыленко, когда лекцию читал. Где, в какой армии так широко используют смертников? «Камикадзе» в воздухе, «кайтены» на море, «никудан» на суше. «Божественный ветер» называют летчиков-самоубийц. Даже историю используют. Оказывается, когда хан Хубилай направил армаду кораблей со своей ордой, чтобы завоевать Японию, ее разметал по морю и многие суда потопил шторм, который японцы называли «Священным ветром», ниспосланным богами. Теперь японские генералы и адмиралы пытаются создать такой спасительный «шторм» из летчиков-самоубийц. Или морских смертников в подводных лодках-малютках на одного человека. Человек-торпеда, а называли это — «путь в рай». Прямой дорогой в святые, которые будут зачислены в список «святых» в токийском храме Ясукуни. Или «живые снаряды» из пехоты.

Самое поразительное, что добровольцы — это в основном рабочие парни и крестьянские сыны. Что ими двигает, что заставляет обречь себя на смерть? Попробуй поагитируй таких.

А ведь по-разному и здесь, на сборах, об этом думают. Вот капитан Зотов не строит никаких иллюзий. «Только, когда хорошенько побьем, начнут к нам прислушиваться». Совсем другое твердил капитан Марсин: «Сила нашей правды, разгром Гитлера, неудачи японцев в войне на Тихом океане, бомбежка японских городов...» По его словам, получалось, что только Расскажи об этом японцам и они сразу пойдут сдаваться в плен.

Невысокого роста, упитанный, бледнолицый, капитан Марсин был всегда чистеньким, каким-то отутюженным. Даже квадратные его очки сверкали ярче, чем у других. Очень заботился о своем здо-

ровье, в санчасти выпрашивал витамины. Не курит и спиртного — ни капли. Китайский язык знает прилично, ничего не скажешь. И память удивительная. Прямо не человек, а энциклопедия ходячая. Даты, цифры, фамилии — хоть не проверяй. И голос не по росту, звучный баритон.

Но Николай чувствовал: капитана здесь недолюбливали. Может быть, за безапелляционность суждений. За плохо скрываемый снисходительный тон в разговоре с товарищами. У капитана Марсина был явно, даже чрезмерно завышенный числитель. Так думал Николай, вспомнив слова Зотова.

Все они здесь были разные. По возрасту, образованию, жизненному опыту армейской службы и еще многому другому, из чего складывается человеческий облик, его внутренний мир.

В этой комнате с двенадцатью койками о чем только не дебатировали они перед сном. Иногда просто «травили», кто во что горазд. И, конечно, главная тема — будет или нет здесь война, какой она примет характер. Один даже утверждал, что не надо спешить, пусть американцы на собственной шкуре узнают, что такое настоящая война. Пусть штурмуют остров за островом. Ведь они не торопились открывать второй фронт, когда наша армия фактически один на один сражалась с немцами, кровью истекала.

Эту точку зрения отстаивал старший лейтенант Анисимов, где надо и не надо он вставлял в свою речь слова «ясно-море».

— Они, ясно-море, всю войну отсиживались, выжидали, последние пуговки на мундирах пришивали. А мы еще спасали их под Арденнами. Они, ясно-море, больше людей в автомобильных катастрофах потеряли, чем на войне...

— Значит, если будет приказ, вы, старший лейтенант, несогласны с ним будете? — внушительно произнес Марсин.

Анисимов даже на постель сел, сбросив одеяло:

— Ты, капитан, ясно-море, меня не провоцируй. Поп Гапон, как известно, плохо кончил. Ишь, бдительный какой. Да, если приказ, я хоть сейчас. Раньше тебя готов буду. Я десять лет армии отдал и покидать ее не думаю. Я тут, ясно-море, каждую сопку штурмовал. Два года на себе станок пулеметный таскал. А ты, ясно-море, как все закончится, только тебя и видели. Снова на московских тротуарах туфли протирать будешь.

Он снова лег на кровать и почти спокойно добавил:

— У меня на фронте отец и брат погибли. В сорок третьем. Если бы американцы с англичанами пораньше второй фронт открыли, они бы живы остались. Вот так, ясно-море.

— Хватит, — раздался голос капитана Зотова. — Шире мыслить надо. Мы не только американцам, как союзникам, помогать будем. Всей Азии, ее народам. Да и их бомбы, падая на Японию, не разбирают, где самурай, а где женщина или ребенок. Вон они Дрезден вдрызг разбомбили, когда и нужды в этом не было. А война, конечно, не гулянка — понимать надо. Лучше давайте спать, — примирительно закончил он.

«Действительно, пора спать», — приказал сам себе Королев.

3

Эшелон, перестукивая колесами на многочисленных стрелках, тихо подкатывал к Хабаровску. Длинная дорога всем надоела, Хабаровск ждали с нетерпением. Только там они могли узнать конечный пункт свой — кому куда. Надоела дорога и экипажу МГУ.

Морозов даже выбросил кресло-качалку. Пусть под конец пути она не испортит настроения педантичному начальнику эшелона. Даже Лотяну поскучил и не брал гитару в руки. Может быть, потому, что его запасы «горючего» закончились, а места пошли пустынные: ни деревушки, ни поселка. Только домики у развязов напоминали, что эта земля обжита человеком, что и здесь живут люди.

Но потом деревни стали попадаться чаще, поселки пошли крупнее: эшелон катил по Приамурью. Впрочем, экипажу МГУ это ничего не сказало. Они ждали Хабаровск, как моряки после дальнего плавания ждут порт приписки.

Эшелон затолкали на запасные пути грузовой станции. Вскоре подкатили две автомашины, из которых вышла группа офицеров во главе с полковником. Они вошли в классный вагон — «штаб» подполковника Корзуна — и понеслась, перекатываясь по платформе, команда: «Всем командирам подразделений и старшим команд явиться к начальнику эшелона».

Вслед за остальными, двинулся Морозов, разминая ноги, привыкая к неподвижности земли. До него очередь дошла не скоро, с некоторых платформ уже начали сгружать технику. Но МГУ осталась на платформе. В полученном предписании было указано: Приморье, политотдел Краснознаменной армии.

— Еще сутки ехать? — ахнул Лотяну, когда Морозов рассказал экипажу, куда они назначены. — Знаешь, старшой, вот вернусь домой, женюсь, дети подрастут — непременно свожу их сюда, на поезде. Пусть узнают, в какой стране живут. Ни конца, ни краю!

— И везде бараболя растет, — поддержал Якуб. — Живут люди.

Лотяну махнул рукой:

— Кому что, а Якубу лишь бы бараболя росла. Даже удивляюсь.

— Во чудак, — добродушно усмехнулся тот. — Да раз тут бараболя есть своя, значит, жить можно. Значит, все растет, что человеку надо!

Эшелон начали переформировывать, платформу гоняли с одного пути на другой. Хабаровск толком им посмотреть не удалось. Центр был далеко от грузовой станции. Она называлась Хабаровск-второй. А раз не первый, то и смотреть нечего.

Когда поезд, в котором половину составляли грузовые вагоны, был сформирован окончательно, у платформы показался Доронин.

— Вы в Приморье, друзья? Тогда я с вами. В армейскую газету назначен. Ну его к ляду пассажирский. Лучше я с вами. Примите?

— Как можно, товарищ лейтенант?! — первым стал помогать лейтенанту забираться на платформу Лотяну. — Да мы вас всегда с душой.

— Молодец, правильно решил! — обрадовался Морозов. — Веселее вместе длиннющий путь закончить. Немного уж осталось. А обрати внимание, какая жара здесь. Вот не думал.

— Ничего странного, — возразил Доронин. — Географию надо помнить. Хабаровск на одной параллели с Харьковом. А тут мы на юг повернем, еще теплее станет. «И на Тихом океане свой закончим мы поход», — неожиданно пропел он. — Махнуть от Балтики до Тихого океана, «от хладных финских скал до стен недвижного Китая», как писал поэт. Перехожу на довольствие к вам. Кому отдать? — протянул он дорожные талоны для продпункта.

Лотяну взял талоны и тут же пожаловался:

— Что-то третий день живот побаливает. Вроде ел то, что и вы, а временами схватывает аж до пота.

— Дак это ты от смеха — живот надорвал. Позавчера наш Ванюша перед одной беленькой ну, чисто клоун, выламывался. Ха-ха да хи-хи...

Лотяну только слабо усмехнулся.

— Что же ты молчал, когда врач был в эшелоне? — построжал голосом Морозов. — Отдай талоны Якубу и ложись. Может, пройдет.

Не прошло. На воинской площадке в городе Лотяну не смог сесть за руль и корчился, сжимая руками живот. Морозов сам свел машину и на ней же доставил Лотяну в госпиталь. Наверное, врачи и медсестры в первый раз увидели такую карету скорой помощи.

— Старшой, вещи мои сохраните. И не забывайте про меня! — попросил на прощание Лотяну, когда они поставили носилки в приемном покое.

— Не беспокойся, Ваня, — участливо заверил его Морозов. — Завтра же навестим. Не волнуйся.

Он был расстроен. Это надо же, не сохранил весь экипаж. Хорош он будет при докладе новому начальнику. Черт те что могут подумать. И что с Лотяну? Отравился, что ли?

Майор Марштейн встретил Морозова приветливо.

— Давно ждем вас. Теперь мы имеем все, что нам положено. Сегодня устраивайтесь, завтра отдохните, а больше дать не могу. Обстановка не позволяет. У нас сейчас проходят сборы, и вы готовы выступить, поделиться опытом. Покажите МГУ в действии. Шофера завтра дадим.

И, заметив, что Морозов хочет возразить, добавил:

— Понимаю, фронтовая дружба. Обещаю, если ваш водитель скоро выйдет из госпиталя, снова назначим к вам. Где ваша семья?

— Я холост.

— А родители?

— Не знаю, — сдержанно ответил Морозов. — Они жили в Сталинграде.

— Понятно. Мои тоже чудом вырвались из ленинградской блокады. По льду Ладоги. Сейчас со мной. Поможем искать ваших родителей. Непременно.

— Спасибо! — поднялся Морозов. — Разрешите идти?

— Пожалуйста, — по-граждански ответил майор. — Капитан Гагаркин поможет вам.

«Вроде ничего мужик, — подумал Морозов. — Интеллигентный. Послужим — посмотрим».

Он только сейчас понял, как устал от нескончаемо длинной дороги, от томительного безделья, от неудачного конца путешествия, закончившегося госпиталем для Лотяну. Первое, о чем он спросил всезнающего капитана Гагаркина: «Где баня?»

Весь следующий день ушел на хлопоты по разным штабным службам, так что с отдыхом ничего не получилось. А утром, когда он и Якуб Гаврилович паковали вещи Лотяну в два узла, к МГУ подошел крепко сколоченный, приземистый солдат.

— Товарищ старший лейтенант, — сипловатым голосом обратился он, поднося руку с толстыми пальцами к пилотке, — рядовой Подсосенко прибыл в ваше распоряжение.

— Водителем? — спросил Морозов, затягивая узел.

— Так точно!

Перед Морозовым стоял пожилой, лет пятидесяти солдат. Выправка у него была явно не гвардейская. Военная форма сидела на нем словно рабочая спецовка. Почти квадратное лицо с тупым носом. Из-под мохнатых бровей спокойно смотрели маленькие серые

глаза. «М-да, — подумал Морозов, — пожалуй, по возрасту мне в отцы годится. Такого и послать за чем-либо не всегда удобно».

— Ладно! Принимаю хозяйство. Тебе, отец, доводилось водить такую? — закончил он шуткой.

Подсосенко опустил руку и с достоинством сказал:

— Я, товарищ старший лейтенант, уже поболее двадцати лет за рулем. И два сына в армии шоферят. Еще с цепными передачами водил: «заурер», «лаур-клеимен», «паккард»... А эта што ж, тоже знакомая. «Газ» с двумя ведущими. Только ежели правду сказать, такого большого граммофона возить не доводилось.

— Граммофона?! — возмутился Якуб.

Морозов рассмеялся. Новый водитель начинал ему нравится.

— Граммофона, говоришь? А что? Почти угадал. Ну-ка, давай присаживайся, закурим для знакомства. Из каких мест будешь? Вот он, — кивнул Морозов на Гавриловича, — белорус, поклонник бараболо, я — волжанин, а Иван Лотяну, на место которого ты прибыл, молдаванин. Тоже геройский парень.

— А я из-под Владивостока. И отец мой тут и дед жили у моря. Дед еще молодым переселился с Украины. По правде сказать, переселили его, под конвоем. Чего-то со старым режимом не поладил.

— Дома кто остался? — любопытствовал Гаврилович.

— Жена, дочки две. Одна уже вдовой стала. Погиб ее мужик под Новороссийском. Ну и внук Витька. Да бабу мою увидите, она на железке работает, проводником. Проводывает когда. Тут ее сестра живет.

— Слушай, — обрадовался Морозов, — выручай. Надо вот эти вещички куда-нибудь пристроить. Ивана Лотяну. Так, может быть, к сестре твоей жены отвезти?

— А что ж, свободное дело, — согласился Подсосенко. — В сохранности будет, ручаюсь.

4

Занятия начались в большой комнате. В углу ее пристроился Морозов. Кругом одни офицеры — от младшего лейтенанта до майора. Сидели плотно. Высокий, чуть сутулый майор читал лекцию о японских колонистах в Маньчжурии. Морозову все было внове, и майор читал интересно, не заглядывая в конспекты, называя по памяти цифры, пункты, трудные японские фамилии.

Японская военщина решила навечно закрепить за собой Маньчжурию. Выработали колонизационный план на двадцать лет, по которому туда должен переселиться один миллион японских семей. Колонисты получали лучшие земли, отобранные у местных жителей — китайцев. В принудительном порядке сюда же из Японии высылали безработных и разных бродяг. Даже «отряды невест» присылали. Создано немало японских поселков, обнесенных колючей проволокой, с пулеметами на вышках. Все колонисты вооружены и каждый год участвуют в военных учениях. Поселки колонистов закреплены за дивизиями, обязаны снабжать армию продуктами питания, фуражом. В разведотделах дивизий есть специальные офицеры для руководства ими. Кроме того, колонисты обязаны вести слежку за населением, участвовать в карательных экспедициях, охранять железные дороги. Но всякая ассимиляция категорически запрещена. Если японец женится на китайке или японка выходит замуж за китайца, они немедленно высылаются в Японию.

В поселках полувоенная дисциплина, даже женщины обязаны

проходить военное обучение. Старосты поселка всесильны, как армейские офицеры в отношении солдат...

Лекция закончилась, все шумно задвигали стульями, выходя во двор «на перекур». Морозов чувствовал себя пока одиноко, но это его не стесняло. Он понял, что большинство собравшихся здесь еще, как говорят, «не нюхало пороху». Еще неизвестно, кто как себя покажет. В этой самой Маньчжурии, как он понял, тоже сложно придется. Императорская армия, войска Маньчжоу-Го, а тут еще эти японские поселенцы. И белогвардейцы тоже. Вот уж никогда не думал, что с живыми белогвардейцами придется встретиться. Только в кинофильмах он их видел. Оказывается, еще есть, сохранились. На Западе они были немецкими агентами, диверсантами, но встречаться Морозову с ними не пришлось. А тут, оказывается, есть целые части из белогвардейцев.

Мысли командира МГУ прервал чей-то радостный возглас:

— Морозов?! Вот встреча! Надо же! — к нему шел, улыбаясь, и еще издали протягивая руку, худощавый майор. В лице майора было что-то знакомое, но сразу вспомнить его Морозов не смог. Майор подсказал:

— Крупников я. Помнишь, к вам в десятую гвардейскую армию на стажировку приезжал. Капитаном тогда был.

Теперь Морозов вспомнил его хорошо. 2-й Прибалтийский фронт тогда уперся в линию «пантера», созданную немцами на реке Великой. После освобождения Великих Лук и Ново-Ржева. Ни наши не смогли сломить немцев, ни немцы отбросить наши войска. Изнурительные кровопролитные бои с временными передышками. МГУ моталась с одного участка фронта на другой, работали каждую ночь. И каждый раз, когда начинали передачу, немцы открывали бешеный огонь, чтобы заглушить голос МГУ или уничтожить ее. Он тогда неохотно согласился взять с собой майора. Но об этом не признается ему и сейчас.

А майор, искренне обрадованный встречей, рассказывал о ней остальным.

— Отправились мы тогда в 22-ю гвардейскую Ельнинскую дивизию. На МГУ у него диктор был немец — Вилли. Фамилию не помню. Без контроля работал. Такой упитанный немец, вежливый ужасно...

«Да, без контроля, — вспоминал Морозов, пока майор Крупников с подробностями описывал их встречу. — Не было кому контролировать. Понес потерю отдел. Игорь Пермин за две недели до этого погиб. И Вилли Хоссбах работал сам. Он был из тех, кто добровольно сдался в плен и полгода пробыл в лагере для военнопленных. Он сам добровольно согласился быть диктором МГУ. Даже странно. Странно не потому, что немец согласился помогать нам. Просветлили мозги и у некоторых фрицев. Странно потому, что Вилли был трусоват и не скрывал этого.

«Очень неприятно, господин обер-лейтенант, немцу погибнуть от немецкой мины или снаряда. Это было бы несправедливо».

«Тебя никто не тянул сюда. Сам согласился».

Это так, господин обер-лейтенант. Сам. Потому, что там, — он кивнул в сторону мерцающего света ракет на передовой, — есть такие, как я. Только я, господин обер-лейтенант, последнюю храбрость потерял, когда руки поднял вверх и закричал: «Гитлер капут!»

Поначалу не очень доверял Морозов этому немцу. И, когда тот читал текст обращения или передачи, Морозов контролировал его по копии. Попробовал бы тот только слово лишнее сказать, Морозов

сразу же нажал бы выключатель. А дикция и произношение у Вилли были отменные. Через месяц, однако, пришлось возвратить его в лагерь — совсем сдали нервы у Вилли Хоссбаха.

Майор Крупников рассказывал тем временем, как они добрались до дивизии. Злые, голодные. Немцы мост разбомбили, пришлось ждать, пока восстановят. На звуковке в объезд рискованно было, тяжела машина. Остановились под деревьями на поляне, неподалеку от политотдела. А лес чистый, без единого комара.

— Я было заторопился, а он, — майор показал на Морозова, — говорит: «Не торопись, капитан. Сначала перекусим».

«Ну и жлоб, думаю. Чего же до сих пор нас голодом морил, раз еда была. А он командует немцу: «Побрить капитана!» Тот на таблетках спирта согрел воды, усадил меня на пень и так начал ловко брить и разговором занимать. Только я нихт ферштейн. И смотрю я, друзья, бегут с разных сторон поляны солдаты в юбках, со свертками в руках. Сели вокруг меня на пни, как сороки любопытные, и так меня рассматривают, что даже в краску вогнали.

Побрил меня Вилли, вытер лицо полотенцем и даже одеколоном освежил.

Поднялся я, — продолжал майор Крупников, — а все эти гражданки уже не на меня, а на него, — кивнул он на Морозова, — устали. А он важно так на часы посмотрел и головой кивнул. Тут же ближайшая на пень к Вилли уселась. Я так растерялся, что даже спросил у Морозова:

«Неужели бриться будет?»

«Да нет, — хохотнул он. — Вилли до войны парикмахером дамским работал в «Гамбург-ллойд». На кораблях из Гамбурга в Америку плавал. Классный парикмахер. Вот он им сейчас прически и укладки сделает, как картинки девочки станут. До вечера время есть, пусть делает. У них своя очередь заранее установлена. И знают ведь, когда приедем. Не иначе с армейскими связистками консультируются. А заметил, какая дисциплина? Это уже моя работа».

Я даже головой покрутил, а потом рассердился. Как же так, говорю, до вечера. Сам поесть предлагал. А он тут же шоферу: «Давай, Ваня, собери дары за труды». И перекусили мы тогда знатно. Даже шоколад и французский коньяк были. Так, старший лейтенант?

— Было дело, — скупой улыбнулся Морозов.

Встреча с Крупниковым снова всколыхнула прошлое, оно наплыло властно, возвращая его к пережитому.

Да, Вилли Хоссбах был действительно великолепный мастер парикмахерских дел. И на окарине прекрасно играл. Вместе с Лотяну они концерты закатывали. Только кем станет этот немец, когда вернется в Гамбург? «Я никогда не занимался политикой, — признавался он. — У меня была прекрасная репутация, я хорошо зарабатывал».

Морозов обычно запрещал немцу показывать свое парикмахерское искусство, когда возвращались «домой». Неизвестно, как могло воспринять это начальство. Только один раз он сам же нарушил свой приказ.

Зайка, когда он похвалил ее пышные волосы, призналась: «Только для тебя сохраняю их, Алешенька. Знаешь, как трудно их в порядке держать?»

И в самом деле, как он об этом не подумал? Ведь иногда и умыться толком бывает негде, А как же ей с такой копной волос?

И он решительно взял ее за руку и повел к МГУ.

— Билли, — позвал он немца и, когда тот вытянулся перед ним, строго проговорил: — Этой девушке надо сделать прическу покороче, но чтобы, понимаешь?..

— Яволь! Господин обер-лейтенант будет доволен. Это будет моя лучшая работа в России, — торжественно пообещал тот.

— Не надо, Алеша, — взмолилась вдруг девушка.

— Надо, — почти приказал он.

Вилли Хоссбах попросил Морозова уйти на полчаса, чтобы увидеть его работу в завершенном виде. Когда он вернулся, тот торжественно подвел к нему Зайку.

— Я сделал все, что мог, господин обер-лейтенант. — Хоссбах понимал, что это не просто клиента. Его строгий и довольно суровый начальник впервые сам привел девушку, обращаясь к его искусству. — И признаюсь, такая модель редко попадается мастеру.

Морозов буквально онемел. Это была Зайка, конечно же, она, в своей чисто выстиранной, туго перетянутой гимнастерке, в выцветшей юбочке, сапожках с короткими голенищами. Но это была и не она. Вернее, она, но такая, какой она могла быть в другой жизни, а не на фронте. Короткая и с невиданной еще Морозовым укладкой волос прическа подчеркнула красоту глаз девушки, продолговатый овал ее лица, полукружия тонких бровей, высокий лоб.

Она стояла и, растерянно улыбаясь, смотрела на Морозова.

— Иван! Зеркало сюда! — крикнул он.

Из машины выскочил Лотяну с зеркалом в руках. Он, как обычно, хотел сострить, но, взглянув на Зою, замолк и так молча, торжественно поднес к ее лицу зеркало.

Девушка посмотрела, удивленно расширила глаза, прошептала растерянно «Спасибо» и медленно пошла к себе.

— Извините, господин обер-лейтенант, — прервал молчание Хоссбах. — Фрейлин не надо фронт! Она должна быть в кино. Колосаль!

А через пятнадцать минут прибежала сержант Копылова.

— Эй, старшой, — с ходу начала она, — убирайся поскорее отсюда со своим немцем-колдуном подальше. Наши девы сейчас штурмом вас брать будут. Это надо же, что с Зойкой сотворил. Ну как принцесса стала.

— Может, и вы, фрау, очередь хотите занять? — мстительно съехидничал Лотяну.

— Мне это ни к чему, — расправила гордо мощную грудь сержант Копылова. — Меня и такую достаточно любят. А за «фрау» свободно можешь по морде схлопотать.

— Действительно, отъезжайте к нашей типографии, а я в отдел пойду, — скомандовал Морозов.

МГУ, слегка покачиваясь, тронулась с места. Сержант Копылова, протянув руку Морозову, с чувством произнесла:

— Ну, спасибо, старшой. Теперь я уверена — не обидишь Зойку. Как говорят: любовь вам да совет. Бывай!

Ах, Зайка, Зайка... Навсегда ты останешься в памяти, в сердце, как рана незаживающая. Быстро нас с тобой война свела и развела беспощадно. И в памяти вдруг всплыло когда-то читанное и забытое: «Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою...»

По окончании занятий дежурный вызвал Морозова к майору Марштейну. Кроме начальника отделения, в кабинете находился младший лейтенант, которого он уже видел среди слушателей.

— Познакомьтесь. Младший лейтенант Королев будет диктором на вашей машине. Полагаю, сработаетесь.

Младший лейтенант понравился Морозову. Крепкий парень и, по всему видно, недавно офицерское звание получил. На фронте, случалось, на одноразовый выезд в роли диктора выезжали старше его по званию, и тогда Морозов чувствовал себя скованно. Да и разные люди среди них попадались.

— Разрешите после обеда провести водителя в госпитале? — обратился Морозов к майору. — Беспокоимся.

— Пожалуйста, — согласился майор. — Только вот младшего лейтенанта прослушаем, — кивнул он на Королева. — Какой из него Левитан получится.

Когда они вышли Морозов предложил:

— Пошли покурим, поговорим. Тебя как звать?

— Николай!

Уселись в «курилке», у вкопанной в землю бочки, возле которой стояла пара скамеек.

— Давно звание присвоили?

— Неделью назад. Прямо с курсов сюда, — сдержанно ответил Николай, присматриваясь к Морозову.

— Понятно. Родители где?

— В Хабаровске. Отец на заводе работает. Кузнец. Мать дома. Мы коренные дальневосточники. Еще дед сюда перебрался.

— Женат?

Николай усмехнулся:

— Не успел. После школы год на заводе, а потом в армию. В разведроту служил. Оттуда и на курсы послали.

— А девушка есть? Которая ждет?

— Есть, — признался Николай. — И тоже рыжая.

— Это очень хорошо, когда есть кому ждать, — серьезно сказал Морозов. — Хорошо! А ты не рыжий, так, немного золотистый. Знаешь, как говорят: «Чем рыжее, тем дорожее».

Николай растянул рот в улыбке. Настороженность прошла, и он почувствовал себя свободно.

— Мне это и мать говорила. Правда, не про меня, про Ленку.

— Это та девушка?

— Да. У нас с ней полное согласие. Хоть сейчас может приехать. Только, думаю, не время сейчас. Подождать надо.

— Разумно, — согласился Морозов. — Только не надо очень тянуть. Любовь, она везде любовь. Даже на фронте. Да... Ты с МГУ знаком?

— Нет. Не приходилось. Что такое и для чего — на курсах объясняли.

Искренность и прямота его ответов понравились Морозову. И то, что тот отведал солдатской службы, тоже.

— А как ты полагаешь, Николай, рады нам или нет, когда мы в часть прибываем? На фронте, конечно.

Николай озадаченно посмотрел на Морозова.

— Ну, наверное, должны с уважением, — неуверенно произнес он. — Это помощь. Ослаблять боевой дух противника и так далее...

Начальник МГУ иронически скривил губы.

— Это ты на курсах наслушался. В действительности, брат, не так. Не любят нас в войсках. Ну сам посуди: по-настоящему работать мы можем только, когда фронт остановился. И вот, представляешь, ночь наступила, прикорнули братья славяне в окопах, блиндажах. А тут заявляемся мы. Так и так, мол, прибыли немцам бое-

вой дух подрывать, как ты говоришь. А немцы больше пяти—семи минут не дадут нам, огонь открывают. Цели не видно, так они при-
близительно, по площади шпарят. Свободно снаряд или мина в окоп
или блиндаж попасть могут. Так чего же им радоваться нам? По-
нял? Нас только на митингах любят, далеко речи слышно. Или на
отдыхе, в тылу, когда музыку попросят. Опять же, если по нас стук-
нут, командиру части пиши объяснение, докладывай. Мы же армей-
ского подчинения. Так что с блинами нас встречать не будут.

— Да... — покрутил головой Николай. — Действительно... Вот
уж никогда бы не подумал.

Морозов поднялся:

— Пошли обедать. Потом я съезжу в госпиталь. А ты давай
к нам завтра с утра. Вместе подготовимся к выезду. Привыкнешь к
аппаратуре. Потренируешься. А то, может, с нами в госпиталь?

— Если не помешаю, — согласился Николай...

5

Сразу же после обеда они пошли к МГУ. Николай обошел кру-
гом машину, внимательно рассматривая ее. На кузове ясно были за-
метны пробоины, тщательно заделанные, но свежая краска выдава-
ла их. «Фронтовичка», — с уважением подумал Королев.

— Шрамы рассматриваешь? — спросил наблюдавший за ним
Морозов. — Не все и я их знаю. Часть до меня еще. А вот этот, —
показал он на почти незаметную пробоину, — на всю жизнь в памя-
ти. Уже вдгонку, сволочи, ударили, наобум, и осколок плюгавень-
кий, а какого человека не стало. Был у нас диктором Игорь Пер-
мин. Профессор или будущий академик погиб. Вот так!

Из кузова вышел Гаврилович.

— Наш оператор сержант Гаврилович, — представил его Моро-
зов. — Великий любитель бараболи и, если ты не любишь картошку,
то в его глазах ноль — тебе цена. А где наш дальневосточный дед?
Водитель новый, — пояснил Николаю Морозов.

Гаврилович степенно пожал руку Королеву и неспешно ответил:

— Сейчас придет. Ну скажу, старшой, мастер он. По всему за-
метно. От машины не отходит. Все что-то перебирает да чистит. Толь-
ко когда матюгнеца тихо... Вот бы Ванюшка послушал. Этот маши-
ну не бросит, до девок не побегёт.

— Ты Ивана не трогай. А дед этот молодым, может, еще похле-
ще за девками ухлестывал.

— Так я — ничего. Только хотел сказать — справный нам во-
дитель достался. Да вон он идет! — показал рукой Гаврилович.

Увидев командира, Подсосенко так же степенно подошел, дер-
жа под рукой плоский тонкий сверток. Приставив руку к пилотке,
доложил:

— Я, товарищ старший лейтенант, за прокладкой к картеру
отлучался. Вот раздобыл, — показал он сверток. — Масло подте-
кает. Опять же, поршневые кольца менять надо. Клапана стучат...

— Молодец, — похвалил его Морозов, чуть улыбаясь неистре-
бимо штатскому виду, манере говорить и поведению Подсосенко.
Это не солдат докладывал командиру, а рабочий мастеру, шофер
механику гаража. — Только менять не сейчас будешь. В госпиталь
сначала съездим.

— То можно, — рассудительно согласился Подсосенко.

В приемном покое они узнали, что Иван Лотяну находится в хирургическом отделении. Дежурная — пожилая женщина — категорически отказалась их впустить: «Не положено. Приходите в приемные часы». Только после длительных переговоров, она согласилась позвать дежурного врача.

— Это как понимать, старшой, — обеспокоенно спросил Гаврилович. — Видно, резать Ваньку будут, раз сюда покляли, а может, уже и резали.

— Все может быть, — согласился Морозов.

Вскоре послышалось шарканье шлепанцев, переваливаясь по-утиному, показалась на лестнице дежурная, усевшись со вздохом облегчения на стул, сказала:

— Дежурный врач вышел к начальнику госпиталя. Сейчас придет старшая медсестра.

Еще несколько томительных минут, и по лестнице быстро спустилась молодая женщина выше среднего роста. В белом халате, в такой же белоснежной шапочке, из-под которой не видно ни единой пряди. По-азиатски удлиненные карие глаза смотрели строго. Она остановилась и, засунув руки в карманы халата, довольно сухо спросила:

— Что вы хотели, товарищи? Надо приходить в приемные часы. У нас с этим строго.

Тут же в глазах ее показалась растерянность, и она, сделав шаг вперед к Морозову, почти шепотом проговорила:

— Алеша! Алеша Морозов? Не может быть!? Как ты меня разыскал?

Морозов тоже растерялся. Кто эта медичка? В глазах ее, в слегка вздернутом носике было что-то знакомое, но он не узнавал ее.

Заметив это, медичка топнула ногой и, смешно сморщив нос, прошипела:

— У-у, противный!

— Ника! — почти крикнул Морозов. — Извините, Вероника! Вот так встреча! Бывают же чудеса. Это надо же! А!? — И, обращаясь к остальным, быстро проговорил: — В одной школе учились, почти девять лет. Только она была в параллельном классе.

Морозов все никак не мог скрыть удивления:

— Водителя моего позавчера сюда привезли. Ивана Лотяну. В приемном покое сказали, что он у вас.

— Знаю. В тот же день и оперировали. Еще бы чуть позже привезли и мог бы... Аппендицит у него — гнойный. Теперь не меньше месяца пролежит. К нему сейчас нельзя. Напишите записку — я передам.

Морозов написал письмо с приветами от всех и адресом свояченицы Подсосенко, у которой будут вещи и гитара Ивана.

— Может, он ответ напишет? — спросил он, отдавая письмо.

— Нет, — мягко проговорила медичка. — Еще нельзя. Трудная операция была... Ты теперь здесь служишь или в командировке? Тем лучше. Нам непременно надо встретиться. Вот когда?.. В воскресенье после четырех сможешь? Чудесно. Запиши мой адрес. Я комнату снимаю, сразу же за вокзалом... Извини, мне сейчас некогда.

И, уже попрощавшись, она вдруг обернулась и, улыбаясь, прошипела:

— У-у, противный!

Когда они вышли во двор госпиталя, Якуб Гаврилович недоуменно спросил:

— Чтой-то она? «Противный, противный».

Морозов, все еще не веря, что вот так внезапно встретил свою одноклассницу, пояснил:

— Это еще когда в школе учились. Она такая тоненькая была, с косичками. Строгая. Отличница. А чуть заденешь, всегда вот так: «У-у, противный!»

— А она ничего, аккуратная.

— Якуб?! — даже остановился Морозов. — Ты ли это? Рассказать Лотяну — не поверит. Хочешь, познакомлю.

— Это не для меня, старшой. Свою розышу. Всю землю обойду, а разыщу. Не такая она у меня, чтобы убить ее можно было.

— И правильно! Непременно разыщешь! — убежденно подтвердил Морозов.

Потом он молчал всю дорогу. Неожданная встреча с Вероникой вновь обратила его мысли в прошлое: в далекое-далекое детство и юность. Вероника выделялась среди других девчонок серьезностью. Вокруг нее пытались виться немые поклонники, но она быстро их отваживала. На смех подымала, иногда безжалостно. За азиатский разрез глаз он называл ее «татаркой». Была ли она красавицей, похожей на сегодняшнюю медичку, Морозов не помнит. Рая Дармороз тогда для него заслонила всех. Косички и глаза только и помнит. На улице бы встретил — мимо прошел. Как она оказалась здесь с далекой Волги? Любопытно. Надо непременно зайти...

Когда прибыли на стоянку, он весело посмотрел на всех:

— А если нам вместе чайку попить? Здесь, в машине. Половина экипажа — люди новые, для сближения, как говорят. Организуешь, Якуб?

— То можно. Счас кипятку добуду, а остальное тута.

Через пятнадцать — двадцать минут на покрытом газетой столике стояли четыре немецких фаянсовых чашки с сентиментальными рисунками, открыты две банки консервов. Подсосенко принес сушеной корюшки, которой его снабдила свояченица.

— У нас тут полное кухонное снаряжение, — объяснил Морозов Королеву. — Знаешь, как при выездах бывает? Если сам себя не обеспечишь, то и голодным свободно можно остаться.

— Сюда бы того немца-парикмахера, — пошутил Королев, слышавший рассказ майора Крупникова о стажировке.

— Чихать нам на него, а вот Лотяну, похоже, действительно за столом не хватает. При нем не тот натюрморт бывал, — показал он на стол.

Гаврилович обиженно засопел носом и, нагнувшись, извлек флягу.

— Может, не надо, — засомневался Королев. — На сборах с этим строго.

— Чуть-чуть можно. У нас в экипаже никто за спиртным не гонялся. Такого я бы сам выгнал.

Раздался стук в дверь. Гаврилович быстро убрал флягу со столика.

— Привет славному экипажу «громкоговорящей»! — весело произнес лейтенант Доронин. — Насилу нашел вас.

— Силен! — улыбнулся Морозов. — Настоящий газетчик, знаешь, когда появляться.

— Не подозревайте в корысти. Кто-то из древних говорил: «Каждый судит о другом в силу своей испорченности». Я насчет Лотяну хотел узнать. Как там наш пожиратель женских сердец?

— Неважно. Оперировали его, гнойный аппендицит был. С ме-

сяц проваливается в госпитале. Да, познакомься — новый диктор младший лейтенант Николай Королев, и водитель рядовой Степан Федотович Подсосенко, шофер чуть не с дореволюционным еще стажем. За тобой, Степан Федотович, как самым взрослым среди нас, первый тост.

Подсосенко солидно откашлялся, поднял чашку и сказал:

— Со свиданьем!

— Великолепно, — восхитился Юрий Доронин. — Тоже разговорчивый товарищ, вроде Якуба. — Потом он атаковал Королева: — Скажи про японцев. Какие они? Только лекцию не читай.

— А у них все наоборот, — решил пошутить тот. — Вот если мы машем от себя рукой, прощаясь, у них так к себе зовут. А наше слово «яма» у них означает «гора». Например, Фудзи-яма.

— А если всерьез?

— Всерьез у других надо спрашивать. Невелик я знаток. В газетах пишут, что сражаются упорно, до последнего. Так было на Сайпане, Окинаве... Тебе бы на сборы к нам надо прийти, раз интересуешься. Тут такие специалисты есть...

— Это точно. Солдаты они справные, порядки у них строгие. Офицеров своих больше противников бояца. Только насчет морозов слабые, — солидно вступил в разговор Подсосенко.

— Ну, удивил, Степан Федотович. Откуда знаешь? — спросил Морозов.

— А я их сам помню, только малый еще был. Зато батька мой покойный большой опыт имел против них. В гражданскую партизанил. Попакастили они на нашей земле. Опять же Хасан... Я так считаю, что пора с ними поговорить насчет всего этого, бабки подбить.

— Глас народа! — поднял палец Юрий Доронин.

— Насчет гласа не знаю, — продолжал Подсосенко, — а в народе такое мнение. «На сопках Маньчжурии» слышал? То-то. Нас, дальневосточников, очень даже за сердце берет. И опять же над китайцами они изгаляются. Непорядок!

Доронин хотел было свою сумку открыть и тетрадь достать, но потом передумал — увидит и замкнется этот пожилой солдат.

— Китайцев тоже видеть пришлось? — спросил он.

— Китайцев? Запросто. Китайцы, я тебе скажу, они тоже разные. Вот когда дед еще был жив, так хунхузы, бандиты китайские, очень тут безобразничали. А потом в двадцать девятом белые китайцы с нами войну затеяли... А большинство — те мирные были, на заработки сюда приезжали. У них всегда голодно было. С теми мы ничего, даже дружно жили. Только их старшинки давили сильно.

— Старшинки?

— Ну да. Они артелями работали. Так старшинки верховодили. Которые недовольны были — убить запросто могли. И концов не найдешь. Опиум многие среди них курили. Лучше бы, думаю, водку пили.

— Что-то ты, Степан Федотович, водку начал хвалить. Хрен редьки не слаще, — возразил Морозов.

— Не-е, не скажи. Водку можно и с умом пить. А кто опиум начал курить, тот все. За трубку брата, сестру продаст.

Юрий Доронин не выдержал, достал тетрадь. И точно, как чувствовал — Подсосенко умолк. Но лейтенант уже не мог удержаться:

— А дед ваш откуда прибыл?

— С Екатеринославщины. Между прочим, пароходом полмира проехал, потом матросом ходил. А я так дальше Хабаровска не бы-

вал. Пойду я, — поднялся было он, — обещал один дружок масляный фильтр достать.

— Не торопись, — сказал Морозов. — Вещи Ивана сам отвезешь. Нечего нам всем оркестром к твоей свояченице вваливаться.

— Да, — продолжал Морозов, обращаясь к Доронину, — какая неожиданная встреча у меня была. Представляешь, встретил одну соученицу по школе в Сталинграде. Такая малозаметная девочка была — и такой красивой женщиной стала. Это надо же — на краю земли нашей встретились.

— Если красивая, то будь осторожен, — предостерегающе поднял палец Доронин. — Знаешь, что Брем писал? Гремучие и очковые змеи подобны женщинам: чем старше и некрасивее, тем безвреднее, и чем красивее и моложе, тем яд их губительнее. Учти.

— Мой покойный батя, — вмешался Подсосенко, — не раз говорил: «Ты, сын, за красивой не гонись. Красивая баба в жены мало годится, а нашему брату так и не к чему. Поедешь куда — все думать будешь, не ухлестывает ли кто за ней. А такие завсегда найдутся. С красивыми гуляй, а женись на симпатичной. Главное, чтобы человек надежный был».

— Твой отец, Степан Федотович, был мудрец, — еле сдержал улыбку Доронин. — Но, с другой стороны, вряд ли кто теперь согласится с прежней деревенской моралью: «Нам с лица не воду пить и с корявой можно жить».

— Моя Дарья, — Подсосенко даже голос повысил, — очень даже симпатичная была. Да и сейчас баба справная. И прожили душа в душу. Я на нее полагаюсь, как на себя. Опять же двух сыновей и две дочки родила — выходила. Вот так.

— Ну как, холостяки, — обратился Морозов к остальным, — берем на вооружение завет отца Степана Федотовича?

— Я — за! — согласился Королев. — Для кого моя невеста может и не очень покажется, а для меня красивее самой красивой. Я уверен — сколько угодно ждать будет. При первой возможности женюсь. Заранее всех приглашаю на свадьбу.

Сказал и смутился. Что это он разоткровенничался? Наверное, из-за выпитого. Но все к его словам отнеслись вполне серьезно.

— Спасибо, — ответил за всех Доронин. — Будет возможность, — непременно приду на такое торжество. Свадьба! Красивое и емкое слово. Правда, Шопенгауэр утверждал, что жениться это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности.

— Что-то тебя сегодня на цитаты потянуло? — прервал его Морозов.

Доронин развел руками:

— Случается такой грех у меня. Но ведь для того и умные люди до тебя существовали, чтобы самому заново велосипед не изобретать.

Потом Доронин без какой-либо связи с предыдущим разговором задумчиво сам себя спросил:

— Все-таки интересно знать, что сейчас думают японцы?..

В воскресенье, сразу же после обеда, Морозов начал собираться к Веронике в гости. Королев и Подсосенко отнеслись к этому равнодушно — подумаешь, событие, — но Якуб Гаврилович с усмешкой в глазах поглядывал на своего командира. Морозов с досадой произнес:

— Я же говорил: соученица она моя по школе.

— Да я што? Обыкновенное дело, раз вместе учились. — И, критически оглядев его, Якуб непрерываемо добавил: — Награды одень. Незадаром они нам достались.

— Может, вместе сходим? Она же тебе понравилась, — улыбнулся Морозов.

— Ну и што? — на полном серьезе ответил Якуб. — Такая баба, извиняюсь, женщина, хоть кому по душе придется. Только, знаешь, есть у меня своя. И не такой я, чтоб перед каждой женщиной, как петух, крылом землю царапать.

— Ладно, старина. Но привет я от тебя передам.

— То можно, — согласился Якуб. — А только с одним приветом ходить — весь наш экипаж подводить. Погоди, — он нырнул в машину и вскоре показался со свертком в руках. — На вот... Раз такое впереди, нам незачем хранить это.

В свертке была бутылка французского вина, баночка голландских консервов и плитка шоколада.

— Ну, Якуб, удружил, спасибо. Теперь я, как жених. Даже идти неудобно. Откуда это у тебя?

Гаврилович замялся.

— Дак это еще когда... Держал на какой случай, вот и пригодилось. Думал, Ивану, да раз его резали...

Ни Королев, ни Подсосенко не могли понять значимости подарка сержанта. Но Морозов прекрасно знал. Хороший специалист, мужественный человек и надежный товарищ, Гаврилович был прижимист и скуповат. И это у него не от жадности. Просто далеко не сытное детство, такие же годы учебы, необходимость считать каждую копейку: он был кормильцем большой семьи — сделали его таким.

— Ну, спасибо! — еще раз повторил Морозов и спохватился. — Фу, черт, а фронтовой подарок? Как же я забыл.

Перед отъездом на Восток командование сделало им подарки: пакеты, в которых находились отрезки материи.

— Ко мне, мужики! Якуб, отрежь, сколько надо на платье по своему вкусу. Ты в этом больше разбираешься. И еще два куска.

Когда Гаврилович не спеша отрезал куски материала, Морозов протянул один Королеву, второй Подсосенко:

— Пошлите своим!

— Неудобно брать, — застеснялся Королев. — Фронтовой ведь подарок.

— Все равно раздам. Не с барахлом же на войну ехать. А ты, — повернулся Морозов к Гавриловичу, — свой подарок отдай на хранение его свояченице.

— И то правда, — согласился Якуб. — На всякий случай адрес напишу.

В три пары глаз экипаж МГУ смотрел, как их командир с аккуратно завязанным свертком зашагал к однокашнице в гости.

Впервые Алексей Морозов в этом новом для него городе вот так, не спеша, шел, всматриваясь в дома, прохожих. Город небольшой, но с громкой славой по всей стране. Гарнизон от города отделяла железнодорожная магистраль, не умолкавшая ни на час. Жители привыкли к гудкам проходящих поездов, к лязгу вагонных буферов, свисткам и сигналам сцепщиков. Человек ко всему привыкает,

А разве на фронте в окопах и землянках не спали солдаты, когда немцы на всякий случай прошивали пулеметными очередями передний край или посылали мины? Спали, да еще как спали. И мгновенно просыпались, услышав команду.

Морозов поднялся на пешеходный мост через магистраль и остановился. Все пути станции забиты. И почти все составы с воинскими грузами, машинами, прикрытыми брезентом. На север только состав пудмановских полувагонов, доверху нагруженных углем, да у перрона зеленый пассажирский поезд, который штурмовали пассажиры.

Внизу прошел еще один эшелон, пар и дым от паровоза поднялись к мостику. Морозов посмотрел на часы: время до четырех часов кончилось. Пора!

Домик, в котором снимала комнату Вероника, был действительно неподалеку от вокзала. Морозов нерешительно остановился у калитки: во дворе около будки, разминаясь, поднялся лохматый пес и не сводил глаз с Морозова — попробуй, дескать, зайди.

На крыльце показалась старушка — низенькая, полная, в платке, повязанном узлом под подбородком. Она погрозила пальцем псу, и тот послушно улегся у конуры.

— Проходите, не бойтесь. Он только на вид злой.

— Спасибо. Я к Веронике!

Старушка еще более заулыбалась:

— Знаю. Ждем вас. Она мне говорила. Это ж надо такая встреча. Чего только на свете не бывает. Проходите.

Светло побеленный коридор, за ним дверь в маленькую прихожую, устланную белоснежными половиками домашней выделки.

Морозов остановился, не решаясь наследить.

— Та ничего, проходите. Вы же гость, гостю можно. Вот ее комната.

— К тебе, дочка, — позвала она квартирантку. — Мой-то старик снова на работу пошел. Молодых-то в армию забрали, а он на пенсии был.

Появилась Вероника.

— Здравствуй, Алеша. Ты точен — это хорошо. Давай сюда фуражку. Проходи ко мне.

Комната у Вероники маленькая: железная, определенно госпитальная, койка, стол, этажерка, на которой стояли книги по медицине, небольшой шкаф и два стула. На единственном окошке марлевая занавеска.

— Что рассматриваешь? Небогато живу, да? — спросила Вероника.

Морозов смутился.

— Смотрю, где приданое.

— Неужто сразу сватать пришел? — округлила глаза она.

Алексей внимательно посмотрел на нее. Сегодня она выглядела совершенно иной, чем в госпитале. Возможно, госпитальная обстановка, белый халат, шапочка придавала ей тогда строгий вид. Сейчас перед ним стояла молодая женщина. Гаврилович прав, красивая женщина. Ростом пониже его, в цветастом платье, с обнаженными руками. В ней ничего не было от той тоненькой строгой школьницы с бантиками в косичках. Только коричневые удлинненные глаза напоминали Нику из школы на Тракторном. Как же она изменилась! В ней было что-то от волжских красавиц — статных, с высокой грудью, развитыми бедрами. Странно, почему она до сих пор одна? Об этом свидетельствовала вся обстановка комнаты.

— Садись, Алеша. Я быстро. И не говори, что ты уже обедал и прочее, — метнулась она из комнаты.

Алексей наблюдал, как она расставляла на столе скромные закуски: вареную картошку, соленья — надо полагать из запасов хозяйки дома, — нарезанную и украшенную ломтиками лука селедку, немного консервированной американской колбасы. Потом она оценивающим взглядом осмотрела стол и извинительно произнесла:

— Чем богаты... Да, — спохватилась она, — я немного спирта выпросила. Устроим кутеж по такому случаю.

— Если со спиртом, то я каждый день буду приходить.

— Не выйдет. За все время первый раз попросила да и то объяснила, по какому поводу. А ты что, увлекаешься? — глаза ее чуть построжали.

— Нет, не подвержен. Уставные рамки не перехожу. Фу, дьявол, — извинился он, разворачивая сверток и доставая припасы Гавриловича, — вот и мой вклад. Забыл было.

Вероника приняла все без жеманства, по-детски обрадовавшись шоколаду:

— Вот молодец. Я ведь сладкоежка была, даже от матери попадало. Ну, теперь у нас настоящий банкет будет. Мария Григорьевна, прошу к столу! — позвала она хозяйку дома.

Старушка не стала отказываться и охотно под села к ним. Она посмотрела на них добрыми выцветшими глазами и, подняв рюмку, по-украински произнесла:

— Нам на здоровья, а врагам на безголовья!

Хозяйка оказалась словоохотливой и буквально, не давая никому слова сказать, выложила Алексею чуть ли не всю историю своей семьи. Потом она вдруг остановилась, засмеялась:

— Ой, что-то я, старая, глупа стала. Все говорю да говорю. Та только потому, што все одна да одна в доме. Старик бондарит на рыбокомбинате, Вероника на службе. Поверишь ли, сынок, за полтора года ты первый гость у нее. Так я, старая, обрадовалась новому человеку. Извиняйте. Вот еще с вами рюмочку выпью и пойду отдохну.

Она, действительно, скоро ушла к себе. Алексей сидел, не зная, с чего начать разговор. Снова он был мыслями там, в школьных классах и коридорах своего детства и юности.

Вероника, положив руки на стол, внимательно посмотрела на него.

— Теперь рассказывай! Обо всем. Мне все интересно. Как жил, воевал, за что награды? Кого любил? Женат или нет? Все подробно, как на духу!

Он начал свой рассказ с того дня, когда они, выпускники, каждый пошли своей дорогой. Потом воспоминания захватили его, а может, он сам понял, с какими хорошими людьми свела его фронтовая судьба. И с теми, кто погиб, и с теми, кто уцелел. Память его, как мелкое сито, отсеяла все горькое, тяжелое. Получалось, что ему действительно удивительно повезло на тех, кто был рядом. Он говорил не о себе, а о них. Рассказал об экипаже МГУ. Ведь это и вправду замечательные парни. Только о Зайке ни слова. Это его святое, только его.

Когда он умолк, Вероника бросила на него быстрый взгляд:

— Ты добрый человек. Некоторых война ожесточила — я знаю. А почему один?

— Так война же. До войны — военное училище, потом фронт.

— Ну, знаешь сам, были, кто на фронте новыми женами обза-

велся, забывая о тех, кто их ждет. Полевая походная жена. У нас недавно лежал один майор, так он целую теорию в оправдание придумал. Война, мол, наших женихов истребила и многие не по своей вине одинокими остались.

Она замолкла и вдруг произнесла:

— А Райка Дармороз дура была. Телка. Ух, как я ее не любила. До сих пор ненавижу.

Алексей такого от нее не ожидал. Нет, Рая глупой не была, это Ника напрасно. Глуп был он, мальчишка, вообразивший себя мужчиной. Но спорить не стал.

— Куда она делась? — как можно равнодушнее спросил он.

— Не знаю. Она скоро исчезла с Тракторного. Кажется, в положении была. А, не хочу и говорить о ней. А знаешь, когда я тебя в последний раз встретила? Когда ты в отпуск приезжал. Курсантом. Ты шел на Волгу с какой-то полной интересной женщиной. Я, дурочка, за сто метров тебе заулыбалась, а ты хоть бы бровью повел. Даже расплакалась с досады. У-у, противный!..

— Я бы и сейчас мимо тебя прошел и не узнал, — извиняюще ответил он. — Ты же была тоненькой девчушкой, а сейчас...

— Что сейчас? — с лукавинкой спросила она. — Ты тоже сейчас... А был долговязик черненький. Ведь я была влюблена в тебя, Алешка, — вдруг призналась она. — И ненавидела Райку, растерзала бы ее на куски.

— Ну? — удивился Алексей. — Как же ты, такая кровожадная, медичкой стала?

Вероника вздохнула и откинулась на спинку стула. Глаза ее погрузнели.

— Не задалась у меня жизнь. После школы пошла учиться в медучилище. Я же санитаркой в классе была. Недоучившись, замуж вышла. Как? Почему? До сих пор не разберусь. Да ты его должен знать — Виктор Самохин, раньше нас на год школу закончил.

— Не помню.

— Он на школьных концертах выступал: «Да, скифы мы. Да, азиаты мы с раскосыми и жадными глазами». Это он про меня. Ну, пусть раскосые, но разве жадные? Никогда жадной не была, — с обидой закончила она.

Алексей смутно вспомнил бледнолицего, с длинным чубом парня, который действительно был непременным участником концертов.

— Он способный был, — спокойно продолжала Вероника. — В театр его приняли. На сцене положительных героев играл, а в жизни мерзавцем оказался. Плюнула я на него и подалась подальше. Прямо сюда. Санитаркой работала и медучилище закончила. Еще медицинститут закончу. Кровь из носу. Давай выпьем за это твоего иностранного.

Вино оказалось терпким, густым. Щеки Вероники покраснелись. Она встала и открыла окошко.

— Что-то жарко стало. Давно я так не кутила. Ты куришь?

— Да!

— Так закуривай! — на место пепельницы она поставила блюдо. — Дай и мне! — с хмельной решительностью потребовала она, взяла папиросу и стала пускать дым, не вдыхая его. Курить она, явно, не умела.

— И больше не пыталась замуж? — спросил Алексей.

— Нет, Алеша, не пыталась и не хочу. Теперь сто раз подумаю. Поклонники есть. Тут их много. Женщины здесь мужским вниманием избалованы. Невест не хватает. У нас одна санитарка недав-

но с Запада приехала. Видная такая дивчина. Так она прямо говорит — за мужем. В их деревне даже заводчика не осталось. С начала я не поняла, а она пояснила: ни одного, понимаешь, ни одного мужчины, от которого ребенка можно было бы завести. Ужас какой.

— Да, — посерьезнел и Алексей. — Насмотрелся я горя. Жалко парней, которые погибли, и невест, и матерей их жаль. Многие одинокими останутся. А как там наш Иван?

— Забавный, — улыбнулась Вероника. — Его еще с ложки кормят, а он уже ухаживать пытается. Вот, говорит, гитару принесут, все в него влюбятся.

— Вполне возможно. Он же из нашего экипажа. Геройский парень.

— Но, но! — погрозила пальцем Вероника. — Хвастать начинаете, товарищ старший лейтенант.

Она провела рукой по его наградам.

— Ты хорошо воевал, Алеша. Я бы ка fronte не смогла. Крови не боюсь, в хирургическом ее достаточно бывает, а вот оружия и выстрелов... У нас бы это чище сделали, — коснулась она пальцами шрама на его щеке.

— Некогда там было за красотой гнаться. Большая очередь была к хирургам.

— И больше ничего у тебя? — с беспокойством спросила она.

— Есть, — нехотя признался он. — Ножом один фриц пырнул. Все равно я его прикончил! — жестко закончил он.

— Непременно приди к нам показаться, — еще более беспокоилась она. — У нас прекрасные специалисты.

Алексей погасил папиросу:

— Зачем. Зажило и ладно. Давай еще этого французского?

— Давай! — лихо пристукнула кулачком по столу Вероника. — И, пожалуйста, зови меня Никой, как тогда, в школе.

Алексей растрогался. Его однокашница не только внешне изменилась к лучшему.

— Извини, Ника, — сказал он. — Я вот тут принес, — и вдруг застеснялся. — Понимаешь, перед отъездом нам подарки дали. Так вот я...

Он развернул пакет с тканью.

— Возьми пожалуйста. От души...

Она, не отнекиваясь, взяла отрез.

— Спасибо. Большое спасибо. Мы тут, правду сказать, пообносились. Но... Ты бы, Алеша, лучше отрез матери с сестрой послал.

Алексей погрустнел.

— Потерял я их, Ника. Найдутся ли — не знаю!

— Господи! — поднялась вдруг Вероника, сжав ладонями лицо и испуганно глядя на него. — Что же мы про ерунду разную. Живы они, Алеша! Живы, милый! В Челябинске, на тракторном.

— Не может быть? — задохнулся Алексей. — Неужели!

— Да! Они вместе с моей матерью там. В одном бараке живут. Сейчас пойдем на почту, телеграмму дадим. Радость-то какая им будет!

Она заторопилась, сама неумело нахлобучила Алексею фуражку.

— А отец?

— Не знаю. И твой и мой — в ополчение пошли. Не знаю, — прикрыла лицо руками и тут же сказала: — Ну, побежали!

Возвращались с почты медленно, не торопясь; она властно и мягко взяла его под руку. Он был благодарен ей безмерно. Мать и сестренка! Неожиданная радость. Он всегда верил, что они живы, но

ведь они остались в Сталинграде. В Сталинграде! Это понимать надо. Такую огромную радость принесла ему Ника.

Она шла рядом, улыбаясь каким-то своим мыслям. Весь этот клонящийся к вечеру день показался ему таким светлым, радостным. И улицы города были уютными, провинциально-тихими, хотя рядом по-прежнему не стихал напряженный ритм великой железнодорожной магистрали.

Оба они молчали до самого ее дома.

К чаю — настоящему, густо заваренному — пригласили и хозяйку. Та отказываться не стала, а узнав о том, что Алексей разыскал мать, долго ахала и приводила множество подобных же случаев.

Только поздно вечером Алексей стал прощаться. Вероника пошла проводить его до калитки... Положив руку ему на грудь, она сказала:

— Не исчезай больше, Алеша. Очень прошу тебя: не исчезай...

Глаза ее потемнели, обрели необычную глубину и, посмотрев в них, Алексей растерялся:

— Ну что ты, Ника, — сжал он ее руку. — Как можно? Как ты могла подумать?

— Так ведь и здесь война будет. Война! — потерянно проговорила она.

— Да, будет. Только мы теперь другие. Сорок первый здесь не повторится. Здесь будет сорок пятый!

— Все равно война, — также потерянно повторила она.

Она показала ему такой беззащитной, слабой, испуганной, что он сам привлек ее рукой за плечи. Она, прижав к его груди голову, замерла, затихла. От ее каштановых волос исходил какой-то мягкий, теплый запах.

Первым опомнился он и, мягко отстранив ее, сказал:

— Ты когда будешь дома вечером? Помоги посылку отправить, я не знаю, как это делается.

— Какую посылку?

— Матери.

— А-а, — она потерла щеку рукой. — Извини, кажется, я выпила лишнего. Послезавтра приноси. Если задержусь, обожди. Только не исчезай.

И, когда он уже открыл калитку, вдруг протянула:

— У-у, противный!

Алексей рассмеялся радостно, громко, как уже давно этого не делал.

Он еще два раза побывал у нее. Пили вдвоем чай, «по-семейному», как сказала хозяйка дома. Она же в основном и разговаривала, вспоминая свою жизнь коренной дальневосточницы, полную неожиданностей — и горестных, и радостных.

А потом поступил давно ожидаемый приказ: штаб армии и политотдел передислоцировались на запасный командный пункт — в сопки, поближе к границе.

Перед самым выходом Морозов прямо на МГУ заехал к Веронике. Та же старушка-санитарка с утиной походкой мучительно медленно пошла звать старшую медсестру и потом только ахала, наблюдая за тем, как всегда недоступно строгая гроза всего хирургического отделения стремительно помчалась к выходу. На крыльце она сама обняла и поцеловала широкоплечего старшего лейтенанта.

А рядом с МГУ стоял, понимающе ухмыляясь, ее экипаж. Вдруг Гаврилович крикнул: «Глядите, Иван!»

За стеклом окна второго этажа была видна тощая фигура Ива-

на Лотяну. Он, жестикулируя, что-то немо говорил. Сзади него виднелся белый халат старшей медсестры.

Иван Лотяну понял, конечно, куда отправляются его боевые друзья. Со слезами на глазах смотрел он, как, помахав ему рукой и что-то прокричав, они сели в машину, и МГУ, знакомо покачиваясь высоким кузовом, плавно выкатила за ворота госпиталя.

— Ну что ты, миленький, — утешала его Вероника, — они еще придут. Пойдем — ляжешь, тебе еще рано столько быть на ногах.

Он лег, повернулся к стене лицом и до самого вечера не отвечал на вопросы соседок по палате.

А Морозов все удивлялся неожиданному порыву Вероники. Впрочем, ничего серьезного, решил он. Просто она догадалась, почему штаб и политотдел армии выдвигаются в сопки. И все же как-ие-то нити протянулись между ними, заставляют думать о ней.

Командный пункт находился в сопках, склоны которых изрыты блиндажами, подземными сооружениями различного назначения. Подчиненные майора Марштейна получили свое строго определенное место. Их число поубавилось — сборы вчера спешно свернули — и большинство инструкторов тотчас разъехалось по своим соединениям. МГУ вместе с двумя специальными машинами походной типографии укрылась неподалеку под кронами деревьев.

Днем на командном пункте всякое движение было строго ограничено. Внешне трудно было предполагать, что здесь укрылся большой штаб, что именно отсюда идут сейчас приказы, по которым снимаются с места дивизии, бригады, полки и, тщательно соблюдая маскировку, по ночам двигаются к границе. Они втягиваются в поросшие густым лесом пади, способные укрыть десятки армий. А днем дороги были пустынные, и непосвященному человеку трудно было догадаться, что именно по этим дорогам передвигается огромная сила, сжимаясь, как тугая пружина, виток за витком накручиваясь все туже и туже. В какой-то миг по первой команде она готова развернуться и нанести удар неотразимой силы.

Ожидание всегда кажется длинным и томительным. Время будто замедляет свой бег, становится тягучим. Это не значит, что многочисленные службы штаба, политотдел сбавили напряженный ритм и исполняли «бег на месте». Трудностей и сложностей прибавилось. Но все же ожидание решающего часа было у всех: от командующего до посыльного.

Из экипажа МГУ больше всех был озабочен Подсосенко. Он буквально не вылезал из-под капота, склонясь над работающим на малых оборотах мотором, или, подстелив ветки, лазил под машиной. «Ну, если что, цепи надену, приготовил, — сообщил он, — как танк ходить будет». Озабоченным был и младший лейтенант Королев, ходил, бормоча японские слова, термины. Морозов и Гаврилович явно томились. Аппаратура давно проверена, отрегулирована. Времени незаполненного оставалось изрядно. Якуб писал письма на родину, продолжал разыскивать родственников, которые могли бы сообщить о судьбе его Надёнки. Морозов же ждал письма от матери.

Однажды, когда они оба отдыхали после дежурства, Морозов сказал Гавриловичу:

— Ну что ж, друже, похоже пора нам свой «арсенал» проверить.

«Арсенал» был их тайной. Оба знали, что это непорядок, нарушение, что нетабельное имущество и оружие надо было сдать, но сознательно не сделали этого. На дне ящика под инструментами и

запчастями они хранили два автомата, запасные магазины к ним и несколько гранат. Один автомат им дал командир роты под Бобруйском, узнав, что все оружие экипажа составляло три пистолета и карабин. Второй они подобрали сами, во время наступления наших войск в Белоруссии. На фронте нередко оружия оказывалось больше, чем способных стрелять из него.

Запершись в кузове, они разобрали автоматы, почистили их, смазали и снова собрали. Передернув затвор ПППШ, Морозов удовлетворенно произнес:

— Порядок. В случае чего будет чем от самурайских смертников отбиться. А то ведь тут один изрек: «Оружие добывается в бою!» Вот, брат, как! Это в год-то сорок пятый!

— Так он бой только в кино видел, — зло произнес Якуб.

— Ты, как всегда, мудр, Якуб. В точку угадал, — сказал Морозов, помянув про себя недобрым словом капитана Марсина. — Японцы, как мне объяснил Королев, о таких говорят: «Пускают стрелы, когда нет врага».

— Во-во, — ухмыльнулся Якуб, — а когда враг е, то в штаны пускае.

Они вновь сложили оружие на дно ящика, довольные своей предусмотрительностью. Едва раскрыли дверь, как у нее оказался лейтенант Доронин.

— Здорово, орлы! Привет славному экипажу «громкоговорящей». Давно вас не видел.

— Сам виноват. Почему не показывался? — попенял ему Морозов.

— Все время на колесах. Уж я поездил, до самого Тихого океана добрался. Ух, братцы, земля здесь — диво. Даже лебеда такая растет, что человека на коне в ней не видно.

— Дак в такой лебеде и самурая не заметишь, — сказал Гаврилович.

— Но и ему трудно будет нас засечь, — возразил Доронин. — Да... Я вот хожу, и одна мысль меня донимает: что самураи сейчас думают? Знают ли, какая сила здесь против них собралась?

— Ишь чего захотел узнать, — с иронией ответил Морозов. — Над этим и маршалы задумываются. Что сейчас думают самураи, мы узнаем позже. Нам ведь и по штату положено знать, иначе какая же это пропаганда у нас будет. Узнаем...

Глава третья

1

Ефрейтор Сэнда Васиро удивился и заволновался, когда посыльный передал ему приказ немедленно явиться к командиру роты его благородию капитану Сато. От внезапного вызова он ничего хорошего не ожидал. Слишком большая дистанция отделяла в императорской армии ефрейтора от господина командира роты. И тем более его, Сэнда, который, увы, не внушал доверия командованию. С первых дней, как только его призвали и заслали в этот забытый богом гарнизон на самом востоке Маньчжоу-Го, он чувствовал, что каждый его шаг контролируется.

Капитан Сато тоже недоумевал: что мог натворить этот ефрейтор, раз его вызывают прямо в штаб дивизии? В роте он вел себя тише насекомого. Но ведь говорят: «Молчаливое насекомое стены точит». И главное — никак к ефрейтору не привяжешься. Он луч-

ший стрелок в роте, приходится посылать его на полковые и дивизионные стрельбы, да и на инспекторских не раз выручал. Хитрая бестия. Он и у живой лошади сумеет глаз вынуть. Ни одного крамольного слова, никакого нарушения устава.

Но, с другой стороны, если, кто на чем недозволенным попадался, тех доставляли в штаб иначе — под конвоем. А этого... Может, родственники добились протекции, покровительства? Похоже, у ефрейтора покровители есть. Это надо же, за пораженческие разговоры отделался только призывом в армию. Черти занесли его в роту капитана, будто нет других частей в императорской армии.

Недоумевал капитан Сато, недоумевал и ефрейтор Сэнда, получив неожиданное приказание, доставить пакет в штаб дивизии. Почему именно он? Почему, минуя штаб батальона и полка, прямо в штаб дивизии?

Вручая пакет и напутствуя его, старший писарь — пройдоха, ловко играющий на слабостях командира роты, наставительно сказал:

— Получи новый комплект обмундирования — ты ведь будешь представлять роту его благородия капитана Сато. Когда вернешься, сдашь. И, надеюсь, привезешь нам новости. Мы в этой глуши ничего не знаем.

Всю дорогу, трясаясь в кузове грузовой автомашины, Сэнда продолжал мучительно размышлять, о причине внезапной командировки. «Будь, что будет», — решил он наконец.

Дежурный по штабу, которому Сэнда сдал пакет, не скрывая любопытства, внимательно посмотрел на него и внушительно-строго произнес:

— Тебе надлежит явиться в шестой кабинет. Тебя вызвал господин поручик из генерального штаба. Держи себя, как положено ефрейтору нашей геройской дивизии.

Голова у Сэнда снова закружилась: из генерального штаба?! Зачем поручику понадобился безвестный ефрейтор?

Он с минуту простоял у кабинета, стараясь собраться с духом. Что ждет его за этой дверью?

Сэнда четко отрапортовал сидевшему за столом поручику, который рассматривал какие-то бумаги. Офицер поднял голову и приветливо сказал:

— Рад видеть тебя, Васиро!

Сэнда задохнулся от неожиданности. Перед ним был Накамура — двоюродный брат его жены. Благодаря ему он и познакомился со своей будущей женой. Вместе с ним он учился в школе, а затем в университете. Потом их пути разошлись. Сэнда, как лучший в выпуске, был приглашен работать в плановый отдел могущественной монополии Ясуда — одной из пяти дзайбацу, контролировавших главнейшие отрасли экономики страны. Накамура выехал служить за границу. И вот неожиданная встреча. Теперь их разделяла непреодолимая для Сэнда дистанция в различии воинских званий.

— Не ожидал? — спросил Накамура.

— Так точно, господин поручик!

Поручик чуть поморщился, потом посмотрел на стены кабинета и внушительно произнес:

— Мне поручено с тобой переговорить. Пройдем!

Он вышел из кабинета, спрятав бумаги в железный ящик, Сэнда, как и положено младшему по званию, почтительно шел сзади. Они вышли из штаба и направились в небольшой скверик. Невидимые для других, они заметили бы каждого, кто подошел бы сюда.

Поручик уселся на скамейку, достал сигарету и, усмехнувшись, произнес :

— Хватит тянуться. Садись, здесь нас никто не увидит. В кабинете у стен могли оказаться уши.

Тяжесть свалилась с плеч Сэнда. Еще не веря, он растерянно улыбнулся и присел на скамейку.

— Это твоя жена поручила мне разыскать тебя и узнать, как ты живешь здесь. Вот Письмо от нее, — он достал конверт. — Прочти и сожги. Осторожность не помешает. Ты, оказывается, числишься в неблагонадежных? До сих пор не пойму, как так могло случиться. Ты — и вдруг неблагонадежный? Насколько я помню, ты никогда политикой не интересовался, служил в такой могущественной фирме, был на хорошем счету. Даже бронь от армии имел...

Поручик посмотрел на ефрейтора и продолжал:

— Изрядно тебя запугали. Похоже, что и мне не доверяешь? Напрасно. Я только удачнее тебя сумел приспособиться к обстоятельствам. Так все-таки, как ты попал в число неблагонадежных? Я об этом мог бы узнать иначе, но зачем? Подлинную истину знаешь только ты.

Сэнда понурил голову. Стыдно было признаться, какого дурака он свалил.

— Я всегда, — начал он, — был и буду верноподданным Его Величества. Но... Ты знаешь, что я занимался экономическими исследованиями. Мы занимались составлением сводок и прогнозов развития экономики нашего отечества и других стран. И вот я пришел к выводу — мы рано начали войну. Рано... Сам посуди, передо мной были не только зажигательные речи о превосходстве нашего духа, готовности сражаться, не щадя жизни, покровительстве и благословении богов. Передо мной были объективные, неопровержимые данные по экономике, а они говорили убедительнее речей наших военных и гражданских политиков — мы начали рано!..

И как я мог думать иначе, если мы добывали нефти всего четыреста тысяч тонн, а американцы почти двести миллионов. Мы чугуна выплавляли немного более четырех миллионов тонн, они — почти пятьдесят два миллиона, стали мы давали около семи миллионов тонн, а они более семидесяти пяти миллионов. А еще — Англия, Канада, Австралия. К тому же с Китаем никак справиться не могли...

Сэнда взял протянутую поручиком сигарету, несколько раз глубоко затянулся.

— Да... Я, конечно, ни с кем не делился своими сомнениями. Началась война, и все как обезумели. И я тоже... Такие блестящие победы вначале. Нет, они меня не очень ослепили, но все-таки я заколебался. И потом я, как и многие, надеялся на Гитлера, но после Сталинграда... А наши победы сверкнули, как фейерверк, и погасли. Да ты это лучше знаешь. Меня опять стала точить мысль, что я был прав с самого начала. Она не давала мне покоя. Но что я мог сделать, если у Его Величества оказались плохие советники... В конце прошлого года наша компания получила выгодный заказ от интендантского управления. Очень крупный заказ, и, как бывает в таких случаях, мы вместе с господами офицерами отметили это в ресторане. Я выпил лишнего и, когда один из военных господ начал похвастаться о скорой победе, я не сдержался... На следующий день меня арестовали. Поверь — кто попал в лапы жандармам один раз, тот запомнит это на всю жизнь. Я еще легко отделался...

— Я, признаться, и подумал о подобном, — поручик говорил

медленно, словно раздумывая над словами. — Может быть, сейчас ты, куда бы легче отделался. Рухнул наш великий дух, хотя наши начальники всех рангов и пыжаты. Даже для камикадзе специальные самолеты делают, чтобы обратно долететь не смогли — так и так смерть. «Сто миллионов человек — одно сердце, одна воля», призывают политики и наши стратеги. Нет одной воли, нет одного сердца. Есть сто миллионов, которые молят богов, чтобы выжить и чтобы все скорее кончилось... Да и как иначе? Они живут на японской земле, а неба своего у них уже нет. Оно стало американским. 24 и 27 мая американские «Б-29» уничтожили в Токио шестьдесят семь тысяч домов: осталось больше трех миллионов погорельцев. Через двое суток они сожгли Иокогаму. Идет гигантская тотальная кремация...

— А как на фронтах? — спросил Сэнда. То, что рассказал ему родственник, казалось невероятным, хотя это была суровая, страшная реальность. Он — один из немногих — предполагал ее давно.

— Как на фронтах? — На лице поручика появилась горькая гримаса. — Амэко приближаются к нам по нашим трупам. На Ивадзима погибло двадцать три тысячи наших, на Окинаве семьдесят две тысячи. «Разбились на куски, как драгоценная яшма», — пишут в сводках Ставки. Конечно, истинные потери знают только в генштабе. Поверь — много яшмы уже разбилось.

— Что же дальше? — угрюмо спросил Сэнда.

— Не знаю. Не уверен, что это вообще кто-нибудь знает. Слухи ходят самые дикие. Вот наша служанка уверяла жену, что амэко непременно высадутся в Японии и все японки будут обесчещены и им придется рожать детей с рыжими волосами. Кто этого не желает, пусть скорее беременеют. Представляешь? Амэко высаживаются у нас, а их встречают сплошь беременные женщины. Трудная предстоит задача мужчинам, которые дома еще: придется постараться.

— Ну, это абсурд.

— Абсурд? А ты знаешь, как наши поступали в Китае, Бирме, Индонезии, на Филиппинах? Почему их солдаты должны быть лучше? Война есть война, на ней всегда горе побежденным.

— А если серьезно? Мне не до шуток.

— Мне тоже, — уже раздраженным тоном продолжал поручик. — Кое-кто у нас носится с идеей, если амэко высадутся в Японии, продолжать сопротивление здесь, в Китае. Удивительное дело, как мы, японцы, можем всерьез готовить самые нелепые планы. Еще до той войны с русскими один «стратег» предложил план завоевания Сибири женскими бедрами.

— Бедрами?

Поручик улыбнулся.

— Да, да! Поскольку в Сибири тогда было мало женщин, то предлагалось послать туда сто тысяч японок. Японки выходят замуж за русских и рожают детей, но воспитывают их в японском духе. В итоге у русских в тылу окажется наша армия в несколько сот тысяч человек. Представляешь?

— Опять шутишь! — недовольно прервал его Сэнда.

— А что остается делать? Вот я приехал с целой группой чинов из генштаба, чтобы выяснить, можно ли переправить сюда Его Величество в случае чего. Как вы тут?

— Что может знать ефрейтор? Командование уверяет, что если русские нападут, то дальше укрепрайонов они не пройдут.

— Да? — иронически переспросил поручик. — Те самые русские, которые уничтожили все немецкие крепости и укрепрайоны,

здесь не пройдут? Может, мне привести цифры, что можем выставить мы и они? Да знаешь ли ты, что в вашей дивизии всего восемнадцать противотанковых пушек? Духом собираетесь побеждать? Гитлер тоже полагался на армейский дух...

— Я всего лишь ефрейтор, — снова повторил Сэнда. — Мое дело — выполнить приказ. Я как песчинка.

— Песчинка... Все мы живем, как в море — большие рыбы поедают малых, а малые — креветок. В большие рыбы мне не пробиться, тебе тоже, но я не хочу быть креветкой, которую может слопать любая малая рыба. Я должен выжить во что бы то ни стало. И тебе советую. Позже все болваны, которые втавили нас в эту авантюру, уйдут, и понадобятся люди дальновидные, такие как ты. Мы не можем допустить, чтобы и у нас началось то, что произошло в России после той мировой войны. Я, признаться, из-за этого тебя и разыскал.

— Выжить?! Да я шагу самостоятельно не могу сделать. Даже в сортире чувствую, как за мною следят.

— Тут я ничего советовать не могу, — устало ответил поручик. — У тебя неплохая голова. Я хотел только предостеречь тебя, чтобы ты сам добровольно в какие-нибудь «никуданы» не полез. — Он посмотрел на часы. — Больше не могу быть с тобой. Прочти письмо жены и сожги при мне. Для моего спокойствия. И отправляйся назад.

— Слушаюсь! — автоматически ответил Сэнда. Он опять почувствовал себя ефрейтором перед поручиком.

Когда Сэнда быстро пробежал письмо и сжег его, поблагодарив родственника, тот встал и на прощание сказал:

— Когда будут спрашивать, зачем вызвал, скажи, что я беседовал с тобой по твоему делу, выяснял детали. Храни тебя боги!

Поручик Накамура, нахмутив лицо, с важным видом зашагал к штабу. Сзади него почтительно шел ефрейтор Сэнда.

Он снова трясся в кузове грузовика, который, оставляя за собой густой шлейф пыли, неторопливо катил по узкой дороге между сопок. Все дальше на восток, где на левом фланге укрепленного района совершенствовались блиндажи и дзоты рота капитана Сато.

Мысли Сэнда перескакивали с одного сообщения Накамуры на другое, пытаясь из всего услышанного слепить какую-то общую картину. Эта картина получилась такой безрадостной и страшной, что Сэнда постарался тут же забыть о ней. В письме жены ничего особенного не было. Она с дочерьми после его ареста перебралась к родителям, жившим в небольшом сельском городке, на который вряд ли станут тратить бомбы «Б-29». Обычные, малорадостные новости, и ничего опасного в них не было.

Накамура всегда был более ловок, чем он, Сэнда. Может быть, дальновиднее. Во всяком случае он всегда опережал его, Сэнда. Даже вот сумел попасть в генштаб. Это не джунгли Бирмы или Индонезии, не такой далекий край, как Сингапур, где почти все полегли в безвестных могилах.

Сэнда благодарен родственнику за то, что тот разыскал его и предупредил по-своему. Сэнда еще тогда, в сорок первом, предчувствовал неизбежность поражения. Хотя нет, он тогда не думал о такой катастрофе, о таких жертвах. Ведь всегда дипломаты, жертвуя многим, умели сохранить главное. Но боги лишили разума тех, кто распорядился судьбами его соотечественников. Безумцы! Кому могла

взбредить мысль перебраться в Маньчжоу-Го и продолжать битву здесь? За Японию, но без Японии? История свидетельствует о том, как государства, потерпевшие поражения, потом возрождались в еще большем величии и блеске. Но кто же возродит Японию, если все они поголовно погибнут?

Сэнда смотрел на поросшие редким лесом склоны сопки. Чужая земля, чужое небо, чужое солнце. И где-то на таком склоне будут лежать его труп и трупы солдат его отделения. А ведь большинство этих солдат мобилизовано из колонистов, верит и надеется, что именно они остановят и уничтожат русских. Они-то защищать будут не далекую Японию, а свои семьи, поселки, дома, поставленные на земле, отобранной у китайцев. И китайцев они боятся не меньше, чем русских. Рабы всегда ненавидели господ, ненавидели люто, жестоко.

Он вспомнил слова Накамуры «выжить во что бы то ни стало». Как? Что он может предпринять? Вот его солдаты запаслись амулетами, поясами из тысячи стежков, молитвами, зашитыми в мешочки. Ограниченные люди, они теперь только и надеются на милость богов.

Сэнда не запасался амулетами. Даже письмо жены он вынужден был сжечь. У него не осталось ничего — ни прошлого, ни будущего.

Грузовик замедлил ход, взбираясь на перевал, за которым стоял штаб роты. Ефрейтора Сэнду ждал вопрошающий взгляд капитана Сато и назойливые расспросы старшего писаря.

Во время недолгой встречи с родственником поручик Накамура не все сказал ему, а возможно, и сам не знал всего.

Правители его страны, оттягивая срок неизбежного поражения, не считались ни с какими жертвами их народа. В первый день сорок пятого года премьер-министр Японии хвастливо заявил по радио: «Настал благоприятный момент для победы в войне». Ему вторил министр иностранных дел Сигемицу в парламенте: «Мы не сомневаемся в нашей окончательной победе».

20 января 1945 года была принята «Общая программа боевых операций императорской армии и императорского флота», согласно которой весь японский народ должен был стать пушечным мясом. Предусматривалось «вооружить все живое на императорской земле» и воевать так, чтобы, «погибая, тянуть вместе с собой на тот свет и противника».

В апреле Главная ставка распространила «Руководство для населения по ведению оборонительных боев».

В июне командующий армией, дислоцированной в Осаке, цинично заявил: «В настоящее время, когда в стране не хватает продовольствия и ее территория превращается в поле сражения, существует необходимость уничтожить всех стариков, детей, больных и слабых. Они не годны, чтобы погибнуть вместе с Японией».

Это были не пустые слова безумца в генеральской форме. На Сайпане японские вояки сами убивали жителей острова — японцев. Или принуждали их к массовому самоубийству. На Окинаве солдаты врываются в дома, насиловали женщин, выгоняли их из выкопанных убежищ и сами прятались в них.

Даже дикие звери защищают своих детей. Но те, кто обрекал детей на гибель, о себе побеспокоились заранее. В отдаленной от моря местности Мацусиро тайно строилась подземная крепость, и

в ней готовились они укрыться, пока японцы будут, «погибая, тянуть с собой на тот свет и противника».

6 августа в 8 часов пятнадцать минут утра американцы сбросили на город Хиросима атомную бомбу. Больше половины жителей погибло сразу в момент взрыва, шестьдесят тысяч домов превратились в покрытые пеплом развалины. Но атомная бомба не поколебала решимости правителей, военных продолжать войну. В центре Хиросимы не было военных объектов, а гражданскому населению и без того планировали тотальную гибель. Радио оповестило население, что от новой американской бомбы можно спастись, если носить белую одежду и укрываться в убежища при появлении даже одиночного самолета.

Но об этом еще не знали ни поручик Накамура, ни его родственник ефрейтор Сэнда. Как раз в те часы, когда они беседовали в скверике около штаба дивизии, Хиросима пылала огромным погребальным костром.

2

Известие об атомной бомбе дошло и в сопки Приморья. Заявление Гарри Трумэна, переданное по радио в тот же день, известило весь мир о создании нового оружия массового уничтожения.

Майор Марштейн принес полный перевод заявления американского президента члену Военного совета армии. Тот внимательно прочитал его, спросил:

— Ну и как самураи — капитулируют?

— Думаю — нет!

— И я так думаю. Больше тебе скажу: господин Трумэн знает, что не было нужды жечь Хиросиму. Также сожгли Дрезден, когда мы из фашистов дух уже вышибли. Понял?

— Догадываюсь. Американская пресса не скрывает, что война может продлиться до весны сорок седьмого года.

— Знаю, — сказал генерал. Он поднялся, прошелся по довольно просторному для подземелья кабинету. — Только мы можем заставить японцев быстро сложить оружие. Ничего не скажешь, стойко самураи воюют. Даже когда сопротивление бессмысленно. Ну, а как твои? Технику всю получили?

— Так точно. Все положенное имеем.

— Добро. Военный совет вашей службе придаст большое значение.

— Спасибо. Мы постараемся.

Последние два дня донимал дождь. И, как это бывает летом в Приморье, — обильный, похожий на тропический ливень. Небо то прояснялось, то снова заволакивалось свинцово-черными тучами. И, даже когда солнце успевало все подсушить, стоило тронуть куст, ветку, как с листьев срывался сноп водяных брызг. Морозов удивлялся тому, что склоны сопки были все время мокрыми и сапоги чуть не по щиколотку увязали в разбухшей глине.

— Такие уж у нас сопки, — разъяснил Николай Королев. — Тонкий слой почвы, а под ней глина и камень. Вот вода и не успевает впитываться. У нас много непохожего на другие места. Реки разливаются не весной, а летом, осень — самое сухое время года.

— По такой погоде с дороги не больно свернешь, — подтвердил Подсосенко. Он чистил карабин.

— Послушай, отец, — пошутил Морозов, — а тебе приходилось из такой штуки стрелять?

Подсосенко посмотрел на свет в ствол карабина, удовлетворенно хмыкнул.

— А вот давайте попробуем, кто больше выбьет. Я свой солдатский срок отбыл, когда кое-кто еще у мамки титьку сосал. И всю жизнь, между прочим, отпуск зимой беру. В тайгу иду с ружьишком. Никогда с пустыми руками домой не возвращался. Так-то! — закончил он и, вставив затвор, несколько раз передернул его. — Ничего, справный карабин, и спуск мягкий.

— Силен! — крутнул головой Морозов. — Ведь это он насчет нас с тобой проехался, — подмигнул он Королеву.

Он был в прекрасном, даже радостном настроении — получил письмо от матери и сестры. Живы, здоровы. Мать наградили медалью «За доблестный труд». Только от отца ни слова, о судьбе его полная неизвестность. Сестра — станочница, уже невеста. Подумать только, беленькая Оля с жидкими косичками — невеста. А в конце письма привет от матери Вероники и приветы самой Веронике.

Как хорошо, что она встретила ему. Странно все же бывает: болезнь Лютяну, огорошившая их всех, принесла ему встречу с Никой, а через нее отыскалась и мать. Ника! В эти дни томительного ожидания он все не решается первым написать ей. Теперь он должен это сделать. О том, что командир получил письмо от матери, уже знал весь экипаж.

— Да... — нерешительно протянул он, — надо бы Веронике привет от матери с сестрой передать, а я номера их полевой почты не записал. Был бы Иван...

— А что Иван? — вдруг обиженно отозвался Подсосенко. — Подумаешь, задача какая. Да из госпиталя сюда каждый день санитарная приходит. Сегодня после обеда снова туда пойдет. Пиши, старший лейтенант, сделаю это дело.

— Шофера — одна шайка-лейка, — подал голос Гаврилович.

— А как же! — охотно согласился Подсосенко. — Без выручки в нашем деле нельзя. Кто, как куркуль, себя держит, настоящим шофером никогда не будет. На Дальнем Востоке по-другому нет возможности.

— Ладно, патриот-дальневосточник, — согласился Морозов, — сейчас я напишу записку. И отправляй ее шоферской связью...

Солнце пекло сильно, от каждой зеленой ветки, каждого листа, травинки, открытой солнечным лучам, подымался заметный, искажающий перспективу след испарений. Умолкнувшие во время дождя птицы снова подали свои голоса, не обращая внимания ни на грозные машины, укрывшиеся под кронами деревьев, ни на занятых своим делом людей. Люди не трогали птиц, и те быстро к ним призывали.

К своему стыду Николай Королев плохо разбирался в здешней растительности. Конечно, березу, ель, кедр, тополь, осину он знал, но это почти и все. Обычный кругозор большинства горожан. Батальон, где он служил в свой солдатский срок, стоял в почти безлесной местности. На сопках рос только низкорослый дубняк, который сохранял желто-красные листья до самых холодов. Они с треском горели в солдатских кострах на зимних учениях. А весной сопки голубели, розово синели в кипении багульника.

Он не хвастал, когда сказал, что ему хотелось быть вместе с разведчиками, которых он встретил сегодня. Конечно, теперь ему поручено ответственное дело. Но... Разве можно сравнить его нынеш-

нюю службу с работой разведчиков, которые всегда впереди, на острие штыка, как говорил их комбат. Туда берут отборных, самых ловких, сильных и способных ребят. В долю секунды порою разведчик должен решить главный вопрос: кто кого! И разве им не нужен человек, знающий язык врага?

Но уйти с ними было не в его власти. Да он и не стал бы просить сейчас о переводе в разведчики. Он не мог поступить так потому, что поставлен на точно определенное место. Ему было бы стыдно перед теми, кто сидит сейчас в кузове МГУ, они признали его своим, надеются на него. И сами эти люди пришлось ему по душе.

«Вот, если бы, — размечтался он, — выстроили всех политотдельцев и сказали: «Нужны разведчики-добровольцы!»

Николай посмеялся своим почти детским мыслям.

Из машины показался Морозов, за ним Гаврилович.

— Николай! — позвал командир МГУ, — пошли в столовую. А то опять от селедок одни хвосты достанутся.

Они не прошли и половины пути к столовой, как Морозов остановился, внимательно посмотрел вокруг и сказал:

— Чует мое сердце, в столовой сегодня будет много свободных мест. Похоже загорать нам здесь осталось с гулькин нос.

— Ты так думаешь?

— Эх ты, разведчик! Да посмотри, сколько «виллисов» и мотоциклов собралось вон под теми деревьями, где машины оперативников и разведчиков стоят. И опять же штабники чуть не бегом все. О своей рыженькой, наверное, замечтался.

Николай Королев внимательно посмотрел вокруг. После слов Морозова, он сам почувствовал, что пульс скрытого под землей штаба забился учащеннее, нервы армейского организма более напряжены, словно у человека, начинающего дело, которое потребует отдачи всех сил.

— Похоже, ты прав, — с тревогой согласился он. — Может, сначала зайдем к начальству?

— Зачем? — голос Морозова был спокоен. — Учти: на войне главное для солдата — вовремя поесть. А потом, дорогой друг, во время наступления нас с тобой дальше второго эшелона не пустят. Поверь моему опыту. В наступлении нужен огонь. Любого вида и как можно больше. И броня. У нашей «громкоговорящей» — ни того ни другого. Ну да ничего, мы тоже понадобится. Хватит и нам работы. А пока пошли обедать.

Чутье фронтовика не обмануло командира МГУ. Вечером, когда с новой силой разразился дождь, всех политотдельцев собрали по тревоге. В этот час такая же боевая тревога была объявлена во всех ротах, батареях, эскадрильях, эскадронах, во всех частях и подразделениях советских войск, которые сконцентрировались на советской и монгольской границах с Маньчжурией и Внутренней Монголией — на протяжении более чем в четыре тысячи километров.

На огромной территории Северо-Восточного Китая, которую японские захватчики именовали Маньчжоу-Го, стояла Квантунская армия — любимое детище японской военщины. Самураи чувствовали себя здесь очень уверенно. С запада природа поставила непреодолимую преграду — гигантский горный барьер. Большой Хинган, а перед ним простиралась безводная монгольская пустыня. С севера — широкие воды Амура, горы Малого Хингана. С востока — воды Уссури и самого большого на Востоке озера Ханка, хребты Тайпинлина, вековая тайга, болота. Уже несколько месяцев, как японцы

уничтожали здесь дороги, переправы, минировали мосты, все живое выгнали подальше от границы.

Не полагаясь только на силы природы, японцы построили мощные современные укрепленные районы, каких еще не знали в Азии. По их убеждению, только безумцы решились бы их штурмовать. Пусть только сунутся сюда.

Начальник политотдела сообщил о заявлении Советского правительства. Советское правительство, верное своему союзническому долгу, присоединилось к Потсдамской декларации, и этот акт Советского Союза является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции. С завтрашнего дня, то есть с 9 августа, — говорилось в заявлении, — Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.

Затем начальник политотдела зачитал обращение Военного совета. Закончив, он обычным тоном сказал:

— У нас большой счет к японским милитаристам. Он начат еще нашими отцами и дедами, защищавшими Порт-Артур, советскую власть на Дальнем Востоке. Я уверен, что все вы, все воины нашей Краснознаменной армии выполнят приказ Родины с честью. Прошу всех разойтись по местам и действовать согласно приказу. Майору Марштейну остаться.

Начальник политотдела закурил и, посмотрев на майора, сказал:

— Когда окажемся на маньчжурской территории, я должен иметь информацию каждый день. Ясно?.. Обращение командования к населению получили?

— Да. Уже разослали в авиацию армейского подчинения, в передовые отряды, инструкторам соединений. Сейчас печатаем дополнительный тираж.

— Добро. В общем, вы будете моим министром иностранных дел и советником, — пошутил генерал. — Если нужна какая-либо помощь, обращайтесь ко мне. Вы столько лет аккумулировали энергию, должны теперь каждый работать за двоих—троих. Да предупредите своих подчиненных, чтобы не лезли, очертя голову, куда на следует. Без излишнего геройства чтобы.

— Понятно, товарищ генерал.

— Ну, тогда действуйте. Желаю успеха!

— Спасибо, товарищ генерал!..

Майор Марштейн повернулся четко, как настоящий строевик...

3

К вечеру дождь не утих, ночью он превратился в ливень. В темном августовском небе плыли тяжело налитые грозовые облака. Они пришли со стороны Тихого океана, нависли над сопками Маньчжурии, долиной Уссури, озерными просторами близкого Ханка. Вспыхивали ослепительно-яркие молнии, гремели раскаты грома. Николаю Королеву вдруг подумалось, что это боги, которым молятся самураи, прислали тучи, гром, ливень, чтобы остановить полки, дивизии, которые двигались сейчас к границе в исходные районы для наступления.

Напрасные надежды. Это не морская армада хана Хубилая, которую разметал по морю «Божественный ветер» — «Камикадзе», тайфун, спасший когда-то феодальную Японию от вторжения.

Наша армия несла на своих знаменах идеи освобождения поработенных народов, как пронесла уже она их по странам Европы, освободив их от гитлеровской тирании. И не было силы, которая могла бы остановить наступательный порыв этой армии-освободительницы.

Николаю удивительно повезло, он тоже участник этого похода, он в числе тех, кто впишет в историю Отечества еще одну славную страницу. Он постарается быть достойным этого, если надо, и жизнь отдаст... Потом он сам смутился, что ему пришли такие мысли. Но ведь это он говорил сам с собой. Когда-нибудь он с гордостью ответит на вопрос сына: «Папа, а ты воевал?»

Он долго ворочался на нарах землянки, уже упрекая себя за «высокий штиль» своих мыслей. Не выдержав, он поднялся, тихо, стараясь не разбудить других, оделся, взглянул на часы: было около полуночи. Накинув плащ-палатку, он вышел в темноту и дождь. На маньчжурской стороне все еще распарывали черное небо зигзаги молний, доносились раскаты грома. Скользя, стараясь не упасть, Николай прошел к дороге и еще издали, не видя ее, почувствовал массу идущих по ней людей.

Дорога и на самом деле была забита. Почти вплитык стояли танки, самоходки, грузовики с солдатами. Прикрытые плащ-палатками, плотно прижавшиеся друг к другу, солдаты в темноте казались чем-то монолитно-целым. До Николая доносился шум голосов, иногда прерываемый словами команд, которые перекатывались вдоль колонны, словно много раз повторяющееся эхо.

Вдруг откуда-то впереди раздался командный крик, приближаясь от машины к машине. Наконец Королев разобрал: «Пошли!»

«Пошли! Пошли!»—этот клич понесся дальше куда-то в темноту, вглубь. И младший лейтенант вдруг представил, как это «Пошли» несется от границы в глубь Приморья, Приамурья, Забайкалья, Монголии и дальше — до самой Москвы.

Взревели моторы, засветились подфарники и фары, закрашенные синим, стали видны большие белые круги на задних стенках грузовиков. Голоса звучали громче, возбужденнее, кто-то торопливо карабкался в кузова. И колонна тронулась, сначала медленно, потом, набирая ход.

Николай долго стоял, чувствуя, как дождь начинает забираться под плащ-палатку, как набухали сапоги. А машины все шли и шли. Танки сменяли машины с солдатами, тех — самоходки и пушки, следующие за мощными тракторами. И еще, и еще...

Поняв, что он так может простоять всю ночь, Николай Королев вернулся в землянку, разделся и, на этот раз, заснул быстро, словно провалился в сон без сновидений.

Утром экипаж МГУ увидел, как с сопки скатывались внезапно появившиеся ручьи, сливаясь у подножий, они мчались, как горные потоки. С дороги по-прежнему доносился гул моторов. Дождь прекратился, но тучи, прерываемые светлыми, ярко-голубыми прогалинами, по-прежнему мчались откуда-то из глубины необозримого Тихого океана.

— Да... Погодка! На радость самураям, — зло проговорил Морозов.

— Не скажи, старшой, — согласился Подсосенко. — И ведь какая штука, скажи на милость. Когда на Хасане бои были, такие дождищи разразились — не пройти не проехать. С самолетов жратву нам сбрасывали. Не иначе, как самураи колдовать умеют. Помоги, Якуб, цепи надеть. С цепями мы, право слово, не похуже вездехода справимся. Опять же лопаты и топор я припас, леса кругом много, из любой канавы выберемся.

«Нервничает. Ишь какой разговорчивый стал», — подумал Морозов.

— Давай, Николай, смотайся к оперативникам, узнай, как там наши?

— «Как там наши?» — это было первой мыслью всех, как только они проснулись. Они знали, что в полосе наступления их армии нет укрепрайонов японцев. Армия действовала в стыке между японскими крепостями. Но сама природа воздвигала здесь, казалось, непреодолимые препятствия: поросшие непроходимой тайгой горы, болота, а тут еще проклятые ливни, когда каждый ручей, каждая речушка могли стать непреодолимыми. А по этим местам должны пройти не только танки или самоходки, но и такие машины, как их МГУ.

Высоко-высоко в небе нарастал идущий с востока мощный гул авиационных моторов. Морозов, Гаврилович и Подсосенко, задрав головы, старались увидеть в просветах между тучами самолеты.

— Вот они! — первым заметил Гаврилович. — Смотри, сколько. Как под Кенигсбергом, помнишь, старшой?!

Эскадрилья за эскадрилей, строго придерживаясь боевого построения, на запад шли бомбардировщики. Выше их серебристыми точками обозначались истребители прикрытия.

— Сила! — уважительно и чуть восторженно произнес Подсосенко. — Дадут самураям по башкам.

— Ладно, — не выдержал Морозов. — Вы тут заканчивайте и завтракать. Я — к начальству. Нашего диктора не дожدهшься! По-едите — и к машине.

— Добре, — сказал Гаврилович. — Только у младшего лейтенанта чин маловат, чтобы ему сразу докладывали. Он мужик моторный.

— А я на полчаса загляну к автобатовцам, — уже из-под кузова раздался голос Подсосенко. — Может, кой-чего достану.

— Дак ты вже столько натаскав, што новую машину можно запросто собрать, — рассмеялся Гаврилович.

— А если што, — возразил с досадой Подсосенко, — у кого я мелочь просить буду? У медведей? Так они уже со страху поразбегались. По такой погоде — едешь на сутки, а запасайся на неделю. Тут асфальта нету.

— Чево нет, тово нет, — согласился Якуб.

— Все! Прения без меня заканчивайте! — сказал Морозов, скатав плащ-палатку.

Майор Марштейн внешне спокоен, хотя это давалось ему с трудом. Он полагал, что чуть ли не с первых часов к нему начнет поступать информация от инструкторов соединений, его подчиненных, которых он послал в части. Особенно он полагался на капитана Зотова, его направили в передовой отряд. Капитану-фронтовику легче оценить обстановку, чем кому-либо другому из его подчиненных.

Но пока ни от кого ни слова. У майора было ощущение, что он что-то упустил, что-то делает не так. Он уже знал от оператив-

ников и разведчиков, что передовые части продвигаются медленно. И не потому, что встретили жесткое сопротивление японцев, а чуть ли не каждый метр пути им приходится прорубать в чашобах, настилать, форсировать разлившиеся речки, чтобы проложить пути, по которым смогут пройти основные силы армии. Знал он также, что деревни, поселки, которых вот-вот достигнут авангардные части, пусты, японцы еще несколько месяцев тому назад изгнали и из них все живое. В этот день, следовательно, нельзя было рассчитывать на контакт с жителями Маньчжурии даже разведчикам.

Но это нисколько не утешало майора. Поэтому он не особенно любезно встретил заглянувшего к нему командира МГУ.

— Что у вас? — хмуро спросил он.

— Все в порядке, жду команду.

— Я сам жду команду, — недовольно произнес майор. — А вам такая команда: никуда от машины, хорошо отдохнуть. Если ничего не изменится, вечером наступите на дежурство.

— Слушаюсь! — не сдержал улыбки Морозов.

— Не понимаю, что веселого я сказал? — нахмурился еще более майор. Он особенно щепетильно относился к фронтовикам. И уже был недоволен собой, что ни с того ни с сего напустился на командира МГУ.

— Простите, товарищ майор, — извинительно произнес Морозов. — Один случай невольно припомнился.

— Ну-ну, поделитесь. Присаживайтесь.

— Да так, ерунда. Был я, товарищ майор, командиром взвода связи. И служил у нас в части начхимом капитан Климов. Выдержанный, интеллигентный офицер. А как-то я его встретил и ушам не верю: идет Климов и сквозь зубы матерится, да так еще забористо. Мы с ним в хороших отношениях были. Я спросил: кто его так довел? А он говорит: — «Понимаешь, заладили меня дежурным по полку, через каждые сутки. На бумаги не успеешь ответить, как снова дежурить. Надоело это мне до тоски зеленой. И решил я обратиться к командиру полка. Подловил момент, когда он из штаба вышел и следом. Догоняю сзади и кричу: «Товарищ подполковник, я уже неделю через сутки дежурным по части. По службе не управляюсь...», И, знаешь, что он ответил? Даже не обернулся, рукой махнул и буркнул: «Скажи начальнику штаба, чтобы начхима назначил!»

Майор Марштейн засмеялся:

— Какая-то аналогия есть. Но ведь у вас, старший лейтенант, по службе все в порядке. А подежурите в счет будущего. Потом ведь не удастся вас поставить на дежурство. Согласны?

— Так точно. Согласен, — поднялся Морозов. — Разрешите идти?

«Сам напросился», — досадовал Морозов, выйдя из землянки.

Погода разгулялась, и чистого неба было куда больше, чем туч. Морозов даже сощурился от яркого света, от солнечных зайчиков, которыми искрились каждая лужица, каждая капля воды. И по этим солнечным зайчикам, так что брызги летели из-под сапог, к нему бежал Николай Королев.

— Что случилось? — встревожился Морозов.

Круглое, веснушчатое лицо младшего лейтенанта расплывалось в улыбке, глаза из-под рыжеватых бровей хитровато щурились, хотя он пытался быть серьезным.

— Чего сияешь, как надраенный котелок? — спросил Морозов. — Можно подумать, очередное звание получил.

— Ну, звание еще надо заслужить, — перевел дух младший лейтенант. — А вот встреча у меня была...

— Что еще за встреча? Я куда тебя просил сходить?

Николай Королев продолжал безмятежно улыбаться.

— В разведотделе и оперативном мне сказали только одно: «Прорубаются». А встреча... Встретил я одну очень даже симпатичную медичку, которая интересовалась одним старшим лейтенантом брUNETистого вида. Вот так.

— Вероника? — обрадовался и смутился Морозов. — Как она здесь оказалась?

— Видно, судьба, — расплылся в улыбке Королев. — Их хозяйство теперь вон в том леску, — показал он рукой. — Пятнадцать минут хорошего шага. Я бы на месте кой-кого сходил. Когда еще удастся?

— Ты так полагаешь?

— И думать нечего! — убежденно ответил Королев.

Морозов минуту поколебался, не зная, как поступить.

— Сходи! — подтолкнул его в плечо Королев. — Когда такой случай еще выпадет? В оперативном мне сказали, что сегодня второй эшелон никуда. Здесь пока припухать будем.

— Пойду! Я быстро! — решил Морозов. — Если что срочное, пошлешь за мной Якуба. Спасибо! — протянул он руку Королеву, потом провел ею по подбородку. — Побриться бы не мешало, сапоги почистить. И подворотничок уже не того...

— И так хорош, — не согласился младший лейтенант. — Иди!

Морозов поправил пилотку и напрямую зашагал к лесу.

Новенькие просторные палатки передвижного госпиталя были пустыми, еще ни один раненый сюда не прибыл, впереди с войсками были медсанбаты.

Между палатками деловито расхаживали медички и врачи, еще не надевшие белых халатов. Пожилые солдаты неторопливо наводили чистоту вокруг. Вероники нигде не было видно.

Морозов остановил невысокую, кругленькую курносую медичку.

— Я вас очень прошу, позовите Веронику Сергеевну!

Та с откровенным любопытством осмотрела Морозова.

— Сейчас. Обождите здесь. Она тут где-то.

Морозов отошел в сторону и стоял, чувствуя себя весьма неудобно. Проходившие мимо медички одаривали его лукавыми взглядами. Определенно курносая раззвонила, что к горячке старшей сестре из хирургического пришел поклонник.

Вскоре из-за палатки показалась Вероника. Она заторопилась, увидев Морозова.

— Здравствуй, Алеша! — взяла его под руку и повела подальше от палаток. — Спасибо, что пришел. И за записку спасибо. А то ведь думала, не забыл ли меня.

— Вот видишь, не забыл. Пришел, правда, на несколько минут.

— Я ведь тоже сейчас занята очень. Но все равно рада, — сказала она. — И мне от мамы письмо пришло. У твоих такая радость, такая радость...

— Как ты оказалась здесь? Хотя, что это я...

— Я сама напросилась.

— Миронова! — послышался от палатки громкий женский голос.

Вероника опустила руки.

— Ну вот, меня уже зовут, — произнесла она, взяла его руку, крепко сжала ее и шепотом, словно кто-нибудь мог их подслушать,

быстро проговорила, глядя ему в глаза: — Я... я хотела быть поближе к тебе. Только ничего мне не говори, Алеша.

— Ника!..

— Пожалуйста, ничего не говори. Я боюсь... Поцелуй меня, Алеша.

Морозов осторожно привлек ее голову и мягко поцеловал в полные губы. Она, упершись ладонками в его грудь, отстранилась и так же шепотом проговорила:

— Береги себя. Очень прошу — береги!..

Морозов не успел опомниться, как Вероника скрылась за кустом.

«Да... Ника...» — проговорил он сам себе и медленно, обходя стороной госпитальные палатки, пошел к своей «громкоговорящей», готовиться к очередному дежурству.

Короткая встреча с Вероникой снова нарушила его внутренний покой. Перед ним снова предстала светленькая Зайка и ее искренние, с самого доньшка сердца, слова: «Без тебя я не смогу жить...»

Он не мог до конца разобраться в своих чувствах. Ника, новая, не школьная Ника, нравилась ему. Его влекло к ней все больше и больше — в этом он мог признаться себе. Он невольно связывал ее имя с таким радостным для него событием, как найденные с ее помощью мать и сестра. Уже одно это связало его с нею. Да разве только это? Но какие они разные. Зайка — такая незащищенная, что хотелось заслонить ее от всего. А Ника в этом не нуждается, она может идти с ним рядом. И все-таки как это хорошо, когда на войне есть кому сказать тебе от всего сердца: «Береги себя!»

Тучи рассеялись, ушли куда-то на запад, день стал ярко-светлым и душным. Со стороны границы показались бомбардировщики в таком же четком строю. «Возвращаются» — подумал Морозов. Истребителей прикрытия не было. Не успели бомбардировщики скрыться, как с воющим звуком пронеслись к границе эскадрильи штурмовиков. Их гитлеровцы называли «черной смертью».

«Тонка кишка у самураев, — подумал он, — летная погода, а ни одного японца не видно в небе».

С севера и юга доносился неясный гул. Там шел штурм укрепрайонов. «Вот где достается», — Морозов представил себе мысленно бой там. Он видел, как наши войска штурмовали Кенигсберг. И никогда не забудет этого.

Окончание следует.

Юрий КАШУК



ДЕКАБРЬ

Пронзительная стужа декабря.
Лежат похолодевшие моря,
и берега, по правде говоря,
бесснежны и совсем заледенели.
Все больше остается позади,
и все вокруг, куда ни погляди,
прошедшим отзывается в груди —
и декабря последние недели.
Снежинки у земли на голом теле
не тают, и в кружении метели
слетают в море, и поверхность вод
преображают в первый хрупкий лед...
Еще один навек прошедший год
был прожит начерно. А под сухим снежком
неповторимым стал беловиком.

Я не грущу. Я говорю: держись!
Идет твоя единственная жизнь.
И, как тебе в горячке ни кажись —
она тобою кроена и шита.
А то, что в ней и горе, и талан.
что декабри и май пополам,
что все нам воздается по делам —
так это нам от нас самих защита.

Пришла пора писать чистовики,
не допускать дрожания руки.
Я это говорю не про стихи,
что мне стихи — была бы честь и правда.
Была б судьба — не выдумка враля,
а эти вот бесснежные поля,
и эта вот холодная земля,
которая живет не для парада.

Я не грущу под стужу декабря.
Лежит мой путь в холодные моря.
А прошлое мое прошло не зря,
и мне известно, что со мною станет.
Я знаю, что нигде и никогда
ни мига не проходит без следа.
Опять светла судьбы моей звезда
прерывистый маяк моих скитаний.
Под белым пухом вся земля светает,
а с неба все слетает и слетает
дальнейший снег. Я говорю: скорей
укрой поля и землю обогрей
К не оставь меня, моя прямая,
суровая звезда моих морей.

ОПЫТ

Нескладная судьба,
незажитая рана —
на медленном огне
необратимых лет —

все, поздно или рано,
преобразится в свет.

Напрасная любовь,
поруганная дружба
и белого листа
нетронутая мгла —
должно быть, это нужно,
чтоб музыка была.

Светил своим огнем —
заплачено годами.
Сказал свои слова —
Заплачено судьбой.
За близость и за дали
заплачено собой.

ОТХОД, ПРОЩАНИЕ

Я не покину тебя,
я не покину тебя никогда,
я не покину.
Пусть я в морях проведу остальные года,
а на песчаных твоих побережьях
не остается следа —
я не покину тебя никогда,
вряд ли я знал это прежде.

Вере, любви, надежде
я поручаю и дело, и душу свою.
Все, что спою,
все, что скажу и открою миру и городу —
этому городу, что оставлю, любя.
Я не покину тебя.

Знаете, Родина —
это не просто планета.
Родина — это угол Светланки
и Двадцать Пятого Октября.
Родина — это моря,
где по году бываешь —
и понимаешь, что у тебя
есть Родина.

Она у меня большая,
больше всех земных стран.
В ней — Шикотан, Таганрог и Гуран,
и между ними пространства,
как световые года —
жизни не хватит пройти половину.

Но я не покину,
я не покину тебя никогда.
Прощай.
Я тебя не покину.

ПЕРВАЯ МОРСКАЯ

(Из поэмы)

Запомнилось, что этим жарким летом
мир состоял из моря и огня,
а город был пронизан ровным светом,
спокойным светом будничного дня.

Шли дни мои то празднично, то глухо,
в размере неба, города, земли.
Тайга и море слушали вполслуха,
что мы с друзьями в рифму им плели.
Мне этим летом было тридцать три.

Я понимал, что время подоспело
писать о свете, отвергая тень,
и каждый день такое делать дело,
как будто это твой последний день.

Укачивала скорость городская
куда сильнее, чем на корабле.
И, никакой тоски не подпуская,
меня ютила Первая Морская —
одна из лучших улиц на земле.

В тот день, как начинается баллада,
я кончил книгу (мир, благослови!) —
и написал стихи иного лада:
о возрасте, о небе, о любви.

«Четыре вереницы белых птиц
наискосок пересекли пространство.
И снова чистота и постоянство,
родных небес голубоватый лист.
Наискосок над морем и тайгой,
как водяные знаки на странице,
остался след. И я машу рукой
прощально вам, четыре вереницы.
Ни одного не потерявши дня,
свой путь земной пройдя до середины,
пора понять, что ранние седины —
всего дымок от тайного огня.
Иду по верной нити дел и лиц.
А в сердце — что на самом дне хранится?
Четыре вереницы белых птиц».

Я дописал — и вышел торопливо.
С Тигровой сопки на две стороны
И Рога и Амурского залива
мне были оба зеркала видны.

Чекан по облакам, резьба по скалам,
в оправе тонких корабельных мачт —
мой милый мир! — тебя душа искала
в мгновенья бед, скитаний и удач.

Тобой дыша, светло и неумело
один напев вела из года в год:
а здесь родился, жил и делал дело,
и в это море пепел мой уйдет.

И слышал я себя, как горстку этой
тысячелетней молодой земли,
омытой морем и пронзенной светом,
и видел я:

над родиной, вдали,
трубили пантачи последний бой
за важенюк, от солнца конопатых,
горбуша шла пожертвовать собой,
кедрач с вершин засеивал распадок.

Шла в трубку рожь. Тянулся вверх пырей.
Плясал дельфин вперегонки с мотором.
Из тропиков за тридевять морей
плыл, отдуваясь, котик к Командорам.

Три ягодки, три тайны, три ключа,
три капли крови на высокой шейке
качал женьшень. И, песню бормоча,
над ним раскачивались удэгейки.

День продолжался, плава мел и яд,
и нестерпимый свет пронзал творенье.

Но я б навек ослеп, когда бы взгляд
посмел отвесить от жизни на мгновенье!

* * *

Молчала и дневник писала.
А как-то, ближе к февралю,

Пришла однажды и сказала:
— А, знаешь, я тебя люблю.

Мне стало грустно и прекрасно.
Я прочитал ее дневник.
Чистописательно и ясно
там был описан каждый миг.

Неосторожно, слишком быстро —
листах на двадцати пяти —
строка вела от любопытства
до страсти, яростной почти.

Все было, как бывало прежде,
все тот же замок на песке:
от безразличия к надежде,
к томленью, жажде и тоске.

И сердце укрывавший иней
растаял в медленном огне.
Уже ее простое имя
звучало музыкой во мне.
И я назвал ее любовью...

Все кончилось такою болью
и мукою на много лет
такого страшного накала,
что две судьбы перепало,
и нас, тогдашних, вовсе нет.

* * *

Просто пелось в двадцать лет —
как дышалось. И при этом
выше чести быть поэтом
ничего, казалось, нет.

выше правды — чем слова,
сочлененные иначе,
счастья — больше, чем удача.
Долга — выше, чем права.

Не один я был таков,
круговая это чаша —
затяжная юность наша
до четвертых петухов.

Ну, да это пустяки,
удивительней другое:
что вот этою рукою
и написаны стихи,

где меж пламенных потуг,
между сложностью и ложью,
как слепой по бездорожью,
пробивался чистый звук.

Пробивался, брал свое,
музыкой не успокоясь:
были все же честь и совесть,
было все-таки чутье.

Тем стихам цена пятак.
Юности сошла короста...
Только в двадцать пелось просто,
а теперь уже не так.

Все проще слов одежда,
и все понятней суть.
Двужильная надежда
мне пролагала путь

не к звездам и не к славе,
а к самому себе.
И, как в застывшей лаве,
оставлены в судьбе

пропахших лет пустоты
и пепел зряшных слов.
Упрятан след работы
под каменный покров.

Над погребенным прошлым
не памятник, не склеп.
Простое поле с рожью.
Стихи. Работа. Хлеб.



* * *

Речка Зея.
Ветра, ветра.
Кверху днищами катера.
На дорогах стоит мороз,
И деревья до самых звезд...

Валерий ТРЯПША

Зея, Зея, твой норов крут.
Но и я ведь
Не гостем тут.

КАМЕНЬ

Тихий камень у Зеягэсстрой.
Камень верил в свой каменный век.
Но забрал его в ковш над рекою
И обрушил в проран человек.

* * *

Январь ты мой серебряный,
Простор — до поздних звезд!
Храп рысака над реками
Слетает под откос.

А потом, чтоб на память, в поселок
Крупно надпись на камне, на том:
«Покорим тебя, Зея!»
Веселый
Кто-то вывел ту надпись огнем.

Погосты, бани, скважины,
Славянские луга.
И женщины раскрашены
В сибирские меха!

С алой краскою камень замечен, —
Многотонной холодной плитой.
Не обтесан, без всяких отметин,
Просто камень. Но камень — живой!

Загадочные земли,
Смолистый дым костра.
Там, как шаманка, Зея
Танцует до утра!

Камень, может, взгрустнет о недавнем.
Об ушедшей поре, когда мог,
Пусть не самым красивым и главным,
Возвышаться над песней дорог.

Еще не закольцована
В бетонные тиски.
Но с глыбами свинцовыми —
БелАЗы вдоль реки.

И глядеть на шальные машины,
В клубах дыма и щебня лежать.
Зейский камень. Как крики — морщины.
От меня до истории — шаг,

Где было перекрытие,
Забьется первый свет...
Я в ватнике строителя
Встречаю свой рассвет.

До высокой и горькой на редкость.
Тихий камень в туман погружен.
Он помог усмирить эту реку,
Эту реку, которой рожден.

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

РОМАН¹

10

После снеговерти и мягких дней начались крепкие морозы: глупые снеги прикатал ветер-низовик, снежный наст спрессовался, затвердел, и присковые мальчишки нарезали из него крупные блоки и строили снежные крепости.

— Какого черта! — Галич был откровенно зол. Он нетерпеливо поглядывал то на часы, то на стоящие бульдозеры, работающие на малых оборотах; из выхлопных труб синими кольцами вылетали дымки. К бульдозерам были прицеплены дощатые вагончики, под них подвели полозья из бревен. В домики загрузили кровати, матрацы, постельное белье. С домиками на участок должен был выехать Супарев, так договаривался вчера с ним Галич. Но Супарев запаздывал, Галич и рабочие нервничали.

Сам Галич намеревался выехать на участок на вездеходе в середине дня, подвезет за одно туда Татьяну с продуктами, кухонную утварь. Пока им достаточно одного повара.

— Никита Борисович, пора трогать, — говорили рабочие. — А то и к ночи не дотащимся.

— Еще минутку. — Галичу не хотелось говорить, что ждут они Супарева: зачем лишние разговоры. И так, кажется, люди не очень-то довольны, что их прежний начальник назначен на новый участок заместителем.

— Пора, Никита Борисович, — сказал подошедший Артем Мордюков. Наверное, он догадался, кого поджидал Галич. — Мы на месте сами разберемся, что к чему. Расчистим площадку, поставим домики, дров на первый случай заготовим. Большого ума для этого не требуется. — Он явно намекал, что они обойдутся и без Супарева.

— Хорошо, поезжайте, — согласился Галич. — Я подскочу после обеда. — Было досадно, что с первых же шагов их совместной работы Супарев начал выкидывать коленца. Куда это он запропастился?

Бульдозеры, точно застоявшиеся лошади, громко отфыркиваясь, потащили домики со двора ремонтных мастерских. Галич проводил их глазами — вот и началось «великое переселение народов».

За первый отрезок пути можно было не беспокоиться: он пролегал по старой и хорошо известной дороге на третью установку. А вот как бульдозеры потащат домики по целику? Там когда-то вели вырубку, осталась масса пней и завалов polegших деревьев. На вездеходе, правда, примерно дорогу наметили, но очень уж вертлявой получилась она.

Галич, шагая к конторе, решил завернуть к Супареву. Если тот

¹ Окончание. См. «Дальний Восток», 1975, № 10.

окажется дома, то он не поспешит на пару крепких слов. Но застал Галич одну Галину. Она собиралась на работу в магазин, сидела перед зеркалом и пудрилась. Она так ожесточенно ударяла себя пальцами по лицу, что вокруг, со щек и лба, повисло маленькое облачко белой пыли.

— Испоганят человека, а потом выкомариваются, — не оборачиваясь к Галичу, сказала Галина. — Это я о вас, мужиках, говорю. Вам не рожать... Ну, на кого я сейчас похожа: уродина уродиной!

— Временное явление, — смущенно покашливая, заметил Галич. В прошлый раз, когда он приходил сюда, он не заметил, как тесно стало у Супаревых от новых вещей. — После родов женщина, наоборот, расцветает: материнство красит, — произнес он, чтобы сбить взятый хозяйкой тон. — Где Аркадий?

— Что вы меня спрашиваете? Это вас надо спросить. Собрал рюкзак, встал на лыжи и умотал. Сейчас поди до конца сезона не заявится.

— Ну, не часто, но наезжать будет. Дела, Галина, дела!

— Дела-а! — недобро протянула Галина. Резко обернулась. — Бабы там будут? — неожиданно спросила она.

— А при чем здесь они? Будут, конечно — повар и продавец.

— Можешь передать моему: пусть только вздумает волочиться...

— Да он у тебя не бабник.

— Знаю я вас, мужчин. Чуть от дому отъехал, уже на ножки заглядываетесь.

— Прекрати, — сказал Галич. — Стыдно, Галина. На лыжах, говоришь, ушел?

— На лыжах...

— Ну, добро. А ты не растравляй себя без дела: тебе волноваться вредно.

Нечто подобное пришлось сегодня выслушать и Супареву, когда он собирал рюкзак. Уложил сменное белье, сунул недочитанную книгу. Галина, молча наблюдавшая за его сборами, ни с того ни с сего вдруг вышла из себя. Супарев кинул рюкзак за плечи, в сенях схватил палки с лыжами и во двор. Что она не понимает, что он не на гулянку собирается. И собраться толком не дала!

Через прииск идти на лыжах Супарев посчитал неловким и потому от калитки сразу пошел к старым отвалам; за ними можно было выйти на дорогу, что вела на третью установку. Лыжи легко заскользили по утопанной дорожке, но тут, как нарочно, попалась навстречу жена Сошникова — Мария. Супарев прямо-таки смертным страхом боялся этой женщины. Он что есть силы оттолкнулся палками и ходко проскочил мимо нее.

— Бешеный, — сказала ему вслед Мария. — Начальник, а детскими забавами занимается. Дела настоящего не найдет.

Все эти происшествия совершенно выбили Супарева из колеи, ведь думал же он предупредить Галича, что пойдет на лыжах прямо на участок. «Ладно, переживет», — решил он и теперь, уже не оглядываясь, заскользил по твердому насту.

Зимние леса немели от сильных морозов, разлапистые ели кутались в снежные шубы и немножко важничали перед стыдливо застывшими в своей наготе березами и осинами.

Сзади на лыжне за Супаревым трусил Тарзан; он, как и хозяин, растерял давненько спортивную форму — привык отсиживаться в конуре, — и теперь вывалил язык, разобиженный на хозяина: куда это понесло его непутевого?

Супарев свернул в густой ерник и тотчас наткнулся на заячий след. Он некоторое время шел по нему, прикидывая, где бы поставить петлю, но вскоре был вынужден покинуть кустарник: наст здесь был слабый и лыжи проваливались глубоко в снег. Странное дело, но сегодняшнее беспричинное ворчание жены не обидело Аркадия: понял, что оставаться одной ей в таком положении нелегко. И вообще, чем дальше он отходил от поселка, тем ощутимее было в нем чувство свободы: лыжи сейчас уносили его в новую жизнь, где начисто забудутся все неприятности, пережитые им на третьей установке. Так уж устроен человек: переходя на новое место работы, переезжая куда-то, он всегда думает, что груз былых ошибок уже не будет тяготить его и напоминать о себе. Наивное и сладостное заблуждение, которое гонит иных из одного конца земли на другой, в надежде, что там уж они заживут иначе. Кое-кому это удается, но не всегда. Недаром говорят, что от самого себя не убежишь.

Сейчас многие на прииске мечтают попасть на новый участок, где недавно обнаружилось золото. Еще пока не при коммунизме живем: хорошие заработки не последнее дело. И Супарев тоже не против того, чтобы прилично заработать. А потом можно и уйти с этого прииска. Аркадий уже сомневался в сказанных им же словах: «а где упал, там и подниматься надо». Здесь о нем у людей сложилось определенное мнение, и разбить его нелегко. А разве он с этого момента гарантирован от новых ошибок? Или ему занять тактику невмешательства, играть роль этакого парня-рубахи, добрячка?..

Аркадий сделал разбежку и съехал с пригорка. Вот тебе и убежал: бежал, бежал, а прибежал на свою же третью установку. Вон и домик-раскомандировочная. И хотя Супарев не был сентиментальным, но, глядя на домик, который по самую крышу зарылся в снег, он ощутил, как у него тоскливо сжалось сердце. «Ну-ну, Аркаша, не кисни», — сказал он себе, называя себя в третьем лице.

Он подкатил к домику теперь уже чисто с практическими помыслами — как под него подвести сани и перетащить на новый участок. Домик еще крепок и мог послужить не один сезон. И навес для бульдозеров надо разобрать и тоже перевезти. Эти мысли как-то отодвинули, а потом и вовсе заглушили неприятные мысли о каком-то подсиживании его Галичем.

От третьей установки Супарев пошел уже не по целику, а по следам, оставленным гусеницами вездехода. Он шел и вслух ругался: напетляли, как зайцы. Это его шеф вчера намечал здесь дорогу с водителем Мишей. По ту и другую стороны дороги стояли пни, домик между ними непременно застрянет.

«И где у них глаза были!» Но в душе Супарев даже был рад, что так оплошал его шеф, просмотрел пни. Аркадий сунулся на лыжах туда-сюда, вернулся немного назад и в конце концов нашел-таки путь значительно проходимей. Но не станешь же ждать здесь, пока подойдут бульдозеры. Бульдозеристы сами с глазами, исправят погрешности намеченной трассы. И все-таки он снял лыжи, приволок поваленную неподалеку лиственницу и положил ее поперек следов вездехода. А затем из палок выложил стрелу, которая указывала на пробитую им лыжню. Теперь только полный дурак мог не догадаться, что сворачивать следовало на лыжню.

Только к полудню бульдозеры дотащились до того места, где ключ Маня впадал в ключ Ваня. Довольно ровная и обширная площадка одним крылом здесь шла к пологим сопкам, густо поросшим

лиственницами. Санька Чумбарев — его бульдозер шел первым — все гадал, кто это раскатывал на лыжах и даже выложил для них стрелу. И сейчас, увидев Супарева, сдержанно рассмеялся. Супарев стоял посреди заснеженной поляны так, словно с него рисовали картину «Покорение Ермаком Сибири». Рядом с ним были воткнуты лыжи и бамбуковые палки.

Первой партии рабочих предстояло заготовить строительный лес, до весны построить боксы для ремонта бульдозеров, баню и столовую. Прибыли на участок в основном те, кому весной предстояло работать здесь на мониторах.

Ехали все вместе в одном из домиков. Домик точно пританцовывал, стены его жили, и, казалось, он вот-вот развалится. Бывшие солдаты сидели кучкой, донельзя серьезные, будто ехали на воинские учения; всем им выдали валенки, ватные брюки, ватные стеганки, они подпоясали их ремнями — так и привычней и теплей: поддувать не будет. Андрей Трушин всю дорогу трепался — такой уж у него характер. «Будем жить, как на курорте». Или над Петушком подтрунивал: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от Светки и Любки недавно уйду». Валентин помалкивал: со Светой дружба клеилась, от Любы он сбежал, очень уж девка была привязчива, и мысли у нее далеко идущие — о замужестве. Ну и пусть за кого другого выходит замуж, а Валентину такое дело не приспичило: он еще должен найти себя.

Как только бульдозер стал, все высыпали из домика и увидели Супарева.

— Явление Христа народу, — сказал Андрей.

Николай, сержант, неодобрительно посмотрел на Трушина: как можно так отзываться о своем командире? Одернул ватник, поправил ремень и, как старший команды, четко зашагал к Супареву, словно намерен был доложить тому по всей форме о прибытии на место.

— Здорово вашего брата вымуштровали, — съязвил Андрей.

— Армия — хорошая школа, — вполне серьезно сказал один из бывших солдат, как, наверное, говорил им старшина.

Тут к ним подкатил Панпадуло. Валенки на бульдозеристе словно с богатыря какого, он в них утопал чуть ли не по пояс.

— Отцепляй домики, да поживей, работнички! — Панпадуло рвал и метал от усердия: мужик был несказанно рад, что попал на новый участок. Глядя на него со стороны, можно было подумать, что он самый сознательный рабочий.

Начали отцеплять домик, но Мордюков, который поодаль разговаривал с Супаревым, крикнул:

— Погоди отцеплять.

— Сколько начальства развелось, — проворчал с досадой Андрей. — Отцепляй не отцепляй. Кури, братва, в таком случае, пока начальство на военном совете.

— Надо бы, Аркадий Григорьевич, домики подальше от ключа ставить, — советовал Мордюков. — Весной, как начнет таять снег, здесь может затопить, — внимательно посмотрел на Супарева, ожидая, что тот, по своему обыкновению, начнет настаивать на своем. Но Супарев неожиданно легко согласился, даже больше того, сказал, чтобы Мордюков самолично распорядился, где лучше поставить домики. Артем посмотрел на него, как бы ожидая подвоха, потом прихлопнул рукавицами.

— Ладно.

— Надо бы и дрова сегодня начать заготовливать, — снова сказал Супарев так, словно советовался с Артемом.

— Это в первую голову.

Артем понял уже, что Супарев решил испытать новую тактику, показать, что он-де не прочь посоветоваться с рабочими. И оттого, что он раскусил Супарева, Артем неодобрительно покачал головой и сказал себе: «Чудишь, брат». И сам вдруг воспротивился круто, помордюковски:

— Нет уж, Аркадий Григорьевич, сами командуйте. Я поеду в лес за дровами. Вот так!

Супарев догадался о причине такой крутой перемены и сперва смутился, а потом тоже обозлился:

— Так какого черта стоишь! Бери бульдозер и валяй в лес. Что-бы сегодня же были дрова. — Оставив Мордюкова, Супарев заспешил к бульдозерам. — Панпадуло, гони сюда!

— Петушок, — тем временем позвал Мордюков. — Поедешь со мной?

— Куда, Артем Иннокентьевич?

— На Кудыкины горы. Полезай в кабину.

В кабине за рычагами уже сидел Санька с красным, как переспелый помидор, лицом и улыбался. Шапка с кожаным верхом у него была сдвинута на затылок, телогрейка расстегнута, точно никакие морозы ему нипочем. Следом за Валентином в кабину втиснулся и Артем, пристроил в ногах бензопилу «Дружба», сказал:

— Трогай.

И они покатили от ключей к пологим сопкам, где грудились у подножия их высокие сучкастые лиственницы. Даже издали были видны сухостойные деревья — коры на них почти не было и сучков тоже, они обломанными вершинами слепо тыкались в небо. Втроем в кабине тесно, и Артем одной ногой ступил на подкрыльник; Санька вел бульдозер осторожно, боялся угодить в какую-нибудь ямину.

Посмотреть, так лиственницы были совсем близко. А добирались до них порядком. Дрова в самый раз. Артем заодно прикинул, что здесь им можно будет заготовить и строительный лес.

— Вы сидите пока, я сам. — Мордюков прыгнул с гусеницы, сразу провалился в снег выше колен, ругнулся, взял на плечо бензопилу и попер по глубокому снегу к облюбованной им лиственнице.

Бульдозер молотил на самых малых оборотах, и хорошо было слышно, как голосисто завывала пила, как на снег полетели мелкие белые опилки; они у сухостойного дерева мертвенно-бледные, легкие, лишенные жизненных соков и той красноватой окраски, какая бывает, когда режешь ткань живого дерева. И упала лиственница без тяжелого вздоха, а так как-то легко, и смотреть на это можно было без всякого сожаления.

— Я тебя, Валька, хочешь, на бульдозере работать научу? — предложил Санька. Он еще во время ремонта высказывал эту мысль, решив, что парню нельзя быть без специальности. У Саньки в натуре была заложена педагогическая жилка: ему нравилось объяснять, терпеливо втолковывать какую-нибудь премудрость не понаторевшему еще бульдозеристу. Кто-то спросил раз Саньку, как лучше отрегулировать лебедку, так он разобрал свою уже опробованную, потратив на урок немало времени. Зато спросивший уяснил теперь ход сборки на всю жизнь.

— А зачем на бульдозериста? — простодушно спросил Валентин.

Его неожиданный вопрос так удивил Саньку, что он перестал улыбаться, заморгал короткими ресницами и, обернувшись к пареньку всем туловищем, долго глядел на него.

— Вот чудила, — наконец произнес он. — Ты же будешь нынче мониторщиком? Мониторщик в любое время должен подменить бульдозериста. И вообще...

— Что вообще?

Санька еще больше посерьезнел, видимо, хотел сказать что-то обидное, но говорить обидное он не умел и не хотел.

— Сейчас каждый должен овладевать смежными профессиями. Надо читать газеты, — нравоучительно заметил он.

— Спасибо, просветил. — На Валентина сегодня нашло, он перенял манеру Трушина подтрунивать над товарищами. Но с Санькой этот номер не мог пройти. Он всем корпусом просунулся к рычагам, набычился.

Мордюков призывно замахал рукой, и Санька, всегда выдержанный и хладнокровный, с места сразу врубил третью скорость и газу дал поболее; бульдозер, как пришпоренная лошадь, прыгнул вперед и помчался прямо на Мордюкова, стоявшего около поваленного дерева. Мордюков взмахнул ручищами, как крыльями, и отскочил в сторону. А потом он почему-то зря ругался и грозил кулаком бульдозеристу.

Валентин понял, что все это произошло из-за него; Санька таким макаром высказывает ему свое неодобрение, дескать, вот такие любители красиво порассуждать о жизни, как коснется дела, хвостом вилять начинают. Вам бы увлекательные турпоходы с рюкзачком за спиной, а вкалывать за вас пусть будут другие... Может, так, а может, и не так думал Санька, но свой бульдозер он заставил на пятачке перед поваленными деревьями плясать, можно было только удивляться тому, что такая, казалось бы, неповоротливая машина, способна выделывать подобные кренделя. Когда наконец Санька «высказался» сполна и резко остановил пышущую машину, Артем заглянул в кабину, но так ничего уж и не сказал.

— Чокерить будем? — как ни в чем не бывало спросил Санька.

— Перекурим. — Артем полез в карман за папиросами. Он был до пояса осыпан опилками, опилки набились даже в шапку. — Сохатый сюда ходит, — объявил он. — Кругом следы, и осину вон поглотил... Я нынче лицензию не брал, думал некогда будет.

— А у меня есть, — сказал Санька, загораясь охотничьим азартом. Не поверив Артему, он выпрыгнул из кабины и пошел смотреть, действительно ли есть следы. Вернулся довольный, словно уже подстрелил сохатого.

— Завалим, с мясом будем. — Он был снова благодушным и улыбочивым.

— А что батя так ногами и мается? — поинтересовался Артем. — Все хотел к вам заглянуть, да то одно, то другое.

— Да со Сластиным все они спорят. Батя весны не дожидается: золото в огороде мечтает найти.

— А ты над батей не потешайся, — заметил Артем. — По мне так пусть ищет: все какая-то цель. Ну, поболтали и хватит, чокерить давай.

Валентин помогал распутывать трос и захлестывать комли деревьев. Он старался изо всех сил, словно хотел доказать Саньке, что он далеко не белоручка и хлеб добывает собственным трудом. Он даже намеревался сказать Саньке, что научится водить бульдозер, но вовремя сообразил, что скажи он так сейчас, Санька наверняка подумает, что он просто несерьезный парень, у которого семь пятниц на неделе.

— Не знал, что бульдозер способен гопака откалывать, — сказал Артем.

— Мы на танках в армии не такое выделявали, — прихвастнул Санька.

Когда прикатили на ключи, домики уже были расставлены, но не совсем так, как хотелось бы Артему. Он только крикнул и велел Валентину позвать еще двух парней и принести топоры. А сам принялся бензопилой резать хлысты. Потом чурки надо поколоть и поленья сложить, чтобы после снега не пришлось их откапывать. Санька по-прежнему избегал взгляда Валентина. Валентин хотел было сказать что-то, но Санька занялся тросом, и ему было не до разговоров.

Два бульдозера, понуро опустив ножи, расчищали площадку под дома и будущую улицу. За одним из бульдозеров выхаживал зачем-то Супарев; за ним плелся его пес Тарзан, важничая, будто ему вменено в обязанность сопровождать начальство.

Валентин не торопился: пока Артем нарежет чурок, можно десять раз обернуться с топорами. Топоры и весь шанцевый инструмент находились в том домике, в котором они ехали сюда. Домик он запомнил по надписи на стене: «Машка дура». В помещении вдоль стен уже стояли двухъярусные кровати, ка них лежали свернутые матрацы, из них торчали белые хвосты простыней. В углу Андрей и Николай возились с железной печью.

— Ты где пропадал? — Андрей спросил таким тоном, словно Валентин неотлучно должен был находиться при нем.

— В лес ездили за дровами. Мордюков сказал, чтобы шли колоть дрова. Надо еще двоих. И топоры принести.

— Ладно, наколем, помоги печь поставить. Трубу держи. Эх, как на даче заживем! — Андрей был доволен переменной места. Он суетился и без умолку болтал. Николай, по своей натуре серьезный и немногословный, неодобрительно посматривал на Трушина и уже сожалел, что согласился жить в этом домике.

— Твоя кровать вон та, — показал Андрей Валентину. — И еще Панпадуло к нам присоединится.

— А эти чьи две?

— Пока свободны.

— Я скажу Мордюкову и Саньке, — заторопился Валентин.

На дворе весело взвизгивала бензопила, кто-то развел костер. Еще несколько часов назад совсем дикое место, засыпанное нетронутыми снегами, сейчас преобразилось, запахло жильем.

11

— Вы, Никита Борисович, можете на меня положиться, — сказал Лайкин, заместитель директора по хозяйственной части. Кожа на плутоватом лице его лоснилась, наверное, он смазывал ее от мороза и ветров какой-то мазью. За лицом Лайкин следил как иная женщина. Маленькие глазки его прятались под припухшими веками; вчера Лайкин перебрал на именинах у заведующей столовой-кафе. Говоря, он все перебирал ногами, так и казалось, что сейчас ударится в бег. — Пока мы вездеход загрузим, вы можете идти домой пообедать. Мы за вами заедем.

— Ровно через полтора часа жду, — сказал Галич.

— Будем, как штык. — Лайкин в ту же минуту приударил по улице чуть ли не бегом к складам. Но, отбежав на некоторое расстояние, он вернулся к Галичу, доверительно зашептал:

— Забыл сказать вам, Никита Борисович: беда с нашим артистом. Или вы сейчас уже им не интересуетесь?

— Какая беда?

— Да он того,— Лайкин выразительно прищелкнул пальцами по горлу. — За сценой в гримировочной и ночует. Клуб еще спалит. Прямо хоть участковому звони. Может, вы на него повлияете?

— Хорошо, я что-нибудь с артистом придумаю, — пообещал Галич. Известие было неприятно ему, так или иначе, а Броевский остается на его совести. Харабарин, конечно, с ним особо церемониться не станет — уволит и все. И пока Харабарин в отпуске, надо с Броевским что-то сделать. Совсем погубит себя человек.

Рассуждая так, Галич, вместо того чтобы пойти домой, заспешил к клубу.

Встретил киномеханика Василия. На вопрос, видел ли он Броевского, тот повел туда-сюда глазами, дышать старался в сторону. Потом понес какую-то околесицу насчет плохого завоза фильмов. Конопатая его физиономия выражала при всем этом чистосердечное и глубокое переживание.

— Про разведчиков бы хоть одну ленту подбросили...

— Ты не юли, разведчик, — построжал Галич. — Говори, где Броевский?

— Где же ему быть: на своем рабочем месте. А впрочем, кажется, его еще нет в клубе.

— А ну, идем, — предложил Галич.

Киномеханик сплонул в снег и, засунув руки в карманы суконной «москвички», нехотя поплелся следом за Галичем. Он действительно недоумевал, что теперь нужно Галичу от артиста?..

На дверях гримировочной и взаправду бдительным стражем красовался большой висячий замок.

— Вот видите, никого нет! Я же вам говорил.

— Открывай.

— У меня ключа нет. Пальцем открою, что ли?

— Не валяй дурака, Вася: знаю, что ключ есть.

Вася долго и безрезультатно шарил рукой то в одном, то в другом кармане, но, видимо, он все-таки побаивался Галича, и ключ пришлось извлечь из заднего кармана брюк. Потом долго он не мог попасть им в замочную скважину, пыхтел, кряхтел, все еще надеялся на какой-то случай. Вдруг Галич передумает и не станет заглядывать в гримировочную. Наконец Вася с удручающим видом снял замок, отступил назад и еще более понурился, как бы заранее винясь перед Броевским. Получалось так, что он «продал» его с потрохами.

«Вот деятели», — недовольно подумал Галич.

Броевский лежал на старом кожаном диване, укрывшись с головой полой пальто, ноги поджал, как ребенок; от него шел такой запах перегара, что могло стошнить.

— Буди его, — сказал киномеханику Галич.

Вася принялся расталкивать Броевского, сбросил с него пальто, стал тереть уши — так в одном кинофильме милиционеры приводили в чувство пьяницу. Этот метод и впрямь подействовал: Броевский неразборчиво ругнулся, оттолкнул Васю, сел и потряс головой. Лицо его опухло, и весь он зарос грязной щетиной.

Не видя Галича, Вениамин Викентьевич сипло спросил:

— Васька, опохмелиться принес?

Вася нарочито громко закашлял, давая знать, что он не один. Но, перехватив взгляд Галича, вообще счел за лучшее исчезнуть на время с горизонта: сиганул на сцену и где-то там затих.

— Сейчас вам в самый раз роль в спектакле «На дне» играть,— сказал Галич.— И гримироваться не надо.

Броевский глазами-щелками посмотрел на бывшего парторга. Галич ожидал, что артист сейчас начнет каяться, бить себя в грудь и обещать, что больше подобного не повторится, но Броевский молчал и даже не опустил покаянно головы. Пауза затягивалась.

— Будем в молчанку играть, Вениамин Викентьевич?

— А вы ждете от меня раскаяния в содеянном? Я что-нибудь украл? Меня кто-нибудь видел в поселке в таком виде? Или я не имею права прилечь здесь на диване? У меня день ненормированный. Я свободный человек и волен собой распоряжаться, как мне будет угодно! Да-с!

Вениамин Викентьевич выбрал тактику в разговоре с Галичем: наступать самому, а не ждать, когда тебе намылят холку. Галич, видно, не ожидал такого поворота в разговоре.

— Клуб не распивочная. И не вытрезвитель, чтобы здесь отлеживаться. Я достаточно ясно выразился, Вениамин Викентьевич?

— Логично, — миролюбиво согласился Броевский. — Вполне логично, уважаемый Никита Борисович. Но в иных жизненных ситуациях логика так же вредна, как отсутствие оной.

— Слушай, Броевский, брось заниматься софистикой. Пьянство твое да еще в клубе ничем нельзя оправдать.

— Что ж, вы вправе меня судить: факт, как говорится, начертан на лице моем. К сожалению, защищаться мне нечем: я безоружен и повержен ниц на землю.

— Хочешь сказать, что лежачего не бьют?

— Это уж как вы поймете, Никита Борисович.

— Что мне с тобой делать, Вениамин Викентьевич? Давай начистоту,— сказал Галич. — Ну, уволят тебя, дальше что? Поедешь на другие прииски? Но и там история повторится... И куда так можно докатиться? Неужели вам не жалко себя?

— Жалко. Но если я вообще разочарован в жизни, тогда как? — Броевский даже пальцы растопырил. — А выпьешь, все забудешь и жизнь тебе представляется в розовом цвете, и чувствуешь в себе подъем, творческое вдохновение, готов, кажется, Гамлета сыграть. Но все мираж, мираж!

Вениамин Викентьевич, обхватив голову руками, вдруг заплакал, раскачиваясь всем корпусом из стороны в сторону; старые ржавые пружины дивана нудно скрипели. Это были пьяные слезы, и Галич не очень-то верил им.

Галич дал выплакаться Броевскому, потом сказал:

— Слышь, Вениамин Викентьевич, поедем со мной. Поживешь несколько дней у меня на участке. Тайга. Тишина... Поедем, а?

— А что, поедем, — неожиданно легко согласился Вениамин Викентьевич. В таком виде ему сейчас не хотелось показываться в поселке, а отлеживаться в гримировочной до чертиков опостылело.

Броевский примостился между ящиками под тендом в кузове вездехода. На нем были полшубок Галича, ватные штаны и валенки. Он не сразу разглядел, что в кузове — не один: рядом с ним сидели две женщины, закутанные по глаза пуховыми платками. Под тендом было полутемно, и он не мог хорошенько разглядеть их лица... Броевский, несколько сконфуженный тем, что не поздоровался с дамами, неловко покашлял. «Мое почтение!» — запоздало сказал он и затих. Его мутило и чувствовал он себя прескверно. Было одно желание — опохмел-

литься. От чая, которым его добросовестно отпаивала жена Галича, на какое-то время полегчало, но снова начинало «сосать». Он чувствовал себя донельзя уставшим, донельзя старым и никому не нужным.

Броевский тихонечко, чтобы не слышали женщины, вздохнул, во-брал голову в плечи и попробовал задремать. И, кажется, это ему удалось, он не слышал, как вездеход наконец тронулся с места и покати́л, поехал в далекое далеко.

— Это же артист, — шепнула Татьяна своей попутнице, продавщице Глафире Еремеевне. Глафира прежде работала в клубном буфете и торговала напитками, пряниками и конфетами. В свое время она понесла наказание за нечистоплотность в торговле, и поэтому до порядочной торговой точки Глафиру Еремеевну не допускали. Теперь предложили ей работу в ларьке на новом участке: женщина она оди-нокая, бездетная — в самый раз.

— Я его сразу признала, — так же шепотом отвечала Глафира Еремеевна. — Мужчина видный, только газогон, — добавила она тише.

Вездеход трянуло, ящики пришли в движение, и Глафира Ере-меевна энергично выругалась и крикнула:

— Мишка, ты что, дрова везешь?! Поосторожней на поворотах, мальчик!

«Ну, и голосище, что у мужика», — подумала Татьяна.

Она ехала на участок поваром и сейчас запоздало переживала, стоило ли соглашаться. Батя-то совсем один остался. Обещали, прав-да, навещать его снохи, но Татьяна не очень-то на них надеялась. Хорошо, что ноги у бати немного отошли, сам уже в магазин ходит.

Татьяна откровенно рада тому, что Супарев назначен заместите-лем начальника участка; она немного переживала за те слова, кото-рые ему так прямо высказала тогда у калитки. Но что сказала, то сказала, не за углом же с бабами шептаться. Но ее беспокоило то, что может у Супарева пойти наперекосяк с Галичем: оба люди с ха-рактером, оба друг другу не уступят. Найдёт коса на камень, тогда держись.

— А артист-то дрыхнет, — сказала вполголоса Татьяна и отчего-то рассмеялась, хохотнула и продавщица. Броевский спал, и голова у него моталась из стороны в сторону. Глафира была рада тому, что едет на Маню-Ваню: она давно мечтала торговать на каком-нибудь удаленном участке. Правда, товарооборот будет пока так себе, но с наступлением промывочного сезона людей там будет около двухсот че-ловек.

Они и дальше разговаривали вполголоса; дорога казалась беско-нечно долгой; сытно урчал вездеход, бросая под гусеницы все новые и новые километры.

— Товарищ артист, проснитесь, приехали, — не без кокетства ска-зала Глафира Еремеевна.

Броевский, поспав, почувствовал себя несколько легче. Он вы-брался из-под тенда и полной грудью вздохнул чистый морозный воз-дух с запахами смолистой лиственницы и свежих опилок. Но тут у него кругом пошла голова, и он, наверное, покачну́лся, потому что Глафира Еремеевна испуганно спросила:

— Вам плохо, Вениамин Викентьевич?

Вениамин Викентьевич открыл глаза и только сейчас узнал Гла-фиру Еремеевну, у которой не раз занимал по трояку. Он страшно смутился и поспешно ответил:

— Нет, нет, Глашечка.

И это уменьшительно ласковое «Глашечка» повергло женщину в неопишное волнение. Глафира задышала глубоко, часто, казалось, пуговицы на белом полушубке тут же отлетят.

Вениамин Викентьевич тоже заволновался. Но тут набежал народ, поднялся галдеж. Броевского тискал Андрей Трушин, будто они не виделись целую вечность; артист расчувствовался, размяк, по-отцовски облобызал Андрея, потом Валентина. На заросшие щеки скапала слеза, и он впервые до боли в сердце пожалел, что у него такой, прямо скажем, не для торжественных встреч, видик... И, когда Глафира Еремеевна снова подошла к нему, Вениамин Викентьевич готов был провалиться сквозь землю.

— Вениамин Викентьевич, так я вас жду на чаек вечером, — пригласила продавщица. И одарила его многообещающим взглядом.

— Благодарствую! Благодарствую! — Броевский, слегка кланяясь, старался смотреть в сторону. — Постараюсь, постараюсь, Глашенька.

«Ох, уж эти артисты!» — Глафира Еремеевна таяла, как по весне снег, и цвела, как цветет в этих краях багульник — расплескиваясь по склонам сопок. Вот ведь как мало иному человеку надо — тепла, ласкового слова. А то кричат через прилавок: «Глашка, подай то...», или: «Капустиха, отвали килограммчик...» Отвалила бы она иному, да как-то смирилась, попривыкла к такому обращению. И сама отвечала тем же.

Татьяна поискала глазами Супарева, но среди встречающих его не было. Только у костра, неподалеку от которого возвышалась гора поленьев, сидел на чурбаке человек, похожий на него и рядом с ним черный лохматый пес. И Татьяна поняла, что не будет уже ни раскомандировки, где они часто оставались наедине и Супарев откровенничал с ней, ничего такого больше не будет, что было на третьей установке.

— Вениамин Викентьевич, идемте я вас устрою, — пригласил Броевского Галич, видя, что тот едва стоит на ногах. Они направились к костру, где в одиночестве сидел Супарев. Галичу хотелось отчитать своего заместителя за то, что он ушел утром на лыжах и не предупредил об этом никого. Но уже одно то, что он оказался здесь сегодня раньше всех, снимало с Супарева вину.

— Здорово, Аркадий Григорьевич! Греешься?

— Сижу. Думаю.

— О чем, если ни секрет?

— Думаю, что надо подальше от ключей домики ставить. — Супарев совет Мордюкова принял, и сейчас ему казалось, что и сам он придерживался такого же мнения. — Я прошел вверх по Мане и Ване: весной воды поддаст. И к тому же, как говорили геологи, на ключах и летом лед.

— Не так уж плохо. Будем с водой — будет и золото.

— Никита Борисович, а не пригласить ли нам председателя старательской артели, — неожиданно предложил Супарев. — Они промприборы лучше нас с вами знают. Может, дельное что посоветуют?..

«А ведь это мысль», — подумал Галич.

— А что, и пригласим, — живо отозвался он. — Это ты правильно решил — пригласить председателя артели.

Они поговорили о промприборах, о листовом железе и еще о многом другом, и вовсе забыли о Броевском. Вениамин Викентьевич присел к костру рядом с Тарзаном, протянул руки к огню, тепло от самых кончиков пальцев потекло по рукам, потом весенним половодьем разлилось по всему телу; Вениамин Викентьевич размяк. А Галич и

Супарев все говорили о делах и вещах, мало понятных Вениамину Викентьевичу. И он вдруг ощутил себя лишним, совершенно ненужным здесь человеком. И людям здесь не до него. В каком это качестве он прибыл сюда — в качестве туриста или нахлебника?

Броевский замотал головой, готов был заскулить, как тот пес, пригревшийся у костра и теперь сонно клевавший понурой мордой. И, наверное, бы взвыл, если бы наконец не вспомнили о нем.

Супарев посмотрел на Вениамина Викентьевича так, словно хотел спросить: а что здесь надо артисту? И тогда Броевский произнес:

— Я, может, назад вернусь, в поселок? Неловко здесь играть роль тунеядца...

— Зачем же тунеядца, — возразил Галич. — Вы человек творческий, поживите, посмотрите, мне кажется, это вам может пригодиться. — Он сказал это в такой же мере и для Супарева.

В домике, куда привели Броевского, уже были расставлены кровати. Здесь будут жить Галич и Супарев, остальные две кровати для приезжих: как только начнется промысловый сезон, зачистят сюда представители. В этом же домике пока будет и контора.

Печь была установлена, но не топилась, и в домике было не теплее, чем на улице.

— Я скажу, чтобы принесли дров и протопили, — сказал Галич.

— Зачем же кто-то будет протапливать помещение, — поспешно возразил Броевский. — Я с превеликим удовольствием сам все сделаю. Знаете ли, люблю растапливать печи, — добавил он и сам же ужаснулся своему вранью: никакой такой любви у него не было. Он вообще толком-то не знал, как это делается.

— Ну, что ж, устраивайтесь, отдыхайте, а мы с Аркадием Григорьевичем пойдем вершить дела.

— Там в ящике, — показал Супарев, — заварка, сахар, макароны, тушенка. А в другом — кухонная утварь.

Супарев и Галич ушли.

Вениамин Викентьевич присел на кровать, на разостланный полосатый матрац, сцепил между колен руки и некоторое время пребывал в молчаливом раздумье. Одиночество и хандра снова навалились на него; снова стала зудить одна мысль: опохмелиться бы. Он вспомнил Глафиру Еремеевну, ее приглашение вечером на чай и с надеждой подумал, что наверняка у продавщицы найдется что-то и покрепче чая, и от этого предвкушения ему даже полегчало. Он заставил себя встать и пойти за дровами.

На улице правее домика, из которого он вышел, рокотали бульдозеры. Они тащили перед собой горы снега, там расхаживали Галич и Супарев. Заунывно пела бензопила, горел костер, хотя возле него уже никого не было.

Броевский набрал охапку поленьев и едва донес их до домика. Даже пот прошиб. Он с трудом заставил себя принести еще охапку.

Разжигал печь долго, но, когда наконец поленья затрещали, пожираемые огнем, Вениамин Викентьевич несказанно обрадовался. Он не мог оторвать глаз от пляшущего огня, набиравшего силу и стреляющего вокруг озорными искрами.

И снова он сидел на кровати, и мысли крутились вокруг продавщицы. За неимением спиртного, сейчас лучшее лекарство горячий, крепко заваренный чай. Пересилив слабость, Вениамин Викентьевич нашел ведро и направился к ключу. Кто-то уже протоптал к нему тропу и прорубил лед. Вениамин Викентьевич зачерпнул воды, потом наломал кустиков, решив сделать веник и подмести в домике: все это он проделывал ради того, чтобы как-то реабилитировать себя в глазах

Галича и Супарева. А может быть, и в собственных. Замечание Галича, что ему неплохо бы приглядеться к жизни и работе людей на новом участке, пока для Броевского были красивыми словами, не больше.

Броевский вскипятил чай, сварил даже макароны и перемешал их с мясной тушенкой. На сегодняшний день долг свой он в какой-то мере выполнил. Лег поверх матраца, накрылся полушубком и тотчас заснул.

Броевский проспал беспробудным сном до самого утра. За ночь в домике порядком настало, и Вениамин Викентьевич слегка замерз. В маленькие оконца, наглухо затушеванные изморозью, едва проникал свет. В домике полутемно, но Вениамин Викентьевич разглядел, что были заняты еще две кровати, видимо, заночевал и Галич. И хотя Вениамин Викентьевич чувствовал себя еще неважно, но голова была достаточно ясной, чтобы вспомнить и проанализировать свое поведение за последнее время. Запоздалое чувство стыда захлестнуло его.

А холод забирался под полушубок и заставил в конце концов Вениамина Викентьевича действовать. Он потихоньку встал, потрепал прикорнувшего около печи пса и, стараясь как можно меньше шуметь, выбрал поленья с потеками смолы и запихал их в железную печурку. Эта печурка имела одно удивительное свойство: она моментально могла остыть и так же быстро нагреться чуть ли не до красна.

— Уже хозяйничаем? — спросил Галич.

— Простите, разбудил.

— Ничего: пора вставать.

На своей кровати потянулся и Супарев. Он бы с удовольствием поспал еще часок-другой, но, во-первых, он не один в домике, во-вторых, договорились, что заготавливать строительный лес сегодня выедут спозаранку. Лес будут валить там же, где брали его на дрова. А в общем-то Аркадий выпался, как давно не высыпался дома. Он снова чувствовал себя у дела, и ему нравилась такая жизнь: без всяких житейских удобств, как бы на колесах — в нем, верно, был заложен дух бродяг-первооткрывателей.

Натянув ватные штаны, Супарев решил пофорсить: без рубахи, голый по пояс выскочил из домика, захватил горсть снега и стал растирать им грудь, руки. Но выдержки хватило ненадолго, скорехонько возвратился в домик, сунулся к накалившейся печи и стал яростно вытираться полотенцем.

— Напрасно форсишь, — заметил Галич. — Для такого умывания закладка нужна. Схватишь еще воспаление легких. А нам с тобой сейчас болеть нельзя.

— Нельзя, значит, и болеть не будем.

Галич умылся над тазом — умывальника еще не было. Вениамин Викентьевич услужливо поливал ему из кружки.

Потом они сели за стол пить чай, и Галич поблагодарил Вениамина Викентьевича за приготовленный вчера ужин.

— Умяли с Аркадием Григорьевичем за здорово живешь.

— Дома макароны не ел, — сказал Супарев.

— То дома, а то здесь.

Вошел Мордюков, поздоровался, поправил на голове шапку.

— Мы готовы, — сказал он. — Можно двигать.

— Я с вами. — Супарев оставил недопитым чай и стал быстро одеваться.

— Я приеду через пару дней, — сказал Галич. — Женам вашим что передать?

— Они еще не успели по нас соскучиться, — хохотнул Мордюков.

Галич вспомнил, как встретила его Галина, посмотрел на Супарева и подумал, что может лучше его отправить в поселок, а самому остаться здесь. Но потом решил, что пусть поживут некоторое время в разлуке, пойдет на пользу.

Когда Супарев и Мордюков ушли, Галич не без улыбки посмотрел на Броевского, продолжавшего потеть над чаем.

— Отходишь, Вениамин Викентьевич?

— Отхожу, Никита Борисович. Я сейчас в том состоянии, когда все выпивохи, зная свои прегрешения, уверяют, что они больше спиртного в рот не возьмут.

— Отходи, отходи. Да, а деньги у тебя есть? Ясно, держи десятку. Пока хватит. Здесь не пропьешь. Словом, дыши воздухом и думай. Главное — думай.

— Никита Борисович, а как этот молодой человек? Мне кажется, он довольно критически настроен к моей персоне.

— И я настроен, так что на этот счет вам не следует заблуждаться. А вообще-то у Супарева такой характер: трудно с людьми сходится. Так что близко к сердцу угрюмость его не принимайте.

Галич не задержался в домике да и на участке тоже. Вениамин Викентьевич еще продолжал сидеть за столом, допивая остатки чая, как вездеход ушел в поселок.

— Что ж, будем дышать воздухом, валяться на кровати и думать, — вслух произнес Броевский и пристукнул пустой кружкой по столу. Затем прилег на кровать, положив руки под голову и глядя в разлинованный потолок. В животе было тяжело от такого количества выпитого чая. Даже голова отяжелела, и мысли ворочались ленивые и сытно-округлые, не задерживались и скатывались куда-то в подсознание.

«Так совсем можно облениться», — сказал сам себе Вениамин Викентьевич. Помедлил, потом все-таки встал и оделся.

Было еще довольно рано, и в воздухе стоял морозный туман. Броевский осмотрелся, вспомнил о приглашении Глафиры Еремеевны и о вчерашнем своем намерении опохмелиться, и с тоской и отвращением к самому себе ощутил, что это желание и сегодня не до конца исчезло. И, как бы пресекая всякие поползновения на этот счет — да и не пойдешь к продавщице в такую рань! — Вениамин Викентьевич направился к костру, где возвышалась гора поленьев и где парни азартно взмахивали топорами и жужжала тудяга бензопила. Бульдозеров на площадке не было ни одного, по-видимому, они все ушли в лес.

Вениамин Викентьевич поздоровался, похлопал Валентина по плечу, сказал: «Укрепляем бицепсы? А ну, дай попробую». Он сбросил рукавицы, картинно поплевал на ладони, широко расставил ноги и, высоко занеся над головой топор, что есть силы опустил его на блестящую свежим срезом, замороженную насквозь чурку. Она разлетелась на две половины, а топор достал до земли и высек искру.

Парни засмеялись. Вениамин Викентьевич смущенно произнес:

— Сила есть — ума не надо.

— Дерево мерзлое, легко колетя, — подсказал кто-то.

— Еще разок, — разухарился Вениамин Викентьевич. Второй раз получилось сносно, но мороз прихватил пальцы, и Броевский, постукаясь гордыней, поспешно сунул окоченевшие руки в столь необдуманно сброшенные рукавицы. Но в рукавицах топориче выскальзывало, и Вениамин Викентьевич, чтобы вовсе не ударить лицом в грязь, спросил:

— А почему не складываем поленья? Вот мы сейчас их в поленницу!

Парни понимающе переглянулись: «Давай, батя, действуй!», — предоставив ему таким образом возможность отличиться.

Вениамин Викентьевич носил поленья, аккуратно складывал и складывал их; постепенно он начал втягиваться в эту механическую работу и в ней нашел свою прелесть. Поленья надо было класть так, чтобы они, как кирпичи при постройке дома, плотно прилегали друг к другу, но главное удовольствие было в том, что на глазах росла поленница; теперь у Вениамина Викентьевича было одно устремление, чтобы она росла быстрее, до самого неба, как памятник его рукотворной деятельности. Он и не заметил, как вернулся первый бульдозер, приволок целую пачку хлыстов. Вылезший из кабины Супарев, подойдя к костру, удивленно взирая на Броевского, спросил у Валентина: «Его кто заставил?» — «Сам». — «Ну-ну», — и Супарев пошел к бульдозеру.

12

Позднышев продолжал жить на квартире у бабки Живадихи; она рано овдовела, детей у нее не было, и теперь она всем сердцем прикипела к своему постояльцу. Седенькая, сухонькая и еще довольно подвижная, она готовила Сергею завтраки и обеды, была не навязчива и не болтлива. Когда постояльца назначили директором прииска, бабка, не скрывая печали, прямо спросила его: дескать, уйдешь, директору вроде бы не пристало жить на квартире? Но Сергей успокоил ее, сказал, что пока не собирается уходить. Он и верно не помышлял об этом: много ли надо холостяку? А дом у Живадихи большой, пятистенный, и две комнаты полностью предоставлены Сергею.

Сегодня он проснулся с беспокойным чувством, как человек, которому приснился паршивый сон. И тотчас вспомнил о письме. Это было письмо от бывшей жены, с которой он разведен вот уже семь лет. Срок немалый, чтобы забылись прежняя боль и все, что было связано с размовкой. И вот вчера пришло неожиданно письмо. Между строк читалось, что дела у нее сейчас не блещут, что она жалеет о разводе, и, если можно было бы все вернуть, то она приехала бы к нему. А пока просила его взять хотя бы на время сына, совсем отбился от рук парень. В письмо вложена фотография сына. Сергей долго и жадно рассматривал ее, он помнил Женю таким, каким провожал его в первый класс. А здесь с фотографии смотрел серьезный парень с таким же, как у отца продолговатым лицом и упрямым подбородком. Смотрел, хмурия брови, наверное, очень хотелось ему перед объективом выглядеть взрослым, и вместе с тем вопросительно: а ну, старик, что ты ответишь на просьбу матери?

Сергей, действительно, пока не решил, что же ему делать: то ли вызвать сына, то ли написать, что у него не будет возможности как следует присмотреть за Женькой. Правда, бабка не откажется принять его. Но Сергей, хорошо зная свою жену, понимал, что, посылая к нему сына, она преследует и лично свои цели: через него вернуться к Сергею.

Он тогда играл в сборной студенческой команде. После матча подошел тренер с чернявой девчушкой и сказал, что с Сергеем хочет поговорить корреспондент краевого радио Наташа Скворцова... С этого, можно сказать, все и началось. Они стали встречаться. Наташа познакомила Сергея со своими друзьями, круг знакомств у нее был довольно обширный, среди них Сергеем особенно запомнился один

гривастый поэт; Наташа сама увлекалась стихами, и тот пророчил ей большое будущее. Так продолжалось год, перед самым выпуском из политехнического института Сергей женился на Наташе.

Но в городе они прожили недолго: Сергею дали направление в Магаданскую область. Это известие сперва не очень обескуражило Наташу. «Это же знаменитая Колыма, — с пафосом говорила она. — Я напишу о ней цикл стихов». Они добрались до Магадана, оттуда их направили в Сусуманский район, на прииск Мальдяк. А на прииске — на один из дальних участков. Стояла уже глубокая осень. Поселили их в бараке, в тесной клетушке. Наташа попервости держалась молодцом, вспоминала ни к месту жен декабристов... Так они прожили зиму, весной родился сын. Прошла еще одна зима. И тут Наташа начала хандрить, обвинять Сергея, что из-за него она погубила свой талант. Для поэтов необходимо общение с умными людьми. Сергей отправил Наташу в город к ее родителям, и она пробыла там все лето. Сергея тем временем перевели непосредственно на прииск, дали приличную квартиру. Словом, жить можно было. Но Наташа, вернувшись из города, очень изменилась. Начались ссоры по пустякам. Так они прожили еще два года. Потом Наташа уехала к родителям и оттуда прислала письмо, что не желает возвращаться на его распрекрасную Колыму.

Сергей все надеялся, что она одумается и приедет. Около двух лет прожили они порознь. Тогда Сергей поехал к ней сам, чтобы наконец выяснить их отношения. Сынишка как раз шел в первый класс. И вот тогда-то он узнал, что Наташа почти официально живет с тем гривастым поэтом, с которым некогда знакомила его.

Так разошлись их пути-дороги. Всего один раз прислала она ему письмо, и в него без всякой приписки была вложена вырезка из газеты с подборкой Наташиных стихов. Больше ни писем, ни вырезок Сергей не получал — то ли на этом ее поэтическая карьера закончилась, то ли новый муж запретил ей какую бы то ни было переписку с ним.

Новую семью Сергей не заводил и говорил иногда друзьям: «Не женюсь, пока не встречу женщину, в которой буду уверен на сто процентов, что она меня не оставит».

...Сергей еще раз внимательно перечитал письмо: что-то темнит его бывшая женушка. Любви к Наташе уже, конечно, не было, а была тоска о безвозвратно ушедших годах, и это создавало фон, который некоторые принимают за сохранившуюся любовь к той первой женщине или к первому мужчине. Показная серьезность сына на фотографии сегодня Сергею увиделась в другом плане: дети без отцов, случается, вырастают замкнутыми, ушедшими в себя. Сергей ощутил отцовскую острую жалость к своему не по годам серьезному сынишке. «А ведь вылитая копия», — не без умиления подумал он. От этого как-то стало легче, и Сергей пошел на кухню умыться.

Около печи сутилась хозяйка, пахло жареной картошкой.

— Доброе утро, — поздоровался с нею Сергей.

— Доброе утро, сынок. Что-то сегодня рано?

— Дела.

— Всех дел не переделаешь, как и всех женщин не перелюбишь.

— Но к этому надо стремиться...

Бабка Живадиха тоненько засмеялась, помешивая ножом картошку, и неожиданно сказала:

— Ну, слава богу, значит, все хорошо! Когда ты вчера пришел, ой, думаю, у моего Сереги какие-то крупные неприятности. Прямо лица на тебе не было.

«Неужели я так здорово переживал из-за этого письма?» — спросил Позднышев себя.

— Как смотришь, мамк, если ко мне сынишка придет? Четырнадцать лет мужчине.

Он никогда не говорил бабке, что у него такой большой сын, как не говорил и о бывшей жене. И сейчас ждал, что она начнет подробно его расспрашивать. Но бабка просто сказала:

— Пусть приезжает. Места хватит. Да и мне веселей будет. Я за ним, как мать родная, присмотрю.

— Спасибо.

Уходя из дома, Позднышев твердо решил, что даст телеграмму и вышлет деньги сыну. Парень большой, не заблудится. Потом он подумал о том, что надо будет еще договориться со школой. Но это потом, когда придет Женька.

Сергей взял себе за правило — прежде чем явиться в контору, обязательно зайти к ремонтникам. Сейчас там, в мастерских, можно сказать, решалась добрая половина успеха в будущем промысловом сезоне.

Поселок густо дымил печными трубами. Сергей собирался сегодня позвонить в комбинат и еще раз напомнить об обещании прислать главного инженера. Без него можно совсем зашиться, ему приходилось совмещать должности директора и главного инженера. Странная из-за этого порой складывалась ситуация: главный инженер должен был поступать так, а директор не соглашался, словно они не одно дело делали, не одними заботами жили. Это и смешило, и огорчало. Директор — лицо финансово-ответственное, главный инженер — нет. Директор должен прежде всего прикинуть, насколько внедрение того или иного механизма экономично, начинала вступать в действие чисто хозяйская скупость и осторожность, а главный инженер требовал внедрять механизм незамедлительно, пусть это не окупится сегодня, окупится завтра.

Под ноги из подворотни выкатился чей-то барбос, твякнул. Сергей от неожиданности отпрянул в сторону, замахнулся; пес, заливаясь лаем, убрался восвояси.

— А вы, посмотрю, собак боитесь, Сергей Филиппович, — сказал насмешливо кто-то рядом.

Сергей обернулся и увидел Сахарову.

— Представьте, Мотя, боюсь, — признался он. — Меня в детстве собака покусала, с тех пор у меня к собакам неосознанный страх.

— Надо перебороть себя.

— Советовать легко... Мотя, только откровенно: мне кажется, вы не очень-то довольны решением собрания?

— Знаете, Сергей Филиппович, у меня такое чувство, что решение собрания покрыть в будущем сезоне недостающую кубатуру продиктовано не столько желанием помочь мне, сколько, как бы вам это сказать, жалостью, что ли. Может, снисхождением.

— Что ж, не без этого. А вы что хотели, чтобы рабочие стучали кулаками в грудь и клялись: мы замолим грехи маркшейдера Сахаровой!

— А вы жестоки.

— А вы любите, когда вам льстят?

— В иных случаях и лесть приятна. А если я внесу деньги? — спросила Сахарова.

— Вы настолько богаты?

— Займу. Не хочу быть никому обязанной.

— Обязанной?! — Сергей приостановился. Мотя глянула на него

и пожалела, что завела разговор на эту тему. — Быть обязанной людям, это вы считаете в тягость, да? Что ж, если вы настолько горды, еще не поздно переиграть.

Мотя ожесточенно терла варежкой щеку; она понимала, что надо что-то сказать в свое оправдание, может быть, взять свои слова назад, признать, что она просто дура, ей не хотелось, чтобы у Позднышева закрепилось неприятное мнение о ней, но нужных слов она не находила и продолжала растерянно тереть то одну, то другую щеки.

— Извините, мне сюда, — сказал Сергей и свернул к ремонтным мастерским.

Мотя немо смотрела ему вслед; щеки ее горели огнем, «Какая я все-таки дура, — кляла она себя. — Набитая, дура!» Она готова была возненавидеть свой характер, после такого разговора она может навсегда потерять расположение Сергея, если оно было. А было, это она чувствовала, природа наградила слабый пол внутренним трудно объяснимым чутьем. Его еще именуют — женским чутьем. Мотя много раз вспоминала ту неудавшуюся поездку на участок, когда сломался вездеход и их застала в дороге пурга. Тогда, держась за руку Сергея, она вдруг ощутила, что может положиться на этого человека, может довериться ему. Это была как бы награда за ее долгое ожидание, за ее сомнения и разочарования. Как бы враз рухнула в сердце стена, воздвигнутая ею и теми жизненными обстоятельствами, в которых она некогда очутилась. А рухнув, невидимая эта стена пропустила сразу столько чувств и столько дневного радостного света, что Моте казалось, что она просто не выдержит этого и наделает кучу глупостей, как та же Галка, ушедшая однажды к Супареву. «Оглянись же, ну, оглянись», — просила она, глядя ему вслед. Но Сергей уходил все дальше и дальше.

В конторке Позднышев застал механика Реушкина; Сидор Артемьевич последнее время забыл о своем вертолете — не до него теперь. Почернел, похудел и ходил еще более небритый, чем раньше. Привезенных запчастей все равно не хватало. В конторке жарко горела печь, но Сидор Артемьевич сидел за столом, не снимая замасленного полушубка. Он уже привык к утренним посещениям директора и не проявлял заметной нервозности, как в первые дни. А то ведь хотел под горячую руку сказать молодому директору: «Ну что вы все ходите? Не доверяете мне? Тогда я умываю руки, командуйте сами парадом». Но вскоре Сидор Артемьевич понял, что эти ежедневные заходы тому просто необходимы: они как бы заряжали директора на целый день. И потом он знал, как идет ремонт, где дело застопоривается. Рабочие тоже попривыкли к утренним посещениям директора и не бросались вон из курилки, как в первые дни. Но и меру перекурам стали знать. Шутили: «Ты позднышевскую папиросу уже выкурил, сколько можно?»

При появлении Позднышева Сидор Артемьевич сдернул с носа очки, положил их в расколотый футляр и сунул в карман. Поздоровались. Посмотрели друг на друга.

— Чертовщина. Пацанье на заводах работает, а за ними присмотреть некому, — ругнулся Сидор Артемьевич. — И зачем тогда ОТК!

— В чем дело, Сидор Артемьевич?

— Вчера пять муфт привезли — новенькие, красной краской покрашены.

— Ну? — нетерпеливо подгонял его Сергей.

— Что, ну? — вскипел Сидор Артемьевич. Он наклонился, точно

держал в руках клюшку, и начал ходить из угла в угол. «Гоняет хоккей», — говорят ремонтники. — Из пяти муфт, две с заводским дефектом, — выпаливает Реушкин. — У одной отверстия для крепления с корбкой передач и близко не сходятся, у другой вместо направляющего стального штока — деревяшка!

— Так куда смотрели, когда брали?

— А кто их знал.

— Знать надо.

— А вы не кричите на меня, Сергей Филиппович, я не мальчишка.

— Я не кричу. Я говорю: смотреть надо. Если ОТК не смотрит, то мы сами должны быть ОТК. А то скоро и двигатель без коленчатого вала привезем. Пишите рекламацию на завод.

— Нам от рекламаций не легче. Пока туда-сюда, а бульдозеры на приколе стоять будут. Сами доведем эти муфты до ума.

— Сделаете? — засомневался Позднышев.

— Ха! — всплеснул по-бабьи руками Сидор Артемьевич: будто не знает директор, на что способен он, Реушкин. — Мы, если надо, бульдозер на реактивной тяге смастерим! — И в заявлении механика не было большого преувеличения: из-за нехватки запасных частей, ремонтники часто вынуждены были проявлять чудеса находчивости и изобретательности. «Захочешь оправиться — штаны снимешь», — говорил Сидор Артемьевич. — И до какой поры наша промышленность будет поставлять бульдозеры этой модификации, — пожаловался Реушкин. — Вон какие машины на ВДНХ стоят — посмотреть любо-дорого. Такой бы на мерзлоте вскрышу делать.

— Да, неплохо бы нам получить такие машинки, — соглашается Сергей.

Сидор Артемьевич не ожидал, что директор поддержит разговор, который не касался конкретного дела. И еще более удивился Реушкин, когда Позднышев вдруг мягко произнес:

— Ты уж извини, Сидор Артемьевич, что я немного резковат был.

— Да что уж там. Чего на производстве не бывает. Я на тебя, Сергей Филиппович, в первый день, когда ты заступил, крепко разобиделся, — признался он. — Три дня сроку! Ну, думаю, начала новая метла мести по-своему. Хотел плюнуть на все и пойти слесарем — мне много не надо.

— Надо-надо, Сидор Артемьевич. — Сергей старался скрыть свое смущение. — Я буду требовать с тебя, ты — с ремонтников. Иначе мы погорим... Надо начинать делать промприборы. Кислород есть для газосварки?

— Пока есть. Но неплохо бы еще завезти.

— Не жадничай, Сидор Артемьевич, сам понимаешь — лимит. Не мы одни.

В конторку начали подходить ремонтники. Низко пригибая голову, чтобы не задеть о притолоку, вошел Егор Дзюба.

— Привет начальству! — сказал он немного развязно. Бросил нагловатый взгляд на Позднышева. — Сергей Филиппович, так, как с моей просьбой?

— С «Жигулями», что ли?

— Да где ты на нем, Егор, раскатывать будешь? — спросил Реушкин. — Прямо помешались на машинах.

— Ты же раскатываешь на своем самолете. А я вот на «Жигулях» желаю.

— Дадут пять машин, — сказал Позднышев. — Только при условии, если прииск перевыполнит план.

— Не густо.

— А ты думал сотню выделяют. Кстати, Сидор Артемьевич, — вернулся он к Реушкину, — я бы хотел узнать: много ли наши мотоциклисты бензина покупают?

— Это у заведующего ГСМ надо спросить. По-моему, вообще не покупают.

— Так и я думаю. Что-то очень большой расход горючего получается.

Реушкин пошел проводить директора.

У Панпадуло глаза на лоб полезли: из-под ножа бульдозера, когда он двинул какую-то заснеженную горку, ошалело взревев, поднялся в полный рост медведь. Панпадуло оказывается накатил на берлогу. Зверь, ошалевший от неожиданного вторжения в его дом, не понимая, что делает, уперся передними лапами в нож, словно взялся померяться с бульдозером силами... Панпадуло бы двинуть как следует медведя, но он сам был испуган ничуть не меньше зверя и, оставив машину, выскочил из кабины с воплем: «Ратуйте — медведь!» — и что есть силы приударил к ближнему бульдозеру Саньки Чумбарева. А медведь, придя в себя, ринулся в другую сторону.

Супарев и Мордюков, проваливаясь выше колена в снег, в это время ходили от дерева к дереву; Артем, прежде чем оставить на дереве отметину, стучал по промороженному стволу палкой, определяя таким способом прочность и пригодность древесины, потом задира голову к верхушке лиственницы и спрашивал Супарева: «Ну как, годится?» — и делал зарубку. Но спрашивал он скорее ради проформы, чтобы создать видимость, будто и он, Супарев, необходим на лесной делянке. Рубшики, к слову, вполне могли обойтись и без него.

Аркадий отдавал себе отчет в том, что на лесозаготовках он полный профан. И, чтобы не совсем уронить себя в глазах рабочих не к месту отданным распоряжением, старался не вмешиваться в процесс заготовки и вывозки строительного леса. Правда, видя, что некоторые бульдозеристы в запале забыли, что мощностные их машин не беспредельна, он предупредил: «Не рвите бульдозеры. Они еще нам понадобятся. И на время надо бы снять ножи: сейчас они только помеха». Супарев это подметил правильно, но этим и ограничилось его вмешательство. Кроме того, он следил за тем, чтобы кто-нибудь, зазевавшись, не попал под падающее дерево, помогал чокерить хлысты.

Мордюков только сделал очередную засечку, как они услышали прямо-таки нечеловеческий вопль Панпадуло.

«Прибило кого-нибудь», — первое, что подумал Супарев.

— Медведь, — донеслось до них.

Артем с досады плюнул.

— Какой к черту медведь! — Но рабочие отовсюду бежали к бульдозеру Саньки, который стоял на поляне. Туда поспешили и Аркадий с недоумевающим Мордюковым.

Панпадуло, хватая ртом воздух, нес какую-то ахинею:

— Я, значит, на этот бугор, а он, зараза, как выскочит! Как накинется на бульдозер. В кабину полез, ну я — тикать. Здоровый, встал на задние лапы, так по самую кабину.

— Врешь же ты, Панпадуло, — сказал Санька.

— Вру? Иди, иди! Он, может, еще в кабине сидит!

— Во, нашел сменщика, — засмеялись рабочие, но с опаской поглядывали в сторону бульдозера Панпадуло.

— Пошли посмотрим, — сказал Артем. За ним направился Санька, и, помедлив мгновение, — Супарев. Шли молчком.

Около бульдозера и в кабине никакого медведя не было, но они нашли развороченную берлогу и свежие медвежьи следы.

— Удрал, — с явным облегчением произнес Супарев.

— Вот шлопут: и нанесло его на берлогу.

— Удрал-то удрал, — Санька был явно встревожен. — Да может далеко не уйти. Сейчас шататься будет. Того и смотри в гости пожалует.

— Шатун — зверина опасная, — поддержал его Мордюков, — Жрать нечего будет: зверь может и к домикам нагрянуть.

— Надо завалить его, — вынес приговор медведю Санька. — Пока он будет здесь кружить, спокойствия не видать.

Почта была уже открыта. Сергей по пути в контору дал сыну телеграмму и перевел деньги на дорогу. Только сейчас он понял всю полноту ответственности, какую взял на себя, и немного побаивался: как-то они поладят с Женькой? Женька не помнит его, а если и помнит, то очень смутно. По существу, они сейчас чужие друг другу люди. И еще мальчишка, конечно, винит отца: в разладе с отцом Наташа наверняка пыталась обелить себя перед Женькой, во всяком случае старалась представить все в туманном виде.

Мысли его перекинулись снова на производство: сумеют ли они к началу сезона пустить новый участок? Если с техникой и оборудованием, возможно, управятся, то где взять столько людей. Сезонность — бич приисков, если на них, конечно, не ведется добыча рудного золота. Но рудное золото не всегда выгодно для государства — большая себестоимость.

Уже около конторы Сергей услышал тарахтение двигателя — идет вездеход. «Наверное, Галич катит», — решил Позднышев. Он задержался на крыльце, закурил, решил подождать: Галич может проскочить мимо и, не зайти. Отдавая Галичу те или иные распоряжения, Позднышев порою чувствовал какую-то скованность и смущение. Вот вчера инженер по технике безопасности старик Сластин жаловался, что на новом участке люди не ознакомлены с правилами безопасности. А ведь они заготавливают лес, и не дай-то бог, что случится.

А вот и Сластин, легок на помине. Идет бодро, на нем щеголеватое зимнее пальто, сшитое на заказ, меховая шапка лихо сдвинута на одно ухо.

— Ты, Евгений Нилыч, — сказал ему Позднышев — сам поезжай-ка на участок и проинструктируй их о мерах предосторожности на лесозаготовках.

— Предосторожность одна — не лови мух, когда валишь дерево.

— Это ты, Евгений Нилыч, как примечание к инструктажу им сообщишь.

Подходили служащие, здоровались с директором, некоторые задерживались здесь же, на крыльце. Рыжиков жаловался, что невесть куда девался артист Броевский. Кто-то пошутил, чтобы он пошарил у вдовиц.

В это время и подкатил вездеход.

— Что за торжественная встреча? Только оркестра не хватает? — сказал Галич, легко спрыгивая на землю,

— Захватил вездеход и радуется, — хохотнул Тихон Баргузин. — Сейчас всей артелью отбирать будем. Вы там втихомолку, случаем, не моете золото? Надо бы на шурфах охрану выставить.

— Ты шурфов понарыл, вот и охраняй сам, — пошутил Галич.

— Ну, пойдем ко мне, поговорим, — пригласил Галича Позднышев.

Крыльцо враз опустело.

— Артист наш куда-то запропал, — сказал в коридоре Рыжиков. — Хотя милицию поднимай на ноги.

— Никакой милиции не надо. Я увез его на участок. Пусть приобщается к жизни народа.

— Ну-ну, — повеселел Рыжиков. — Запишем ему прогул за такое общение?

В директорском кабинете мало что изменилось с приходом Позднышева, только вместо кресла, в котором любил посидеть Латышев, теперь стоял обычный полумягкий стул. Да еще Позднышев велел из своего прежнего кабинета перетащить сюда книжный шкаф с технической литературой.

— Рассказывай, как вы там разворачиваетесь? — сказал Позднышев.

— Домики расставили, заготавливаем дрова и строительный лес. Сейчас буду жать на Реушкина — надо начинать варить приборы и колоды к ним.

— Жми да не пережимай — он и так замотался. Да проследи, пожалуйста, сам, чтобы выносные желоба делали метра на полтора длиннее, чем это принято у старателей. Мониторщики неопытные, промывку наверняка будут делать не очень тщательно. Старик Поливанов нагрянет, обнаружит золото в эфелях, он шкуру тогда с нас спустит. И поедешь на участок, захвати с собой Сластина. Пусть проведет инструктора с рабочими на лесозаготовках. Как там Супарев, не ершится?

— Молодцом держится. Мне начинает казаться, что мы его просто замордовали.

— Не обольщайся, Никита Борисович: с Супаревым все правильно. Как говорится, не теряй бдительности, а то он может и под монастырь подвести.

— Поживем — увидим. Ты сегодня как будто не в духе. Неприятности какие?

— Так, семейного порядка.

— Семейного? — Галич не скрыл своего удивления: ведь у Сергея нет никакой семьи.

— Письмо от бывшей жены получил, — пояснил Сергей. С Галичем он был как ни с кем откровенен. — Просит, чтобы я на время взял сына. Говорит, совсем отбился от рук. Дал сегодня телеграмму, пусть выезжает.

— Ты хорошо подумал?

— Думай не думай, но не могу же я отказаться от родного сына.

— Готовься, папаша, в таком случае ко всяким неожиданностям. Кстати, заходи вечером ко мне на чай, — пригласил Галич. — Посидим, поболтаем.

— Спасибо, зайду.

«Что-то твоя женушка темнит», — подумал Галич, спускаясь на первый этаж. Он заглянул в планово-экономический отдел, где работала Ирина. Она вышла к нему в коридор, оглянулась — нет ли кого поблизости — и чмокнула его в щеку.

— Соскучилась по тебе. Ты надолго? — спросила она, заглянув мужу в глаза.

И Галич подумал, что теперь ей все чаще и чаще придется оста-

ваться одной. А когда начнется промывочный сезон — и подавно, будут видаться не чаще двух-трех раз в месяц.

— Во всяком случае сегодня я с ночевкой, — сказал Галич.

— Я приду тогда пораньше, будем пельмени делать.

— Добро, Ирина. Я Позднышева пригласил.

Галич в этот день побывал в мастерских, обговорил все с Реушкиным, разыскал председателя старательской артели Геннадия Прокопьевича Баландина. Он с женой собирался в поездку по югу, уже заказал билеты на самолет. Баландин слышал, что на новом участке намерены вести разработку промприборами. «Почти с нулевого? Это здорово, — по-хорошему позавидовал председатель старательской артели. — Только один вам совет: следите внимательно, когда начнете делать вскрышу. По неопытности бульдозеристы могут столкнуть в отвал и золотиносный песок. Такое в нашей практике случалось. А при промывке, главное, не заводнить полигон. Вот смотрите, как это может произойти». — Баландин уверенно сделал набросок на листке бумаги, показал что к чему. Галич внимательно слушал: большой сложности не было, но все-таки и не так просто. Он поблагодарил Баландина за науку. Председатель артели пообещал, когда на участке начнут делать вскрышу, захватить и посмотреть на месте.

Галич остался доволен встречей.

Когда он вышел от председателя старательской артели, солнце по-зимнему уже скоротало день. Оно было как бы наспилено на вершины гольцов. Ирина, наверно, уже пришла с работы, но у него было еще одно дело, которое Галич решил исполнить сегодня. Пусть не сразу, но он должен побывать и познакомиться с семьями своих рабочих.

Уж так получилось, что первый дом по дороге оказался домом бульдозериста Панпадуло. Дом звучало громко для этой халупы, зато высокий забор вокруг нее был чуть ли не под крышу. И ворота двухстворчатые и двор такой, хоть на машине разворачивайся. И сараи и сараюшки — настоящее крестьянское хозяйство. Хорошо, что собаки не было, хотя провод для нее был протянут через весь двор, и с него свешивалась до самой земли цепь.

Дверь в сени была закрыта изнутри, и долго никто не открывал. Наконец заспанная хозяйка — курносая, грудастая, подстриженная накоротко — откинула крючок. Она узнала Галича, ничуть не смутившись своего вида, застригла глазами, посторонилась.

— Пройдите, товарищ начальник! Не испугайтесь только — в хате кавардак. Мужа нема, а по мни и так сойдет, — говорила она, мешая украинские и русские слова.

В квартире действительно не убрано; на плите стоял большой чугунок, в каких обычно готовят варево для свиней. Из чугуна торчала палка и пахло распаренными отрубями.

— Так вы с каким известием от моего?

— Да нет, наоборот: может, ему что передать надо? Или вы в чем нуждаетесь?

— В мужике нуждаюсь, начальник, — белозубо улынулась хозяйка. — Что ж вин так и будет тамочки сидеть безвылазно?

— В субботу привезем всех в баню: у нас своей пока нет.

Хозяйка не выразила особой радости видеть мужа в воскресенье, заговорила вдруг о кабане, которого пора колоть на мясо. Панпадуло сдурел, до новогодних праздников решил кабана держать. А отруби кончаются, приходится кормить хлебом...

— Пусть едет и режет его, не то сама кого-нибудь позову.

— А где вы работаете? — поинтересовался Галич.

— Та на складе. Рабочей.

— Детей нет?

— А на кой они!

Галичу расхотелось продолжать разговор с женой Панпадулы. Он пообещал, что передаст мужу насчет кабана, и покинул квартиру с тайной радостью, словно вышел наконец на свет из мрачного тупика.

Галич выходил уже из калитки, когда у дома остановился бензовоз; такие бензовозы были в автоколонне и возили на прииск соляр и бензин. Из кабины вылез долговязый шофер в коротеньком ватнике, из карманов у него торчали горлышки бутылок. Он ревниво и оценивающе с ног до головы осмотрел Галича, криво усмехнулся и скрылся за той же калиткой, из которой только что вышел Галич.

«А ты, однако, не очень-то без муженька скучаешь», — подумал Галич.

Ему расхотелось заходить к кому бы то ни было. Но дорогой он встретил жену Саньки Чумбарева, окруженную ватагой подростков — мальчишек и девочек. С ней Галич был немного знаком, жена Саньки преподавала в начальных классах. Она под стать мужу — улыбчивая, краснощекая, круглолицая.

— А я сегодня намеревался к вам в гости зайти, — сказал Галич, поздоровавшись.

— Ой, что-нибудь с Саней? — Глаза Тамары Людвиговны испуганно округлились под очками.

— Все в порядке. Не беспокойтесь.

— Как он там, Никита Борисович? Не мерзнете в этих домиках? Уехал, свитер забыл взять. Может, я с вами передам? Вот хорошо! Да что же мы стоим, может, в гости зайдете?

— Да нет, спасибо. А то муж приревнует.

— Ну, вот еще! — Тамара Людвиговна приняла его слова чуть ли не всерьез. — Пережитки какие-то. У меня Саня не такой: он вполне современных взглядов человек. Так я вам завтра посылочку для него небольшую передам, хорошо?

— Хорошо, Тамара Людвиговна. Это все ваши? — кивнул Галич на мальчишек и девочек, которые отошли чуть в сторонку и поджигали свою учительницу.

— Мои. — И потому, каким тоном это было сказано, не трудно было догадаться, что молодая учительница гордится своими воспитанниками и любит их.

Глафира Еремеевна решила действовать: если Магомет не идет к горе, то гора должна идти к Магомету. И, так как на дворе было сумеречно и мороз, выжав на ключах наледь, теперь отбирал у воды последние остатки тепла в виде тумана, повисшего над ключами Маня-Ваня, Глафира Еремеевна навесила на свой магазинчик большущий замок. Потом она, как полагалось, опечатала помещение и, поправив на голове пуховый платок, решила прогуляться по единственной пока улице поселка. Шла она походочкой женщины, разгуливающей просто в свое удовольствие, но было у нее вполне конкретное намерение: разыскать артиста и пригласить его на чай. Чай, как и чеснок, Глафира Еремеевна страсть как обожала и потому прихватила из поселка чайный сервиз чистого фарфора. Она всю дорогу на вездеходе держала его из предосторожности на руках.

Улица, не имевшая пока названия, была коротка и одним концом упиралась в высокую и длинную поленницу дров, около которой жар-

ко горел костер. Глафира Еремеевна и направилась туда. Там стояли бульдозеры, прибывшие из леса с пачками бревен; толпились мужики. Мужчин Глафира Еремеевна ничуть не смущалась, напротив, очень даже обожала их и любила почесать язык и пощекотать себе нервы солеными анекдотами. У мужиков на таких баб нюх: при ней они могли говорить что угодно и сверх того.

— Все кукарекаете, петушки? — Глафира Еремеевна туда-сюда зыркнула глазами, заметила артиста и успокоилась, словно разыскать того было страсть как трудно. — Баб своих в поселке побросали, и теперь им весело.

— Здесь нас Панпадуло на весь год развеселил: медведя бульдозером из берлоги выгнал...

— Будет врать — сами вы медведи.

— Еще какие, — вылез вперед всех Панпадуло. — Я, к примеру.

— Помолчал бы, малявка.

— А ты не смотри, что я ростом мал, зато чем другим бог не обидел.

• - Ну, это еще посмотреть надо, — без всякого смущения сказала Глафира Еремеевна.

— Глафира, а горячительными напитками торговать будешь?

— Молочко из-под дикой коровы мне не отфактуровали.

— Это нарушение правил советской торговли. Будем жаловаться.

— Жалуйтесь, голубчики, жалуйтесь, — распевно произнесла Глафира Еремеевна, поглядывая на своего артиста. И хотя тот зарос, но сегодня лицо его выглядело лучше, он даже порозовел. И Глафира Еремеевна, будто ему одному, сказала: — Только бы радовались, что этого зелья нет. Трезвенниками станете — жены молиться на вас будут.

— Тебе бы, Глашка, пропагандистом работать, а не продавщицей.

Но тут Глафира Еремеевна неожиданно разобиделась. Изломала черные наведенные брови и ногой притопнула. Мужики сперва решили, что ей не понравились последние слова, но, оказывается, причина была в другом:

— Это кто меня Глашкой назвал? — подбоченившись, вопрошала она. — Это ты, шпрындик, — Глафира Еремеевна грозно подступила к Панпадуло. Тот спрятался за спины товарищей.

— Подумаешь, королева английская. Да я свою жену Манькой зову — и не обижается.

— Вот и зови свою жену хоть ночным горшком, а я имя-отчество полное имею. Это я тебе и всем говорю. Зарубите себе на носу: я Глафира Еремеевна! И никаких вольностей не позволю. — Она это говорила другим, но чтобы и артист знал: на нее можно положиться, она с другими мужиками крутить не станет.

— А не пора ли нам ужинать, — сказал кто-то. — Баснями сыт не будешь.

Мужики стали расходиться. Следом за ними двинулся было и Вениамин Викентьевич, но Глафира Еремеевна смело и бесцеремонно взяла его за руку.

— Нехорошо, Вениамин Викентьевич, получается. Я думала, вы свое слово держите. Обещали прийти на чай.

— Я неважно чувствовал себя вчера, — неловко оправдывался Вениамин Викентьевич. — А сегодня вот отличился, — не удержался он, чтобы не похвалиться. — Вон какую поленицу дров сложил.

— Так уж одни такую громадину и сложили, — притворно удивилась Глафира Еремеевна. — В жизнь бы не поверила.

— Почему не поверили бы? — Броевский будто даже обиделся.—

Или вы, уважаемая Глафира Еремеевна, немощным меня считаете?

— Что вы, Вениамин Викентьевич! Я совсем так не думала. Я другого о вас мнения, Вениамин Викентьевич. И я вас сейчас никуда не пушу: будете ужинать у меня.

Броевский тяжело вздохнул, точно уже с этой минуты навсегда расставался со своей безалаберной холостяцкой жизнью. И в то же время он воспринимал все это так, будто репетировал какой-то водевильчик с участием разбитной бабенки и старого холостяка.

— У меня не совсем подходящий вид.

— Ох-хо-хо, — зашлась в тихом смешке Глафира Еремеевна. — Да если хотите, так вы выглядите настоящим мужчиной, Вениамин Викентьевич.

— Ну ежели так, то я к вашим услугам, — шаркнул ногой, обутой в большеразмерные валенки, Броевский. И, наверно, рабочие, которые их видели, были немало удивлены: Глафира Еремеевна, держа под руку Броевского, чинно проследовала с ним к домику, где поселились женщины.

У женщин было довольно уютно, на окнах уже навесили занавески, кровати застланы по-домашнему цветастыми покрывалами, подушки взбиты и на них кружевные накладки.

— Снимайте полушубок, умывайтесь. Я подогрею ужин.

Глафира Еремеевна оказалась расторопной хозяйкой. Пока Вениамин Викентьевич старательно и осторожно, чтобы не набрызгать на пол, пытался под умывальником, она раскрыла рыбные консервы, поставила на стол масло, печенье, нарезала хлеб, в печь подбросила поленьев.

Вениамин Викентьевич не терял надежды, что его знакомая расщедрится, вытащит из тайничка что-нибудь для сугреву. Но Глафира Еремеевна точно и впрямь решила перевоспитать его, Вениамина Викентьевича. Она изо всех сил ухаживала за ним.

Вениамин Викентьевич последнее время питался от случая к случаю и то всухомятку, и сейчас с большим удовольствием съел тарелку борща, умял подчистую котлеты с макаронами, а уж когда добрался до чая, то совсем осоловел и размяк. Сидевшая напротив его Глафира Еремеевна в яркой шерстяной кофте, с напояженными губами, так умильно смотрела на гостя, пододвигая ему печенье, подливая чай, и тихо жаловалась на то, как плохо быть одной — не успеешь оглянуться, подступит старость, а старость и одиночество, — что может быть хуже?

Вениамин Викентьевич согласно кивал головой, поддакивал и чувствовал себя так хорошо и благополучно, словно после многих лет холостяцкой жизни забрел наконец-таки в тихую гавань.

13

Супарев, придя в домик, с удовольствием попил холодного чая, подумал: «А где это допоздна артист пропадает?» — и стал сам растапливать печь. Этот день принес ему не то, чтобы полное удовлетворение, но заготовка строительного леса была организована, и, кажется, неплохо. Пока не хватало людей, а можно было параллельно с заготовкой леса начинать строительство намеченных объектов.

Только сейчас вспомнил он о Тарзане. Вышел на улицу, несколько раз окликнул: «Тарзан! Тарзан!» — Подождал, нет собаки. Неужели увязался за медведем, и тот его порвал? Аркадий очень привязался

к псу, и было бы жаль, если бы с ним случилась такая напасть. — А может, домой удул?» Супарев подумал, что надо бы сходить в столовую и поужинать, но вспомнил Татьяну и заколебался. С той встречи они, можно сказать, еще не виделись. «Неужели возможно, чтобы я серьезно увлекся ею? — Супарев хмыкнул. — Чушь какая-то. Не становись, старина, идиотом, не усложняй себе жизнь: она и так сложна. У тебя есть жена, скоро будет ребенок, что тебе еще надо?» Галич укатил в поселок, Супареву предоставлялась как бы полная свобода действий. Он не ждал, что с первого дня рабочие, и тот же Мордюков, изменят к нему свое отношение, но и подстраиваться под них, как это вчера дал откровенно ему понять Артем, тоже не стоило. «А пусть все идет, как идет. Зачем придумывать какую-то схему своего поведения», — к такому заключению пришел Аркадий Супарев.

Лежа поверх одеяла, он курил и стряхивал пепел прямо на пол. Ужинать он сегодня не пойдет: обойдется мясной тушенкой и чаем. Супарев наслаждался этой раскрепощенностью от сложностей семейной жизни, не надо было выслушивать нытья жены, ее беспокойство о том, как пройдут роды. Галина как-то заявила: «Вот рожу ребеночка и умру, останетесь одни». Может, она нарочно хотела разжалобить мужа, но получилось обратное: Супарев становился все более раздражительным и старался при первой возможности ускользнуть из дому. Иногда он часами бродил по поселку, не зная, куда себя деть и с кем поделиться своими мыслями. Ни друзей, ни товарищей у него по-прежнему не было, и это угнетающе действовало на него. Он осознавал, что так жить нельзя, что надо что-то предпринять, пора ему остепениться в конце концов. Ты теперь семьянин, будущий отец и можешь еще совершить в жизни нечто такое, что о тебе заговорит весь мир. Нет, ничего такого не будет, это следовало зарубить себе на носу. Ты ничуть не лучше других, ты заурядный человек и должен честно исполнять свои обязанности перед обществом, перед семьей, наконец перед самим собой.

Супарев снова вышел из избушки и громко позвал:

— Тарзан! Тарзан!

Эхо покатилося куда-то в ночь и отозвалось вдруг звериным воем, близким и жутким. Супарев обомлел и инстинктивно отступил к дверям домика.

От крайних домиков послышались крики, потом снова донесся жуткий вой и выстрел. Потом второй. Супарев, не понимая, что делается и что происходит у крайних домиков, кинулся туда. Бежал сломя голову. И еще билась мысль: «Понавезли ружей, перестреляют друг друга...» А потом сразу понял: медведь! Испуг подкатил к горлу, и, если бы не пляшущие впереди огоньки фонариков, он бы, наверно, повернул назад. Но впереди были люди. Супарев подошел к ним и на снегу, в свете фонариков, увидел тушу медведя.

— Добегался... — сказал он с удовлетворением.

— Прямо в столовую на ужин шел, — возбужденно рассказывал Вениамин Викентьевич. — Тут его и прихлопнули... — Он расхаживал по домику с таким видом, точно собственноручно пристрелил зверя. Потом неожиданно попросил бритвенный прибор. — Надо, знаете ли, привести себя в порядок.

— При таком освещении порежетесь, — Супарев кивнул на свечу. — Вы ужинали?

— Спасибо. Поужинал с полным так сказать сервисом.

— И что сегодня на ужин? Супарев думал, что ему все-таки

следовало заглянуть в столовую, возможно, у Татьяны есть какие претензии.

— Я видите ли не в столовой ужинал, — несколько смущенно признался Вениамин Викентьевич. — Меня потчевала уважаемая Глафира Еремеевна. Знаете, какая это женщина, — он прищелкнул пальцами.

— Вы холост? — спросил Супарев.

— Моя скоморошья жизнь не позволила мне обзавестись семьей. Но я, впрочем, не жалею: больше всего ценю мужскую свободу. Мне сейчас даже трудно представить, что жена мне говорит: «Где ты был до такого времени?» И потом в женщинах мне не нравится такая черта, как накопительство. Знаю немало хороших парней, которых загубили жены этим своим пещерным инстинктом. Есть в одном рассказе о Джеке Лондоне такие строчки, я их запомнил: «Он не мог не чувствовать в своей жене присущего всем женщинам древнего инстинкта самки, ищущей пещеру потеплей, поукромней». Вот так-то, молодой человек. — Броевский мостился за столом перед свечей, намыливая щеки.

Его слова совпадали с некоторыми мыслями Супарева, но удивительное дело, это не обрадовало Аркадия, напротив, прозвучавшие в устах косматого отшельника слова показались ему даже пошлыми.

— Кроме животных инстинктов, есть еще социальные институты, — возразил Супарев.

— Безусловно, безусловно, — согласился Вениамин Викентьевич. — Мы ведь люди — странные существа: под любые свои поступки стараемся подвести философскую базу. А когда она подведена — мы ускакиваем... Да, Аркадий Григорьевич, как вы на это посмотрите, если я попрошу зачислить меня рабочим на ваш участок?

— Решили изменить своему делу? — заинтересованно обернулся к нему Супарев. — Или чувствуете, что не тянете? — Разговор о мужской свободе, об инстинктах женщины Супареву был неприятен, и он был доволен, что сосед «переменил пластинку».

— Во втором вашем вопросе что-то есть, — задумчиво произнес Броевский. — Может, уже и не тяну. Говоря банально: я давно отошел от жизни. Мне необходимо с головой окунуться в нее, пощупать ее своими руками... Так каково мнение начальства: можно артиста Броевского определить в рабочие?

— Если бы это только зависело от меня, я бы вас не взял, — откровенно сказал Супарев.

— Почему? — Вениамин Викентьевич удивился и обиделся одновременно. — Вы, верно, считаете меня законченным алкоголиком?

— Ну, здесь вы не очень бы распивали. Но посудите сами: какой из вас рабочий? Вы представляете: что значит восемь часов простоя у пушки? Через неделю выдохнитесь и сбежите. А в разгар сезона не так просто будет найти вам подмену.

— Аргументированно, но не совсем. Вы не учитываете один важный фактор — человеческое самолюбие. О, это удивительная вещь! Вот мы говорим и пишем о соревновании: ты сделал много, а я что хуже тебя, я сделаю больше. В человеке заговорило самолюбие. Это древний инстинкт, который двигал и движет человечество.

— Вы опять переводите на биологические рельсы. Осознанное соревнование и неосознанное, стихийное — это разные вещи.

— Возможно, — не стал возражать Броевский. — Но то, что я сказал, я отношу к себе. Я знаю свой характер, знаю, что если решусь сезон поработать, то пусть мне будет чертовски трудно, но я не сбегу — не позволит самолюбие.

— Приедет Галич, говорите с ним: я лишь его заместитель.

Вениамин Викентьевич в супаревских словах уловил нечто такое, что подумал: «А вы, молодой человек, тоже самолюбивы. Вам не нравится, что вы здесь не полный хозяин».

— Вот черт — порезался! — Вениамин Викентьевич оторвал полосу бумаги и заклеил кровоточащий порез.

Ночью Супареву приснился медведь, который пожирал его Тарзана. Он проснулся, расстроенный, словно все это произошло наяву. В домике жарко горела печь и весело барабанил крышкой чайник, извещая, что вода закипела. Неужели проспал? Аркадий посмотрел на светящийся циферблат часов, стрелки показывали без пятнадцати шесть.

— Повалитесь еще, — сказал Броевский тоном хозяина, у которого гостил Супарев. — Сегодня на завтрак в столовой медвежатина. Хотите, я принесу.

Супарев разговаривал с Вениамином Викентьевичем довольно холодно, словно тот вчера его чем-то обидел. Вчера из-за этого медведя и разговора с артистом он не продумал, как лучше распределить людей по работам. Двух-трех человек следовало поставить на раскряжевку леса, надо заготавливать дрова — их понадобится немало. Потом Аркадию хотелось на бульдозере проехать по будущим полигонам и хотя бы примерно определить их границы в соответствии с геологической картой. Наметить дорогу на полигоны. Словом, день сегодня будет заполнен до отказа, но это радовало Супарева. Он встал, преисполненный желания действовать. Не менее решительно был настроен сегодня и Броевский. Он немало удивил Супарева намерением продолжать воздвигать поленицу.

— Вы что, решили таким способом доказать, что пригодны для физического труда?

— Хотя бы и так. Не возлежать же мне на кровати и таким способом изучать жизнь.

«Ну, на заготовке дров ты ее тоже не очень-то изучишь», — чуть было не сказал Супарев. Он сейчас только понял, почему у него такое неприязненное отношение к артисту. Высказанное вчера Броевским его жизненное кредо относительно мужской свободы как бы ставило их на одну доску. А Супареву ни в коей мере не хотелось быть похожим на спившегося артиста, который начал терять веру и в жизнь, и в самого себя.

— Поступайте, как знаете. Пока вы не наш рабочий, я вам приказывать не могу.

Раскомандировку Супарев проводил у костра: туда после завтрака собрались рабочие. В столовую Супарев так и не заглянул. Распределив людей по работам, он сказал Панпадуле, что сегодня он поедет с ним на полигоны. Вчера какая-то раззява наехала гусеницей на его лыжи и превратила их в крошево. Даже на растопку печи не годятся.

«Какого дьявола приспичило ему на полигоны, — подумал Артем. — Не стоило бы отрывать бульдозер на прогулки: все равно под снегом ничего сейчас не увидит».

Но на полигонах Супареву так и не пришлось побывать. Они не проехали и километра по ключу Маня, как бульдозер, проломив лед, ухнул в какую-то вымоину. Гусеницы скрылись под водой, но двигатель не залило. Панпадуло выругался и включил заднюю скорость. Но не тут-то было: дно оказалось илистым, машина, буксуя, осаживалась ниже и не продвинулась ни на метр к берегу.

— Хана, — сказал Панпадуло. — Приехали, товарищ начальник. — И улыбнулся язвительно, словно он был доволен, что завел бульдозер

в ключ. Его вины здесь нет: ведь никто-нибудь, а Супарев приказал двигаться на ту сторону. — Своим ходом не вылезти, надо дергать другим бульдозером.

И только после этих слов водителя, Супарев понял, насколько серьезно они засели. Правда, бульдозер завяз не так уж страшно, но вокруг него клокотала вода, и, чтобы добраться до берега, надо было искупаться. От одной этой мысли у Аркадия по телу прошел озноб. И отсиживаться в кабине, тоже не пряники есть: если и начнут разыскивать, то не иначе как с темнотой.

Двигатель Панпадуло не глушил и правильно делал. И тут он огорошил Супарева еще одной неприятной перспективой: если даже и придут на выручку, то как они зацепят трос под водой. А лезть в ледяную воду он, Панпадуло, не намерен.

— Может, еще разок попробуем? — предложил Супарев.

— Не стоит. Сядем по уши, тогда хоть на кабину лезь.

Сидели, молчали, думали. Панпадуло ковырял спичкой в зубах.

— Медвежатины от пуза наелся: все-таки я его из берлоги вытурил.

Над бульдозеристом пролетела крикливая сойка.

— Ишь ты — летает, — сказал Панпадуло с завистью, и взмахнул полусогнутыми руками, будто сам намеревался полететь следом за птицей.

Этот жест отчего-то развеселил Аркадия, и на него накатилась волна бесшабашной удалости.

— А не испытать ли, каково моржам?

— Каким моржам? — недоуменно воззрился на него Панпадуло.

— А тем, кто зимой в прорубях купается.

— А-а, в кино видел.

Панпадуло, до которого дошло, что затеял Супарев, со всей категоричностью заявил, что это чистое безумие — брести по грудь в воде на берег: воспаление легких обеспечено.

— Начнет темнеть — спохватятся, — рассудил он. — По следу найдут.

Супарев полез за сигаретами, закурил сам, угостил бульдозериста. Бесшабашный настрой постепенно вытеснил трезвый рассудок: искупаться в ледяной воде и, верно, грозит воспалением легких. Но и сидеть здесь до темноты хорошего нет. Столько времени без дела простоит бульдозер. Галич тоже может сказать: «Что за спешка? Не мог подождать меня?»

— Черт! — Аркадий приоткрыл дверцу, щелчком выкинул недокурную сигарету. В лицо пахнуло пронзительно-холодной водой, и он не без иронии подумал: «В теплой кабине легко рассуждать о моржах».

Панпадуло, решив, что Супарев не отказался от мысли добраться до берега, отговаривать его на этот раз не стал, но посоветовал:

— Если уж выходить, то с моей стороны. Выберетесь, а потом что есть духу до базы. Хорошо спирт бы был...

И эти слова бульдозериста решили исход дела: они как бы отсекали дальнейшие колебания Супарева. Панпадуло советовал разумно: бульдозер стоял поперек течения, и вода, разбиваясь о него, обтекала бульдозер и образовывала с одной стороны затишок. Супарев и Панпадуло поменялись местами.

— Сигареты замкнул, — пожалел Панпадуло.

— На, держи. — Супарев отдал ему пачку сигарет. «Кури, брат Панпадуло, и помни мою щедрость. Не поминай лихом», — стояло за этим жестом.

— Пошел, — вслух самому себе приказал Аркадий и спрыгнул в воду. На нем были валенки, ватные брюки и белый солдатский полубубок. Воды оказалось по грудь, но первое мгновение Супарев вообще не ощутил ее.

— Давай! — Высунувшись из кабины, Панпадуло орал во все горло, точно это могло придать силы Аркадию. — Давай, мать твою!..

Супарев выбрел к шербато обломанному льду, вода уже доходила ему до пояса и уже просочилась сквозь одежду, и холодом обожгла тело; он оперся на лед обеими руками, подтянулся и животом вполз на него. Поднялся рывком, крикнул бульдозеристу: «Жди!» — и тяжело побежал по гусеничному следу. Один раз он обернулся и увидел маячившего в кабине Панпадуло с новой сигаретой в зубах. Он не обвинял его за то, что тот не осмелился лезть в воду, а пришлось это сделать ему, Супареву. Панпадуло сейчас сидит в теплой кабине и в сухой одежде.

Супарев припустил, насколько было возможно в его теперешних ледяных доспехах, — одежда вся взялась ледяной коркой, шуршала блестящими чешуйками. Супарева это не беспокоило, не думал он и о том, что может простыть, он скорее испытывал чувство восторга, что решился на такое. И это придавало ему силы, и он без передыху добежал до базы, свернул к костру.

Завидев бегущего Супарева, кто-то из парней сострил: «Смотри, начальник наш стометровку рвет!» И тут же осекся: уж очень необычный вид был у Супарева.

— Живо за бульдозером, — выдохнул подбежавший Супарев. — Там в ключе Панпадуло с бульдозером сидит...

— А вы как же? — Вениамин Викентьевич удивленно рассматривал Супарева. Но Супареву было не до объяснений: он кинулся к своему домику. Тогда, секунду подумав, Вениамин Викентьевич потрусил по-молодому к магазинчику. Вскоре он бежал назад уже в сопровождении Глафиры Еремеевны. Когда они вошли в домик, Супарев уже разделся до трусов, посиневший от холода, клацал зубами.

— Вот натритесь, выпейте и ложитесь в постель, — Глафира Еремеевна выставила на стол чекучку спирта, многозначительно посмотрела на артиста: не вздумай, мол, и ты приложиться. — И головку чеснока съешьте. Ой, да что же я стою, — вдруг застеснялась она и быстренько покинула домик.

Обязанности няньки взял на себя Вениамин Викентьевич. Он налил в кружку чистого спирта, в другую воды. Аркадий заставил себя выпить, Вениамин Викентьевич крикнул за него и принялся растирать посиневшего от холода Супарева. Потом собрал все одеяла и накрыл его. Супарев быстро опьянел и все порывался встать, чтобы узнать, поехали ли вытаскивать бульдозер.

К супаревскому купанию на участке отнеслись по-разному: одни говорили, что по глупости они поперли через ключ в том месте (а кто знал, что там глубокая вымоина?), молодежь восхищалась Супаревым и отдавала должное его смелости. Прикативший вечером на участок Галич строго свел брови: а ну, как схватит воспаление легких? Супарев продолжал спать, и Галич несколько раз склонялся над ним, прислушиваясь к дыханию и осторожно прикладывая ладонь ко лбу: жару, кажется, не было, и он немного успокоился.

Проснувшись, Аркадий некоторое время лежал неподвижно, старался вспомнить, как он очутился в постели.

— Как самочувствие? — спросил Галич.

Супарев ответил не сразу, собирался с мыслями.

— Тарзана моего дома не видели? Куда-то сбежал... Или медведь его задрал.

— Видел. Из конуры не выходит. Галина привет передавала, беспокоится за тебя. Два тюбика зубной пасты передала, чтобы зубы не забывал чистить.

— Надо же, какая забота! — усмехнулся Супарев. — Почему не спросите, за каким чёртом я бульдозер туда погнал?

— Догадываюсь. Завтра вместе поедем. Ты пока лежи, я тебя чаем с малиновым вареньем напою. Татьяна вот принесла. А из тебя со временем может морж получиться: закаляешься.

14

Сергей Позднышев не ожидал, что сынишка придет так быстро и даже не предупредит его телеграммой. Он с главным геологом уточнял разведочные данные, какие были получены на этот год; Тихон Баргузин в шутку помянул, что им не учтен только шурф Лазаря Чумбарева. И тут вошла Анна Ивановна и сказала, что Позднышева в приемной спрашивает какой-то мальчик.

Баргузин, глянув на директора, не мог понять, что так взволновало того. Он хотел продолжить разговор, но Позднышев не слушал его. Проведя ладонью по коротко стриженным волосам, он сказал приглушенно: «Минутку» — и направился вслед за вышедшей Анной Ивановной.

«Что за важный посетитель да еще мальчишка?» — Тихона разбирало любопытство.

Сергей внутренним чутьем понял, что приехал сын. И вот ведь, кажется, был подготовлен к встрече, а тут сам растерялся как мальчишка. Шагая к дверям, он говорил себе: «Спокойно, не сыграй перед сыном дурака».

Высокий паренек, в светлом меховом полупальто, перепоясанном узким пояском, стоял чуть в стороне от стола, за которым сидела Анна Ивановна, и теми же, что и на фотографии, вопросительно-строгими глазами смотрел на Позднышева. Они некоторое время молча и напряженно стояли друг против друга.

— Ну, здравствуй! — Сергей шагнул к сыну. Тот, верно, чтобы показать, какой он сильный, нарочито крепко пожал руку отца. Но губы паренька неожиданно вздрогнули, и Сергей не выдержал, обнял Женьку и поцеловал. Женька смущенно спрятал глаза. Сергей сказал Анне Ивановне: «Сын, вон какой вымахал!» — и увлек его за собой в кабинет. Эти же слова он повторил и главному геологу.

— Будем знакомы. — Баргузин поздоровался с пареньком, как со взрослым, и поинтересовался: — Как долетел? Не замерз? — И посмотрел на ноги Женьки, обутые, по здешнему представлению, более чем легкомысленно — в ботинки.

— Нормально, — сказал Женька.

«А ты, сын, не многословен, — отметил про себя Позднышев. — И не жалуешься, что ноги замерзли, а ведь замерзли, видно».

Не навязчиво, но все-таки приглядывался к сыну. Тот таким же манером — к нему.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Баргузин. — Будь здоров, Евгений Сергеевич! Обживешься, мы с тобой в тайгу на вездеходе махнем.

— А вы человек слова? — неожиданно спросил Женька.

— Я? — немного опешил Баргузин.

Позднышев, глядя на своего главного геолога, усмехнулся: поймал тебя на крючок, будешь знать, как трепаться.

— Безусловно, — наконец ответил Баргузин.

— Нормально.

Женьке предложение Баргузина явно понравилось, с лица на какое-то время сошло не по-детски серьезное выражение, высветлился мальчишка, мечтающий о путешествиях, о нехоженных таежных тропах и захватывающих приключениях... Сергею показалось, что он угадал, кем хочет стать его сын. И он спросил, почти уверенный в ответе:

— Геологом будешь?

Женька посмотрел на отца, как бы раздумывая, — открыться тому или нет — и сказал:

— Когда я вырасту, все полезные ископаемые будут открыты. Нет, я буду физиком.

«Вот так тебе, самонадеянный ты тип, — выругал себя Сергей. — Так сразу и раскусил сына. Не знаешь ты его совсем и не ублажай себя мыслями, что он, зная об отце понаслышке, мечтал пойти по твоим стопам».

— Физиком? Что ж, перспективная наука, — согласился Позднышев, не имевший права ни оспаривать выбор сына, ни советовать ему: это надо было еще заслужить. Он хотел спросить о своей бывшей жене, о матери Женьки, но посчитал, что этот вопрос преждевременен. Несмотря на занятость, он сегодняшний день полностью должен посвятить сыну.

— Что ж, идем домой, — сказал Сергей.

В приемной, умиленная встречей отца и сына, Анна Ивановна шепнула:

— До чего ж, Сергей Филиппович, сынишка похож на вас! Прямо вылитая копия.

— Очень похожа она на нашу учительку Ларису Васильевну, — заявил в коридоре Женька. — На вид добрая, а в душе злая.

— Не суди о людях по первому впечатлению.

— А говорят, что первое впечатление самое верное, — возразил Женька. Сергей подумал, что в четырнадцать лет мальчишек он считал детьми. А здесь приходится разговаривать почти как со взрослым.

«Интересно бы узнать, какое у тебя обо мне первое впечатление?» — тут же подумал Позднышев.

Канторские, встречаясь с ними в коридорах, здоровались и с любопытством поглядывали на вышагивающего рядом с директором высокого паренька.

— А все равно видно, кто перед тобой заискивает, а кто нет, — снова сказал Женька. — Мамка, когда к нам приходили писатели, всегда заискивала...

— Ну, а ты?

— А зачем? Я независимый.

— Ну, перед гостями матери, может, и независимый, а вот, скажем, перед учителями? Тогда как, Евгений Сергеевич?

— А никак. Преклонение перед авторитетами — старо. Это унижает человека.

— Ого! — невольно вырвалось у Позднышева. — Преклонение, может быть. Но ведь есть слово — уважение. Уважение к опыту, к возрасту человека, наконец, к его заслугам. Это просто элементарная воспитанность. Не так ли?

Женька промолчал. Сергей решил не продолжать: всему свое время.

— У нас морозы. Сегодня же надо купить тебе валенки.

— А что, и в школу в валенках ходят? — неожиданно по-детски спросил Женька.

— И в школу. Тебя это удивляет?

— Не гигиенично.

— Ну, брат, не до гигиены, если ноги отморозишь, — усмехнулся Позднышев. — Если уж вспомнили о школе, то позволь поинтересоваться, каковы твои успехи?

— А что, тебе будет очень стыдно, если у меня двойки?

— Да не совсем приятно.

— Можешь быть спокоен: пятерки и четверки.

Сергей заметил, что сын избегает называть его папой. И, хотя этого следовало ожидать, Позднышева такой факт и огорчил, и даже обидел.

Мимо них прошла стайка девочек-школьниц, наверное, одноклассницы Женьки; одну из них Позднышев знал — дочь главного геолога, смешливая, курносая. Она сказала: «Здравствуйте, Сергей Филиппович!», — взмахнула портфелем, посмотрела на Женьку, что-то шепнула подружкам, те прыснули в варежки, все разом оглянулись на незнакомого мальчишку. Засмеялись звонко, в полный голос и побежали, прыгая, как кузнечики.

Женька, хоть и старался не подавать вида, но смех девчонок принял по своему адресу, смутился. И, чтобы как-то выйти из неловкого положения, он спросил:

— А у вас спортивный магазин есть?

— У нас спорттовары в хозяйственном продают. А тебя что-нибудь интересует? — живо ухватился за эту мысль Сергей Филиппович. Чего легче — купить подарок, и все недоразумения между ними одним махом будут устранены. — Зайдем, посмотрим что там есть, — предложил он. Женька не возражал. Они свернули к хозяйственному магазину, который приютился между поселковым Советом и пекарней — такой же рубленый дом с неоштукатуренными бревенчатыми стенами.

В магазине было холодно.

— Печь дымит, — пожаловалась продавщица, одетая поверх ватника в синий халат. И спросила, что желает купить товарищ директор.

— Посмотрим. — Сергей выжидательно посмотрел на сына. Он почти был уверен, что Женька выберет лыжи. Женька подошел к ним и пощупал руками. — Что, купить тебе? — спросил еще раз Позднышев. Женька промолчал, а в следующую минуту удивил не только отца, но и продавщицу: он вдруг, нимало не стеснясь, сказал, что купил бы санки — обыкновенные детские санки с разноцветными планками и выгнутой железной спинкой.

— Может, все-таки лыжи? — Позднышев этим вопросом скорее утверждал, что санки уже не для его возраста. Но Женька упрямо повторил:

— Я хочу санки.

— Ну, что ж, санки так санки. — Позднышев откровенно был раздосадован.

Женька нес их сам, чемодан передал отцу. Шли молча; Сергей Филиппович никак не мог понять, может, это была неумная шутка сына. Он заранее переживал насмешки мальчишек и девчонок. Женькиных одноклассников. «Такой дылда, а на саночках катается! Директорский сыночек!»

— А у нас в городе почти всю зиму нет снега, — уже подходя к

бабкиному дому, сказал Женька. — А если выпадет, мы всем классом на горку идем.

И тут отец понял, почему сын захотел купить санки. Во-первых, он не умел кататься на лыжах, а, во-вторых, в городе, где горожане не избалованы снегом, ни стар ни млад не чурались санок. Взрослые и дети с визгом и веселым смехом катаются на санках с горок.

— Пусть покатается на санках.

— Ты что-то сказал? — приостановился Женька.

— Нормально, говорю, санки, — подмигнул ему Позднышев. — Полный порядок.

Зоя Узлян продолжала переписываться с престарелой матерью Федора Костенко. Мотя удивлялась, сколь постоянна та была в своих чувствах, а иногда даже со страхом подумывала: уж не помешалась ли Зоя? Что-то противоестественное было в том, когда Зоя начинала говорить о Федоре так, будто он лишь сейчас вышел на минуту. Зоя только однажды, когда стало известно, от чьей руки погиб Федор, сказала Моте со слезами на глазах: «Почему, почему он не рассказал мне обо всем? Он боялся за меня. Он боялся, что и со мной этот зверюга может расправиться».

А сегодня, получив письмо от матери Костенко, Зоя вдруг поспешно принялась собирать свои вещички и упаковывать чемоданы. Она собиралась так основательно, словно уезжала навсегда. Мотя поинтересовалась, что все это значит.

— Ой, Мотя, я должна немедленно ехать. Мамка пишет, что в ихнем областном городе скоро будут судить бывших полицейев. Через столько лет изловили их. И этого злодея, что Федю порешил, будут судить. Мамка свидетелем будет выступать. Просит приехать. Она совсем, совсем одна — и у меня никого нет. Поеду.

— Отпуск возьмешь, что ли?

— Ой, Мотечка, не знаю. Наверно, насовсем. Я же говорю: мамка совсем старенькая и одна-одинешенькая. Кто ей поможет? А я за ней присмотрю, в огороде помогу. Много ли нам на двоих надо?

«Вот и остаюсь я одна в квартире, — с тоской подумала Мотя. — Как она уедет, сразу переберусь в общежитие».

Зоя тихоня-тихоня, а собралась и рассчиталась за один день: в больнице ей пошли навстречу. А завтра она улетала.

— Идем, что ли? — спросила ее Мотя.

— Подождем минутку. Галка должна прийти, обещала проводить. Столько времени вместе прожили, — добавила Зоя.

Наконец пришла Галина; за последнее время она очень подурнела, на лице появились пигментные пятна, носик торчал, как пуговка. Говорила мягко, распевно и носила себя, словно хрустальную рюмку. Галка пальто сменила на каракулевую шубку, и беременность была не так заметна.

— Вот и все в сборе, — вздохнула Зоя. — Присядем, девочки, на дорогу.

Аэродром был более чем в двух километрах от приискового поселка. По долине тянул слабый, но довольно злой ветерок, и Зоя сказала:

— Галка, тебе, может, не стоит до аэродрома идти.

— Мне сейчас, наоборот, надо больше двигаться. Знаете, девочки, а он у меня уже шевелится. Ой, страсть, как боюсь рожать! Ночами не сплю, все думаю. Вот возьму и умру...

— Что ты, глупая, напасть с тобой, — машет рукой Зоя. — У нас в больнице еще никто от родов не умирал. Все будет хорошо.

— Дуреха, нашла о чем думать — о смерти, — вставила Мотя.— Живым надо о жизни думать.

— Я и о жизни, девочки, думаю. — Галке, видимо, захотелось излиться, рассказать девчатам о своих потаенных страхах и сомнениях, о том, что тревожило ее в последнее время. — Мне, девочки, все больше начинает казаться, что не любит меня Супарев. — Она сказала не муж, не Аркадий, а именно Супарев, точно речь шла о чужом человеке. — Боюсь, что не будет у нас с ним жизни. Вот и вместе живем, а будто врозь — он сам по себе, я сама по себе. А особенно сейчас, когда уехал на участок. Галич приезжал, хоть бы записку какую он передал или на словах. Спрашиваю Галича: ничего, мол, мой не передавал? А он растерялся, а потом говорит: «Совсем из головы вылетело, как же передал, просил о нем не беспокоиться, просил беречься и все такое...» А я прямо и говорю: «Это вы, Никита Борисович, от себя придумали, ничего такого он не передавал». Разозлилась я и говорю: «Если он, паразит, заведет шуры-муры с Танькой, я прежде вам как начальнику физиономию поцарапаю». Мне наша уборщица говорила, будто видела, как Супарев в дом к Таньке ходил. Поздно вечером... Я ему нахожу! Если я теперь беременна, так по бабам надо шастать. Потерпит, ничего с ним не случится.

Бывают откровения разные, но после этого, Галкиного, и Моте и Зое как-то стало не по себе. Говорить ей в утешение ни та, ни другая ничего не стали: пусть они сами в своих отношениях разбираются.

— Как суд состоится, ты обязательно письмо напиши, — попросила Мотя. — Это не для меня лично, для всех жителей прииска.

— Я понимаю, — сказала Зоя. — Обязательно напишу.

— Зоя, у тебя как с деньгами? — неожиданно спросила Галина.

— Да наскребла.

— На вот тебе полсотни. Бери, бери, не с пустыми же руками к матери Федора явись. А пока еще устроишься на новом месте.

Моте показалось, что Галина это сделала в пику ей, Моте: не думай, что я такая жадная до денег.

Аэродром был невелик, но зимой принимал новые комфортабельные самолеты Як-40, если, конечно, набиралось достаточно пассажиров.

Длинное низкое здание служило и диспетчерской, и вокзалом. Народу на рейс было немного, и оформление багажа заняло мало времени. Вскоре объявили посадку, будто самолет только и ожидал Зою. Здесь больших строгостей не было, и девчата проводили Зою до самого трапа.

— Вот и все, девоньки, — просто сказала Зоя. — Прощайте. Может, больше и не увидимся.

— Земля тесна, — сказала Мотя. — Все может быть.

— А тебе, Галина, желаю родить здорового мальчика.

Галка всплакнула. Девчата расцеловались.

— А тебе, Мотя, мужа хорошего, — шепнула Зоя. — Знаю, о ком думаешь.

— Провожаящие, прошу с поля, — предупредил работник, сопровождавший пассажиров.

Мотя и Галина ушли к диспетчерской; отъезд Зои примирил их, они стояли в обнимку, пока не взлетел самолет.

— Какого человека просмотрели, — отвечая на какие-то свои мысли, произнесла Мотя.

— Ты о ком? — не поняла Галина.

— О Зое, конечно. Красивой она души человек!

Галина промолчала. Верно, не очень соглашалась с Мотей относительно Зои.

— Ты слышала, Мотя, к директору сынок приехал? Неужели опять с женой сойдется?

Мотя знала об этом и тоже мучилась этим же вопросом. Но она сделала вид, что не расслышала, что сказала Галина.

— Знаешь, у меня идея: давай перебирайся в нашу прежнюю квартиру. Я все равно в общежитие уйду. А у тебя скоро будет ребенок, вам нужна теплая и сухая квартира. А Супареву пока не сообщай, придет, будет ему приятный сюрприз.

— Ой, Мотя! — сразу загорелась Галина. — Но как без разрешения? Высылят.

— Разрешения добьемся: мать никто не посмеет выселить. Сегодня же раздобуду машину, приглашу ребят, и мы тебя мигом перевезем.

— Ой, Мотя, ты такая, такая...

— Не стоит, Галка. Это не моя идея, а ее, — Мотя кивнула вверх, где в белесом небе растаял самолет. Мотя, конечно, приврала насчет Зои, но ей так хотелось, чтобы окончательно закрепить в памяти Галины только хорошее о Зое Узлян.

Когда последние вещи из супаревской квартиры были выгружены из машины и парни, которых наняла Мотя, второпях на кухне выпили и довольные удалились, тут и объявился Лайкин.

— Так-так, — сказал он у дверей, рассматривая разбросанные в беспорядке вещи. — Великое переселение народов? А кто же вам позволил, а? — Лайкин повысил голос и устремил свои глазки на Галину. — Я вас спрашиваю, товарищ Супарева?

— А почему вы меня не спрашиваете, я квартиросъемщик, — вмешалась Мотя, зная, что Галка или станет плакать, или психанет и может испортить все дело. — И прошу вас не повышать голоса. Женщина в положении, и ей волноваться противопоказано.

— Вы меня не заговаривайте, Сахарова. — Лайкин был настроен воинственно и так просто сдаваться был не намерен. Тем более сегодня директор прииска сам сказал ему: «Ну, вот, а мы ломали головы, куда поселить главного инженера. Сахаровой придется предложить общежитие, для одной такая квартира — непозволительная роскошь. Я сам с ней поговорю». Чувствуя за собой солидную поддержку, Лайкин все более распалялся и пообещал принять строгие меры. Но, видя, что Галка начала всхлипывать, Лайкин сказал, что он надеется на ее благоразумие и покинул квартиру.

— Напрасно мы затеяли переезд, — всхлиывая, говорила Галина. — Из-за меня Аркадию будут неприятности.

— Надо поговорить с Позднышевым. Он должен понять...

Позднышев неожиданно явился сюда сам, видимо, Лайкин успел ему сообщить. Он, как и Лайкин, тоже остановился у порога, пробежал глазами по разбросанным вещам. В отличие от своего заместителя, он понимал, что поставлен более чем в дурацкое положение: выселять женщину в положении было неудобно, а отступить значило показать свою беспомощность. Сергей Филиппович молча обошел квартиру с таким видом, точно сам собирался переехать в нее.

— Садитесь, Сергей Филиппович, — Мотя поставила ему стул.

Позднышев, продолжая стоять, сказал:

— На днях приезжает главный инженер. Я намеревался, Мотя, убедить вас поселиться в общежитии. Увы, у нас очень плохо с квар-

тирами. Вот такие-то дела! — Он хотел поставить Мотю в его положение, как бы заранее ее предупреждал, что готов на любые, даже самые крутые меры. Главный инженер, не получив квартиры, вправе отказаться от работы на приiske.

— Зачем же его поселять в общежитие, — сказала Мотя. — Пусть поселится в супаревской квартире. Скажите, что временно.

— Спасибо за совет! — Сергей ждал, что они войдут в его положение и проблема будет решена мирным путем.

— Галина, иди погуляй, пожалуйста, — вдруг попросила Мотя.

— Затея твоя? — спросил ее Позднышев, когда Галина вышла.

— Да, моя.

— Что ж, тогда действительно нам лучше поговорить наедине. Ну, так что же все это означает, Мотя? Что за анархия?

— Сергей Филиппович, давайте начистоту.

— Согласен. Только не спекулируй беременностью Супаревой: это — запрещенный прием. Меня можно обвинить в бесчувственности, и черт знает в чем. Я бы не хотел этого. Не хотел, чтобы ты так думала обо мне. Иначе я воспользуюсь этим же приемом.

«Зачем я действительно затеяла все это? — спросила себя Мотя. — Сейчас вконец рассоримся». Возможно, Позднышев вновь сойдется с женой, недаром приехал к нему сын. А может быть, Мотю все-таки тронуло сегодняшнее откровение Галки, что у них не ладится с Супаревым. Моте захотелось сделать для нее приятное, компенсировать хоть чем-то их семейные неурядицы. Но как об этом рассказать Позднышеву, как заставить его понять.

— Что вы подразумевали под запрещенным приемом? — спросила Мотя на этот раз с вызовом.

— Всему свое время. Сперва попытайся меня убедить, что Супаревым так необходима эта квартира.

Мотя заговорила о Супареве, о том, что он сейчас как никто другой нуждается в поддержке, что если они останутся в квартире, то Супарев поймет, что в нем прииск нуждается. Разве этого мало, чтобы решить в пользу Супарева?

— И потом вот, что у главного инженера есть маленькие дети? — спросила Мотя.

«Черт, такой элементарной вещи он не мог заранее узнать», — корил себя Сергей. Рассуждения Моти уже поколебали его решимость. Он понимал, что спор перерос рамки просто квартирного вопроса, разговор шел о подходе к людям, о том, «кто ты есть!», «умеешь ли быть отзывчивым?», наконец, «веришь ли ты людям?»

— Я сам живу на частной квартире. — Позднышев, произнеся это, понял, что он несколько не опровергает доводов Сахаровой. Но его реплика сразу заинтересовала Мотю.

— Жена приедет — как же вам без квартиры?

— Чья жена?

Сергей понимал, что приезд к нему сына на приiske будет по-разному истолкован. Но за вопросом Моти Сахаровой скрывалось нечто большее, чем женское любопытство.

— Если она и приедет за сыном, то это ровным счетом ничего не изменит.

Мотя поняла, что своим вопросом выдала себя с головой, но она не испытывала ни стыда, ни смущения. Напротив, ей хотелось наконец знать правду, знать, какое место в его мыслях занимает она сама. И, когда Позднышев встал и пошел к дверям, Мотя готова была остановить его и сама открыться в своих чувствах. Но прежде чем это случилось, он обернулся и сказал:

— Я тебя люблю, Мотя. — И вышел.

— Вот и все! — Мотя растерянно опустилась на стул, вид у нее был, наверное, донельзя глупый. И она была рада, что Сергей после этих слов тотчас ушел, оставив ее наедине.

15

Еще в пятницу Галич объявил рабочим, что завтра все, кроме двух сторожей, выезжают в поселок. А утром Миша чуть не испортил всю обедню: вездеход снова никак не хотел заводиться. Бульдозеристы и все, кто хоть немного кумекал в технике, облепили привередливую машину, мешали друг другу советами, а толку ни на грош.

Галич и Супарев вернулись в домик, что зря мерзнуть.

— Аркадий Григорьевич, у меня такое впечатление, что ты не очень рвешься домой? — Галич не ждал полной откровенности от Супарева, но надо было поговорить об этом. Судя по словам Галины и некоторым обмолвкам Супарева, в семье у них было далеко не благополучно.

— Не ошибаетесь. Была бы возможность, я с удовольствием остался бы здесь.

— Не дури. И так пришлось краснеть перед Галиной.

— Вас никто не уполномачивал разговаривать с ней.

— Совесть уполномочила. Она в положении, и внимательным ты быть обязан.

— Никому я ничего не обязан. С того возраста, как помню себя, все время слышу это слово «обязан». Обязан матери с отцом, что они меня родили, кормили и одевали, обязан учителям, которые меня учили. Всем обязан...

— А ты как же думал прожить без обязанностей? Так-то, Аркадий Григорьевич! И не думай, что я тебе читаю мораль, я тебе просто советую: будь внимателен с женой. Не хочешь же, чтобы она родила тебе невротика?

— Хорошо, убедили, — как-то легко согласился Супарев. Но это был просто маневр, чтобы уйти от неприятного разговора. Его взаимоотношения с женой Супарев считал сугубо личным делом, и вмешиваться в него он не позволял даже Галичу.

В домик заглянул Санька Чумбарев.

— Трогаем, Никита Борисович. Завели этот вездестой! — радостно сообщил он.

Ехали с песнями, шумно, точно делали воскресную вылазку на речку Неверку. Миша лихо развернулся на площади около конторы: вылезай, приехали.

Галич и Супарев вместе направились домой.

— Ох, и попарюсь в бане, — сказал Галич. — И тебе советую: это лучше, чем в ледяной воде купаться.

День выдался солнечным, распахнутым настежь. Снег слепил глаза. Аркадий чем ближе подходил к дому, тем сильнее испытывал желание увидеть Галку. И себе, и Галичу он наврал, что остался бы на участке. Все это была бравада или непонимание самого себя и своих отношений к жене, хотя они были не просты.

Около дома они разошлись каждый в свою калитку. Галич еще не успел снять полушубок, как без стука влетел перепуганный Супарев. Он еще с порога выпалил:

— Вот дела! Квартира на замке, в окно заглянул — пусто. Сбежала моя женушка, что ли?

Ирина вдруг громко рассмеялась.

— Будете знать, как от жен сбежать на участок. Вот один уже достукался: ни жены, ни вещей. Что делать будешь, Аркадий Григорьевич?

— В милицию заявлю, пусть подадут на всесоюзный розыск, — Супарев, видя, что Ирина смеется, понял, что ничего страшного не произошло. Он уже стеснялся своей минутной слабости и тоже пытался шутить.

— Галина твоя с Сахаровой отчудили, — стала рассказывать Ирина о последних событиях, о переезде Галины.

— Позднышев решил тебя, Аркадий Григорьевич, оставить в той квартире, а главного инженера сюда. Так что радуйся — тебя ценят.

— Радуюсь, — улыбнулся Супарев. — И принимаю жертву дирекции.

Валентин выполз из парной чуть ли не на карачках. Измочаленное березовым веником тело, кажется, лишилось костей, а выражение «вареный рак», наверное, как нельзя лучше подходило сейчас к нему. Он опустился на лавку, постепенно приходя в себя. Голова прояснялась, и первая мысль, которая родилась в ней, была торжественно-праздничной: он, Валька Петушков, которого по состоянию здоровья не призвали в армию, выдержал такое пекло (туда и из мужиков совались немногие). Казалось бы, совсем малюсенькая победа, а он будто на вершину Мира взобрался! Возможно, и не такие высокие эти его вершины, но он на них карабкался по силе своих возможностей с того дня, как приехал сюда, как вышел на работу.

— Ты не угорел? — Андрей участливо положил руку Валентину на плечо. Глаза у него серьезно-испуганные: знал, что у друга неполадки с сердцем, и потащил парня в парную. — Ты слышишь меня? — Он сильнее потряс Валентина.

— Отстань, — сказал Валентин. — Даже в бане от тебя покоя нет. Принес бы лучше таз воды.

— Служить легко, прислуживать тошно. — Андрей схватил первый подвернувшийся под руку таз и вскоре принес его наполненным до краев водой. — Голову окуни — легче станет, — посоветовал он.

Валентин сунул голову в таз, выпрямился, ошалело посмотрел на товарища, ржавшего во все горло, — вода была холодная. Валентин рассмеялся сам, и во всем теле наконец ощутил легкость, будто и не было дней, заполненных с утра до вечера колкой дров, когда топор не раз выпадал из непослушных рук.

Из бани они вышли чистенькие, как старательно надраенные солдатские пуговицы; у них был один чемоданчик на двоих, и его нес Валентин. Андрей блаженно затягивался сигаретой и непривычно молчал.

— Держи, — Валентин неожиданно протянул ему чемоданчик. — Я схожу тут в одно место.

— Валяй в одно место, — Андрей иногда проявлял джентльменский такт, не спросил, куда это надумал пойти товарищ. А Валентину для полного счастья не хватало только увидеться со Светой. Он всего один раз и бывал-то у них дома. Но что из того, что придет и скажет: «Я хотел бы видеть Свету». Он хорошо помнил, где жил главбух Пашенко — не раз провожал Свету до калитки. Все их встречи для Валентина сейчас слились в одну-единственную. Хотя он даже не мог вспомнить, о чем именно они говорили. Верно, болтали обо всем, и ни о чем таком, что навсегда врезалось бы в память.

Вот и дом с крашеными ставнями. Обширный двор. Калитка. Двор расчищен от снега, у забора ручкой вниз воткнута деревянная лопата: хозяин для проминажа любит побаловаться снегом. Это полезно при сидячей работе.

Валентин отворил калитку и ступил во двор. Но тут на крыльце появился сам хозяин в черном добротном полушубке, воротник поднят, под мышкой зажат веник, в руках хозяйственная сумка, — ясно, в баню направился. Главбух шел через двор мелкими шажками и близоручко шурился, глядя на стоявшего у калитки парня. Он, видимо, не сразу узнал его, а когда узнал, по-доброму заулыбался.

— А, это вы, молодой человек! Добрый вечер! А вы, я вижу, уже побывали в баньке? Не смущайтесь, я банный дух за километр чую. С легким паром вас, молодой человек! — Пашенко запомнил, как звать Валентина, и потому прибегал к этому на все случаи пригодно-му обращению «молодой человек».

— Лаврентий Михайлович, Света дома? — наконец осмелился спросить Валентин.

— Света? — Пашенко немного был удивлен, — Ах да, вы на новом участке, — вспомнил он. — Могли и не знать: она уехала в город к тете. Будет готовиться в институт... А вы, молодой человек, зачем здесь? На приiske то есть?

«Уехала. Все было приятным сном, не больше», — Валентин не почувствовал ни большого разочарования, ни сожаления.

Пашенко, не дождавшись ответа на свой вопрос, сам сделал заключение.

— Хотите заработать денег на машину? Сейчас это модно.

— Да, хочу заработать на машину, — неожиданно для себя сказал Валентин. — На новую «Волгу». На черную.

— Дороговато обойдется «Волга», — вполне серьезно посочувствовал ему Пашенко. — Десять тысяч и на приiske не очень-то скоро заработаешь.

— А я заработаю. Подумаешь — десять тысяч. Пустяки — десять тысяч! Всего хорошего, Лаврентий Михайлович! Будете писать, передавайте от меня привет Свете. Напишите, что в город я без «Волги» не вернусь.

Главбух Пашенко даже выронил веник, который держал под мышкой: до чего самонадеянная нынче молодежь.

— Ну, как вы с ним? — Ирина имела в виду Супарева.

— Пока ничего...

Она почувствовала, что муж не расположен говорить о своем заместителе: или он еще как следует не присмотрелся к нему, или вообще рано делать какие-нибудь выводы. Зато сам заговорил о Броевском, сказал, что тот просится к ним на участок рабочим.

— Ничего не скажешь, хорошие ты подбираешь кадры, — неодобрительно сказала Ирина. — Если честно, то мне не очень нравится твоя возня с этим артистом. Тебе не кажется, что не тебе, а врачам надо заниматься им?

Галич поморщился, но возражать не стал. Ирина взяла какую-то книжку, полистала ее:

— Послушай, что пишет один американский администратор: «Избавляйтесь от плохих работников». Стремление «ужиться с каждым» приведет вас к необходимости работать рука об руку с тупицами, бездельниками и никчемными людьми, которые проникают во всякую организацию и во всякое дело. Эти люди будут с восторгом играть роль

послушных исполнителей, но вы, их великодушный босс, с такими работниками ничего не достигнете. Подобные люди являются носителями лени, неэффективности и расточительности. Уживаясь с ними, вы отказываете себе в праве быть настоящим руководителем». Каково, а? Я предвижу, что ты скажешь: мы не можем выбрасывать людей за ворота проходной. Но что ты думаешь по существу?

— Я скажу, что мне везет сегодня на подобные разговоры: утром с Супаревым, сейчас с женой.

— Ты уходишь от ответа?

— Если тебе так уж хочется, то пожалуйста: в принципе этот американец в чем-то прав. Но если применить его метод на деле, то получится в обществе такая прослойка неприкасаемых, как касты, в старой Индии: ты — первосортный, ты — третьесортный.

— Зачем же так? Просто каждый человек, как это не горько для него сознавать, должен знать свое место. Ведь согласись: это ни в какие ворота не лезет, если человека держат на таком месте, которому он не вполне соответствует?

— Мы еще не настолько богаты, — сказал Галич. — Давай доспорим в другой раз. А сейчас собери мне, пожалуйста, белье: надо сходить в баню.

Галич, идя в баню, был немного не в духе. Ему казалось, что Ирина всегда и во всем понимала его, а оказалось, что нет. Вот и о Броевском не поняла. Болеет за меня, не хочет, чтобы на участок набирали кого попало. Но мы, действительно, не можем позволить себе роскошь брать на работу только самых лучших. И, вообще, правильна ли такая постановка вопроса? Как люди станут работать, это зависит от руководителя, от сплоченности коллектива. Броевский пьяница, но сумел взять себя в руки. Человек работает не в вакууме, он трудится среди себе подобных. Коллектив заставит его уважать и себя и свое окружение.

— Никита Борисович, на свеженину не заглянете? — пригласил Галича Панпадуло, когда он возвращался из бани.

— Ты что, уже успел с кабаном разделаться?

— А мы такие. В ворота — и нож под лопатку. Так как на свеженинку?

— Спасибо, в другой раз.

Галич вспомнил, как он говорил с женой Панпадулы. Этому бульдозеристу далеко еще до настоящей сознательности, но работать он будет неплохо. В другом месте он, возможно, столько и не зарабатывает. Опасается потерять место и будет стараться. А потом втянется в работу и покажет себя с самой лучшей стороны.

У Галича было ощущение, что Ирина не сказала еще чего-то главного, он видел это и по выражению ее глаз и по интонации. Переступив порог дома, он увидел сидевшего на стуле около печи Позднышева. Тот встал навстречу. Поздоровались. Позднышев, как положено, сказал: «С легким паром, — и добавил: — Так ты и в баню со своими ходишь».

— А почему бы не ходить? Один мудрец сказал, что ничто так не сближает людей, как баня и кабак.

— Что же ты второй пункт не выполнил? — вставила иронически Ирина.

— Представь, был случай пойти на свеженину, но пришлось отказать. Я примерный муж. Ты по делу или так? — спросил он у Позднышева.

— И по делу и так. Да я ненадолго. Сынишка у меня дома с бабкой. Пока мирятся, но возраст такой, что смотри да смотри.

— И как, смотришь?

— А как за ним смотреть: он в школе, я на работе. Сегодня встретил преподавателя, вежливо так намекнул, что парень с характером. Уже пытается верховодить в классе. Как бы приисковые мальчишки бока ему не намяли.

— Иногда и это на пользу.

— Странно слышать подобные высказывания от бывшего секретаря парткома. Воспитание методом физического насилия? А где же всеильное убеждение словом?

— В таком возрасте зачастую многое решается на уровне наших пращуров: кто сильнее, тот и предводитель.

— Пращуры, прошу за стол, — пригласила Ирина. — За отказ я тоже буду бить половником по лбу.

— В таком случае придется подчиниться, — засмеялся Позднышев и подсел к столу.

Ирина рассеянно слушала то, о чем говорили мужчины, а говорили они о строительном лесе, о железе для промприборов, о кадрах, которых может и не хватить с наступлением сезона. Надо через газету организовать это дело, написать статью, что ли, о перспективах развития прииска.

Галич не ошибся, когда думал, что Ирина не сказала ему чего-то более важного, чем их небольшой спор по поводу высказываний американского дельца. Она, встретив как-то на улице Магдалину Любарскую, однажды сходила к ней в больницу. Ирине дали халат, Любарская сама повязала ей на лицо марлевую повязку. «В детскую входить равносильно тому, что и в операционную. Должна быть полная антисептика».

Детская палата находилась в конце коридора. Около двери стоял синий кислородный баллон. Шланг от него шел в палату. В палате вдоль стены десяток миниатюрных кроваток с плетеными боковинками, но большинство из них пустовало. Ирина сразу обратила внимание на ту кроватку, что стояла чуть в стороне под стеклянным округлым колпаком, она очень напоминала большую хлебницу. «Кислородная палатка», — через плечо бросила Любарская. «Любочка, как наш мужчина?» — поинтересовалась затем докторша.

«Все в норме, Магдалина Викторовна. Только беспокойно спит. Сейчас вот собираюсь его перепеленать: обмочился мужчина», — сказала сестра, открыла колпак, взяла ребенка и понесла к столику. Ирина не сводила с малыша Любы глаз. Она до мельчайших подробностей запомнила все, что видела в это первое свое короткое посещение больницы.

Магдалина Викторовна объяснила Ирине, что роды у мамыши этого ребенка были трудные, родился он в белой асфиксии. Лишенный кислорода, он как бы весь высветился. Сейчас дела пошли на поправку, но понадобится еще время, чтобы исключить все возможные эксцессы. Ирина после этого не спала всю ночь, ей чудилось, что малыш задохнулся под стеклянным колпаком, и утром она снова побежала в больницу.

Сегодня Ирина расскажет мужу о беспомощном человечке, который живет под стеклянным колпаком. Но он выйдет из-под колпака в этот мир, который ему еще придется познать: может случиться так, что когда он подрастет, то узнает, что рожден он не той женщиной, которую называет «мамой». Может случиться и другое: чужая женщина однажды зайдет в их дом и предъявит права на него. Все может быть в твоей жизни, малыш, даже когда нет над тобой стеклянного колпака.

Супарев был рад и не рад известию, что у них теперь новая квартира. Его устраивало уже то, что его личная жизнь теперь не будет на виду у Галичей. Аркадий Филиппович с легким сердцем вышел от Галичей — прощайте, соседи! Ай да Галка, такое провернуть! Он неожиданно остановился: показалось, что во дворе была оставлена собачья конура. Нет, конуру перевезли. Памятуя, что в новом хозяйстве пригодится любой гвоздь, он стал шарить по двору. В сарае его внимание привлекли доски, их тоже надо забрать, мало ли на что могут пригодиться. Хотел взять доски на плечо, но они были тяжелые, да и нести доски по поселку Супарев посчитал не совсем приличным. А вот точильному бруску, что торчал в щели сарая, он обрадовался, точно это была невесть какая вещь. Он сунул брусок в карман и только после этого покинул двор без всякого уже сожаления.

С тех пор, как Супарев женился, он ни разу не бывал в магазине, где работала жена. Он словно игнорировал место их первой встречи, а ведь знал, как хочется Галке, чтобы он заходил сюда и встречал ее после работы. Аркадий как бы со стороны посмотрел на себя: белый полушубок стал непонятно уже какого цвета, валенки с желтыми подпалинами, на голове старая меховая шапка, козырек он нарочно отвернул так, что он нависал над глазами, борода задиристо торчала вперед, словом, хорош видик. Но именно в таком виде Супареву и хотелось заявиться в магазин: вот он приехавший к жене из тайги муж! Принимай, жена, его таким, какой он есть — пропахший кострами и смолой, почерневший от мороза. Входя в магазин, он сдернул с рук рукавицы-шубенки и рассовал по карманам.

Но на него едва ли кто обратил внимание — к таким нарядам здесь привыкли. Галина, завидев мужа, слегка охнула и опустилась на стул за прилавком. А потом встала и, подавшись вся навстречу Супареву, прижалась животом к прилавку..

— Приехал? — только и спросила она.

— Как видишь, — сказал Супарев.

— Устал?

— Есть немного. А ты как? Слышал, теперь у нас новая квартира.

— Ой, Аркаша, совсем из головы вылетело! Красота какая, сухо, тепло... Слышь, Аркаша, — тихо сказала затем Галка. — Дай сюда руку. Да не эту. Закрой глаза. Ну, прошу тебя, милый!

Супарев протянул руку и почувствовал прикосновение к пальцу холодного металла. Когда кольцо было надето, он посмотрел на него, потом на Галину. Та глядела на него и ждала, что он скажет, как отреагирует. В этом моменте, как казалось сейчас Галине, заключалась вся ее будущая жизнь. Супарев понял состояние жены. Не проявляя особой радости, не без иронии сказал:

— Окольцевала, значит?

— Теперь ты у меня меченый, — в тон ему ответила Галина. — Чтoб видели...

— Ну, ну, — усмехнулся Супарев. — Может, отпросишься сейчас домой, покажешь новую квартиру?

Окончание следует.

ИДУ ПО ФЕСКО

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ¹

ОДИНОЧЕСТВО ДВОИХ

Мы в калифорнийском порту Лонг-Бич. Каждый день приносит новые знакомства и впечатления. Идут и идут на судно американцы, желающие поближе узнать, что за народ — советские русские. Среди гостей немало американцев русского происхождения, по большей части это потомки молокан и духоборов, покинувших родину задолго до революции.

В субботу приезжает немолодой уже, стеснительный человек Степан Михайлович Заготин, рабочий с судовой верфи в Сан-Педро.

— Никто не желает проехаться по городу?

Два или три часа возил нас Степан Михайлович на своем скоростном «мустанге» по Лонг-Бичу, Сан-Педро и пригородам, рассказывая о Калифорнии и своей жизни. Родился он в Америке в 1920, во время войны служил авиамехаником в частях, базировавшихся на севере Индии. Участвовал ли в боях? Какое там, даже выстрела не слышал.

— Пили мы много. Делать нечего, дисциплина — слабая. Отстоял дежурство — и в бар. Где брал деньги? — Он усмехается. — Продавал на черном рынке сигареты и всякую чепуху, вроде мыла. Хватало... А ваши в это время били фашистов. Я, бывало, возьму карту, показываю хлопцам: глядите, как наши русские воюют! Из армии вернулся без специальности, зато виски пить научился крепко. Нашел работу, женился, но вскоре потерял и место, и жену. Превратился в «хэни-дринкера». Как это по-русски? Алкоголика? Ну, по-английски — то же самое...

— Но теперь не пьете?

— Даже пива. Хватит, наскитался. Как бросил? Нет, не больница, для нее у меня не было денег. Встретил женщину — она меня любила по-настоящему, а я был как все алкоголики. И вот однажды как-то утром взглянул на себя в зеркало — испугался. Говорю себе: хватит, Стив, то есть Степа. Хватит. И это...

— Завязал... — подсказал Иван с заднего сиденья.

— Завязал? Так вы это называете? —

удивился Степан Михайлович. — Хорошо, буду знать. Завязал!

Заготин замаялся, поглядывая на нас.

— Ребята, поедem к нам, попьем чаю? Жена очень хотела познакомиться с русскими.

Степан Михайлович развернул машину, и мы помчались, на обращая внимания на знаки, запрещающие движение свыше 55 миль в час. Заготины живут в небольшом коттедже на окраине Лонг-Бича. В гараже у хозяина хранятся моторка — как и всякий заядлый рыбак, он не преминул показать ее нам. А «мустанг» обходился без стойла, ночуя у крыльца.

Мы вошли в небольшую, уютную квартиру. На диване с книгой в руках сидит женщина лет пятидесяти, с бледным, добрым лицом.

— Ну, вот, Мэри, я и привел тебе их, — говорит Степан Михайлович. — Познакомься, это матрос — Иван, а это корреспондент газеты — Лев.

Хозяева усадили нас на диване перед столиком, подали пиво и чай. Мы разговаривали с хозяином, Мэри слушала с доброжелательной улыбкой.

— Вы понимаете по-русски? — спросил я ее.

— Два-три слова. Но мне приятно слушать, как вы разговариваете. У нас не часто бывают гости. И потом — я всегда уважала русских. — Мэри неожиданно осеклась, лицо ее побледнело. — В юности я читала Чехова, Толстого, Достоевского и хотела представить себе, какие вы, русские, красива ли ваша родина?

— Не волнуйся, Мэри, — тихо сказал Степан Михайлович по-английски.

— У меня сердце, — сказала она. — Бывает, не могу подняться на первый этаж.

Ваня попросил разрешения взять гитару и заиграл что-то очень простенькое и грустное, неумело перебирая струны. Мэри порывисто потянулась к нему.

— Поиграйте еще, пожалуйста, я очень люблю, когда играют!

— Раньше я занимался этим, — сказал Степан Михайлович. — Но с возрастом как-то все забывалось... Ничего уже не надо. А вот она...

— Прошла молодость, а я не видела русских, — продолжала Мэри. — Знала только по газетам. Космонавт Гагарин, маршал Жуков, балерина Павлова... Потом

¹ Окончание. См.: «Дальний Восток», 1975, № 10.

познакомилась со Стивом. Он ведь у меня тоже русский. — Она положила руку на плечо мужа. — Ты так хорошо играл на своей балалайке, Стив! И еще ты обещал познакомить меня с русскими. Ну-ка, скажи им, почему ты не сделал этого?

— Действительно, почему? — спросил я.

— Ваши пароходы только недавно стали ходить в Америку... И я не встречался с советскими русскими. Кто знает — какие вы? Как меня встретите? А недавно еду — идут ваши хлопцы из города с покупками. Остановил я машину — садись, русские! По-английски, правда, сказал. А потом и по-русски разговорились. Смотрю: обыкновенные ребята, вроде американцев — простые, веселые. Так и познакомилась. Хорошо бы в Россию съездить! — задумчиво сказал Степан Михайлович. — Мне дед рассказывал, какие там деревья, зеленая трава, чистая вода...

— Что ж, время не ушло.

— И я хочу тоже, — сказала Мэри, уловив все же смысл нашего разговора. — Хотя бы на русский пароход. Ты свозишь меня, Стив?

— Конечно.

— Приезжайте, пожалуйста! — пригласили мы хозяйку в один голос.

— Я буду, обязательно... — голос Мэри снова осекся, и она инстинктивно схватилась рукой за сердце. — Я приеду, если буду чувствовать себя хорошо, — сказала она неуверенно.

На следующий день я попросил вахтенного у трапа, чтобы он сообщил мне, когда прибудут супруги Заготины. У нас было что показать и встретить их с русским гостеприимством.

Но они не приехали ни в этот вечер, ни в следующий. А потом мы ушли в Сан-Франциско.

ПАПАША МИЛЛ И «МИСТЕР ИЛЛ»

В Лос-Анжелес нас привез Роберт Милл, высокий, худой старик, похожий на плакатного Дядю Сэма, только без бородки. Несколько лет подряд Роберт берет уроки русского языка у старой эмигрантки и говорит по-русски вполне сносно.

— Я дал слово чисто разговаривать по-русски, если даже мне придется для этого учиться до восьмидесяти лет, — заявляет он.

Сейчас ему «всего 65», он получает пенсию у фирмы, в которой раньше работал, и продолжает работать в другой фирме, где занят три дня в неделю. На «Ованесе Туманяне» хорошо знают старика — в коридоре висит фотогазета, где он сфотографирован с нашими парнями, и тут же подпись:

Американец Роберт Милл
Для русских оказался мил...

Едва «Ованес Туманян» ошвартовался в Лонг-Биче, старикан легкой трусцой взбе-

жал по трапу и поздоровался с вахтенными.

— Добро пожаловать, друзья!

— Здравствуйте, Роберт Милл!

По всему видно: старик бескорыстно уважает русских людей и щедро отдает им свое свободное время, предоставляя свою машину в распоряжение команды. Папашу Милла приглашают за стол в кают-компанию, он с удовольствием наливает себе борщ и рассказывает новости. Впервые, сообщает он, Маргарет Тэтчер стала главой консервативной партии в Англии, победив на выборах Эдварда Хита, а во-вторых, если мы знали мистера Фланнингэна, то он с печалью должен сообщить, что профессор недавно скончался от рака.

Маргарет Тэтчер нас не очень-то интересует, а вот Фланнингэн... Как же не знать его, большого друга советских моряков, председателя общества США — СССР в Лос-Анжелесе! Я встречался с ним в марте 1973 года, профессор приезжал тогда на теплоход «Иван Когляревский», мы познакомились с ним — у меня даже есть снимок: Фланнингэн в кругу советских моряков. Сколько раз организовывал он для наших моряков выезды в город, предоставлял автобус, устраивал встречи, с членами общества!

В машине, пристегиваясь ремнями к сиденью, Милл продолжал вспоминать о профессоре Фланнингэне.

— Он не говорил по-русски, но любил Россию, как Америку...

Удивительное дело: уже который день стояла холодная сырая погода, говорят, такой давно не наблюдалось в Калифорнии. «Что-то регулировалась там механика», — сказал папаша Милл, показав пальцем на небо.

После одноэтажных, утопающих в зелени пригородов показался так называемый «даунтаун» — центр Лос-Анжелеса — большая группа серых небоскребов, не оживленных фантазией архитектора. Улицы центра пусты, как бывает только в кинофильмах. Конторы в этот день не работали, а магазины здесь смещены к окраинам.

— Куда поедет: на мексиканский базар или в Голливуд? — обернулся к нам папаша Милл.

— Как вам удобнее.

Сегодня воскресенье; мексиканский базар, находящийся почти в центре города, шумит и сверкает разнообразием красок, как сорочинская ярмарка. Узкая улочка между длинными торговыми рядами кишит народом. Прямо среди толпы даются представления. Здесь старый мексиканец заставляет крутить сальто дрессированную мартышку; там папаша лет тридцати, в мексиканском национальном костюме показывает уважаемой публике двух своих сыновей — мужчин лет пяти-шести от роду. Оба, наряженные в ковбойские костюмы, с пистолетами на широких поясах, в широких сомбреро и сапожках на высоком каблуке,

отплясывают под музыку папашиного аккордеона. Деньги владелец мартышки и музыкальный папа собирают, обходя публику со шляпой в руках.

На небольшой площади за торговыми рядами расположился профессиональный национальный оркестр. Здесь мы с удовольствием постояли, послушав прекрасные мексиканские песни и темпераментную музыку.

И снова в автомобиль. Папаша Милл внимательно следит, чтобы сидящий на переднем сиденье пристегнулся, как и он, ремнями. Его чрезмерная осторожность нас смешит. Надо быть очень несчастным человеком, чтобы на такой широкой трассе с односторонним движением и ограниченной до 55 миль в час скоростью угодить в аварию. Но скоро мы убедились, что несчастных людей на свете немало — впереди нас внезапно образовался затор, туда с воим помчались полицейские машины и «эмбулэнс» — скорая помощь. На носилках понесли кого-то, накрытого белым. Но мы уже мчались дальше.

Городок Голливуд, расположенный у подножия невысоких гор, ничем не отличается от других американских городов, разве только тем, что здесь чаще повторяется слово «муви-стар» — на рекламных щитах, этикетках и даже на тротуарах. Во всю длину одной из улиц тротуары выложены бронзовыми отшлифованными плитками — по одной на «звезду» с ее именем.

Мы вышли у «Чайна-театр» — знаменитого не только тем, что здесь с давних пор идут первые просмотры новых «суперфильмов», но также и тем, что вся площадь перед ним украшена отпечатанными на бетоне следами туфель и обих рук кинозвезд с их автографами. Длинная, на целый квартал очередь тянется к билетной кассе, сегодня впервые демонстрируется «Годфадер-два», продолжение нашумевшего в последние два года «Годфадера» — фильма о нью-йоркской мафии по бестселлеру Марио Пузо. Цены на вход в кино колеблются в Америке от трех до пяти долларов. И в обычное время при показе «обычных», а не «суперфильмов» кинотеатры полупусты. Недаром киномагнаты выжимают все что можно из оправдавшего себя нового сюжета: кроме «Годфадера-два» рекламируется «Аэропорт-75», продолжение «Аэропорта» по известному роману Артура Хэйли.

Смеркается. Пора домой. Мы поколесили по улицам Голливуда, и папаша Милл остановился перед книжным магазином.

— Кажется, здесь продают русские книги.

Владелец магазина — лысый человек, с крючковатым носом — заулыбался нам навстречу.

— Русские господа? Прошу вас, прошу, проходите. — Он говорит почти без акцента. Разговаривавший с ним молодой человек, взглянув на нас, молча повернулся к выходу.

8 «Дальний Восток» № 11

— Зайди вечером, сынок! — крикнул ему по-английски хозяин. — Что-нибудь имеете намерение купить?

— Если можно, мы только посмотрим.

На полках стоят антисоветские подделки.

Здесь все ясно без слов и объяснений.

— Так будете что-нибудь брать? — в голосе хозяина звучит издевка.

— Нет, не будем.

— Ну, конечно, для вас книги слишком дороги! — Хозяин, усмехаясь, рассказывает, что вот у них, в Америке, цены ничего не значат, ведь живут здесь прекрасно.

— А восемь миллионов безработных?

— И они тоже живут прекрасно! — без тени смущения заявляет он.

В машине папаша Милл смущенно сказал:

— Я не думал, что он такой... «Ил-нэй-чуред». Как это по-русски?

— Ехидный, — сказал я. — Мистер «Илл»!

— Вот именно — ехидный мистер Илл...

Вырулив на фривэй, он нажал на акселератор, и машина помчалась, глотая мили. Папаша Милл расстроен и почти всю дорогу молчал. Прощаясь с нами, он заметил.

— Вот видите: есть люди, которые не говорят по-русски, но любят Россию, как Америку. А есть, которые говорят и по-русски, и по-английски, но не любят ни Россию, ни Америку. Извините. До свидания.

— До свидания, Роберт Милл! Кому-то, а вам мы всегда пожмем руку. И будем помнить так же, как профессора Фланнигэна.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ДЖОАН АПОДАКА

Они появились у трапа в пасмурный прохладный вечер — не повезло нам на этот раз на погоду в солнечной Калифорнии! Впереди шагал девятилетний крепыш Бобби и нес на руках босоногую трехлетнюю Кристину, за ними шли двенадцатилетняя Сандра — черноглазая, в шегольском красном пальто из искусственной кожи и ее младшие братья Мигель и Сантос — такие же смуглые, белозубые, быстрые. Последними были четырнадцатилетняя блондинка Кэти, двадцатилетний Родригес — типичный мексиканский юноша, с баками и усиками и, наконец, сама Джоан Аподака — стройная, светловолосая учительница, лет тридцати трех, с печальными, вдумчивыми глазами. Вахтенные у трапа наш матрос Леня Закиров и американский ватчман 55-летний пенсионер Джим с улыбкой пропустили семейство на теплоход.

— Если можно, я хотела бы познакомить своих детей с русскими, — сказала Джоан вахтенному помощнику.

— Добро пожаловать!

Я подхватил на руки босоногую малышку — она и не думала пугаться! На вопрос, где она живет, ответила:

— Дома...

— А где твой дом?

— Уимита...

— Вилмингтон, — улыбнулась Джоан.

Вслед за мною дети и Джоан прошли по палубам теплохода, поднялись на мостик, потом с разрешения «деда» спустились в машинное отделение. Мальчишки трогали блестящие детали дизеля, пытались незаметно крутнуть какой-нибудь маховичок, измазались в мазуте — на них покрикивала строгая Кэти.

После экскурсии все собрались в просторной каюте старшего механика. Детей мы угостили конфетами, взрослым поставили бутылку тропической «Гымзы». Мы все никак не могли понять, что за ребят привела с собой учительница. На детский сад — непохоже, на школу — тоже.

— Это ваши дети? — решил я задать не очень тактичный вопрос.

— Мои, — ответила Джоан.

Допытываться дальше было неудобно, хотя вопрос остался невыясненным: для ее возраста шести детей, пожалуй, многовато, к тому же половина их англо-саксонского, а другая явно мексиканского происхождения.

Скоро дети освоились как дома. Я спросил Кристину, кем она будет, когда вырастет, и она ответила.

— Тиче... Учительницей.

На этот же вопрос брат ее ответил, что будет «копом».

— Копом?

— Полисменом, — перевела Джоан. — Ах, да, в Америке полисменов зовут копами, как же я забыл!

Сантос и Мигель хотели стать моряками. Старший — Родригес — погладил Мигеля по голове.

— Лишь бы не безработным. Я полгода ходил без работы, — сказал он нам. — Жил на пособия, на днях работу дали. Не знаю только, надолго ли.

— В этом году очень трудно получить работу, — сказала Джоан. — Особенно мексиканцам.

О новой волне безработицы мы уже знали из газет и передач по телевидению. «Лос-Анжелес тайме» сообщала в этот день, что приняты срочные меры для предоставления работы 6200 безработным. На первой странице газета поместила фотографию задумавшегося Алана Гринспана, руководителя группы экономических советников президента Форда, который «надеется на ожидаемый подъем экономики». Фотограф заснял Гринспана, когда тот заложил ногу за ногу, и на снимке ясно видна дыра на подошве ботинка экономического советника. «Аскетизм?» — иронически вопрошает подпись под снимком. Конечно, Гринспан может позволить себе роскошь ходить в продырявленных туфлях и демонстрировать их перед безработными читателями. Если б только этот «аскетизм»

мог ликвидировать проблему безработицы в штате и всей стране!

— Скажите, а вы можете прийти к нам в гости? — спросила Джоан, взглянув на часы.

— Конечно.

— Вас свободно отпускают в город? — удивилась учительница. — Простите, — смутилась она, — я слышала другое, но если вы можете, то поедемте сейчас?

В гости к Джоан собрались старший помощник Валерий Шишкин, повар Петя Местковский, матрос Паша Челябин и я. Учительница приехала на своем микроавтобусе «фольксваген». Вместе с детьми мы разместились там, как говорят, в тесноте, но не в обиде. Мальчишки сразу запели песни, на этот раз им помогла и Кристина — ехать было весело.

Маленький городок Вилмингтон не сияет огнями реклам, как Сан-Педро или Лонг-Бич. Живет здесь, в основном, рабочий люд, много мексиканцев. Джоан Аподака остановила автобус перед небольшим коттеджем. Открыв тонкую дверь, сразу войдишь в гостиную, из которой ведут двери в спальню, кухню и ванную. Пол в гостиной покрыт толстым ковром, но, как мы уже заметили, в американских домах не принято переобуваться в прихожей, даже если на улице сыро. Дети всем скопом ввалились за хозяйкой, не снимая обуви. Остались в ботинках и мы, хотя, говоря по правде, предпочли бы переобуться по русскому обычаю в домашние тапочки.

На одной стене небольшой, со вкусом обставленной комнаты прикреплено несколько детских рисунков с подписями-каракулями: «Любимой Джоан», «Дорогой нашей Джоан», на другой — кусок грубошерстной ручной выделки ткани и на нем портрет индианки. Также подарок, пояснила хозяйка. Еще одна-две оригинальных, нефабричных вещицы — и ничего лишнего. Низкий стол, диван, рабочий столик. Телевизора нет ни в комнате, ни в спальне.

— У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на «ти-ви», — говорит Джоан.

Старшие дети вместе с нею уже хозяйничают на кухне. К гостям явно готовились. На столе появляются фаршированные блины, жареные цыплята, чаши сладкого желе, соленая капуста, спагетти, фруктовая вода, пиво. Дети сами накрывают стол, хозяйничают на кухне, обращаются к хозяйке, как к равной.

— Джоан, готовить кофе?

— Джоан, куда ты спрятала вилки?

Она ведет себя с ними без малейшего оттенка превосходства. Кэти включает магнитофон, и пока одни хозяйничают, другие танцуют. Дверь то и дело открывается, приходят все новые мальчишки и девочки, приносят какие-то кушанья, ставят их на стол и, поприветствовав нас, удаляются. Мне нравится Сандра — в ней уже видна красивая девушка. Черные глаза, точеный носик, круглое лицо и кудрявые волосья, спадающие на воротник модного пальто.

— Сандра, почему бы тебе не раздеться? — говорю я ей. — Ведь тепло, правда? — Она молча пожимает плечами.

— Тебе холодно? — спрашиваю я снова, проявляя этим, как догадываюсь потом, обычную бесчувственность взрослых в отношении с подростками.

Сандра нехотя снимает с себя красивое пальто и становится бедно одетой девочкой. Только теперь я понимаю, что лишил ее возможности чувствовать себя красивой в присутствии наших парней.

— Джоан, я думаю, можно начинать, — говорит Кэти и приглашает всех за стол. Дети с аппетитом уплетают праздничный ужин, да и нам кушанья нравятся, особенно блины, фаршированные сильно заправленными специями мясом и желе.

— Откуда все эти ребятишки? — спрашиваю я у Джоан.

— Это все мои хорошие друзья, мои соседи.

— Они чувствуют себя у вас прекрасно, — говорит Валерий Шишкин.

— И мне хорошо с ними.

— Они вас совсем не боятся!

— Я думаю, не стоит подавлять ребят, пусть они развиваются свободно. Только так они вырастут свободными, уважающими себя людьми. Вы согласны?

— Пожалуй, это правильно, — соглашается старший помощник. — Между прочим, в Японии воспитывают детей на таких же принципах: их никогда не наказывают.

— Принуждение сделает из ребенка раба, — сказала Джоан. — Он вырастет рабом или деспотом.

Поев, дети быстро наводят порядок на столе и в кухне, и куда-то собираются.

— Куда вы торопитесь, ребята?

— На каток, — отвечает Кэти. — Хотите с нами?

Джоан рассказывает о себе. Отец и мама живут в Лос-Анжелесе, оба они коммунисты. Она член демократической партии, за что ей неоднократно попадало в спорах от отца. В юности занималась балетом, закончила университет, стала учительницей, попросила работу в бедном районе Вилмингтона, где преподает английский язык. Автобус у нее — специально для детей, в обыкновенную машину много ли посадишь, а так она возит целую ораву.

— Я люблю бедных детей, — говорит она. — Посмотрите, какие они все опрятные, чистосердечные. Хочется, чтобы все они выросли хорошими, честными гражданами Америки.

— И часто они у вас бывают?

— Почти каждый день. Они мне не мешают. Когда мне некогда — они заняты своим делом: рисуют, вышивают, играют на улице, а потом я освобождаюсь и присоединяюсь к ним.

Мы стали прощаться. Петя Местковский как опытный кулинар похвалил ужин.

— А какие блюда вам понравились больше всего? — спросила Джоан.

— В общем, все было хорошо сделано, но фаршированные блины — лучше всего.

Джоан сказала:

— Знаете, это приготовила мать Сандры. Она узнала от детей, что мы собираемся пригласить русских моряков и сделала все сама.

— Передайте ей большое спасибо. И передайте Сандре, что ей очень идет красное пальто.

— Этого я сказать не могу, — улыбнулась Джоан. — Пальто я ей подарила, потому что стоит холодная погода, идет дождь, а у них с Мигелем не в чем ходить в школу. В эти дни многие дети бедняков сидят дома — нет плащей.

— А кем работает отец у Сандры?

— Отца нет, только мать. Трое детей. Живут на пособие.

Так вот кто нам приготовил лучшее блюдо ужина! Я попросил Джоан провести меня к матери Сандры, чтобы поблагодарить ее перед отъездом. Дом мексиканской семьи был рядом с коттеджем Джоан. Мы вошли в небольшую комнату. Единственной мебелью в ней был телевизор, перед которым на полу сидела Сандра и двое ее братишек.

Увидев нас, Сандра смутилась и вскочила на ноги. Вышла ее мать — молодая еще, крепко сбитая, черноглазая мексиканка. Я выразил ей признательность от имени группы советских моряков. Мексиканка покраснела, совсем как русская женщина.

— Ю ар велкам — всегда пожалуйста, — твердо выговаривая английские слова, сказала она и показала на Джоан. — Это она нам рассказала о русских. Она сказала, что вы хорошие люди. И мы ей верим...

«ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»

Свидание с Джеком Лондоном — вот что означала для меня швартовка в Окленде... Я думал об этом свидании, когда теплоход «Иван Котляревский» входил под арку моста «Голден Гейт Бридж» в апреле 1973 года, а потом швартовался у пыльного контейнерного терминала в Окленде. Наутро на судно прибыл Гарри Миленди, вице-президент Сан-Францисской конторы ФЕКСКО-ЛАЙН, полный, с брюшком, энергичный предприниматель, обеспечивающий интересы нашего парохозяйства в части контейнерных перевозок. Энергия так и излучалась из глаз этого верткого человека, он очень спешил, то и дело вытирая лысину, и, по всему видно, был необыкновенно занятым серьезными делами человеком. Тем не менее я решил обратиться к нему за помощью, так как других возможностей у меня не было.

Он приятно улыбнулся, разводя руки.

— Мистер Лэф, очень приятно слышать, что вы уважаете память Джека Лондона. Я тоже очень его люблю... Но сегодня ва-

ше судно уходит, и мы вряд ли успеем... Вот если бы вы приехали еще раз — это очень легко организовать!

И надо же было так случиться, что мне удалось пойти точно по тому же маршруту через несколько дней после того, как я возвратился во Владивосток. В первый рейс по калифорнийской линии ФЕСКО отправился только что построенный контейнеровоз «Александр Фадеев». Руководство пароходства решило рассказать о его работе широкому кругу читателей — и газета «Водный транспорт» направила меня в новую командировку.

Мы пришли в Сан-Франциско из Лонг-Бича, где в честь первого прихода контейнеровоза был банкет и в числе присутствовавших на нем оказался прилетевший специально ради этого случая мой добрый знакомый Гарри Миленди. Как всегда, он очень торопился, и, когда я напомнил ему о его обещании, без особого воодушевления сказал, что посмотрит (Ай вилл чек!), что можно для меня сделать. Он улетел на самолете, чтобы встретить нас в Окленде.

Теплоход швартуется у знакомого причала. Я с нетерпением жду: из литературы и по слухам деловые люди отличаются пунктуальностью. Да я и сам уже убедился в этом. «Значит, на этот раз побываю у Джека Лондона», — думал я.

Но настал вечер, а Гарри Миленди не появлялся. Он прибыл на теплоход лишь на второй день, когда у нас был снова организован представительский обед, на котором встретились деловые люди, в той или иной мере связанные с контейнерными перевозками, осуществляемыми судами нашего пароходства. «Диннер парти» проходил в кают-компании. Стулья убрали, в одном углу организовали нечто вроде бара, где наша миловидная буфетчица Алла и матрос дневальный Юра готовили для гостей коктейли и закуски.

Гарри Миленди опять был очень занят, и я постеснялся обратиться к нему со своим пустяковым вопросом. Пусть деловые люди занимаются делом. Тем более так совпало, что в этот день у Гарри был день рождения, он одновременно с деловым обедом праздновал и эту дату: ему сегодня было не до Джека Лондона.

Но зато ко мне подошел другой американец — рыжеволосый, молодой, с острым взглядом, тоже очень энергичный и верткий.

— Мистер Лэф, — сказал он, подавая мне визитную карточку, — слышал, вы хотите побывать в музее Джека Лондона? Я живу в двух шагах от него...

На визитке был его адрес: Чарльз Сейферт жил в Окленде на площади Джека Лондона!

— Я могу после банкета провезти вас на машине, — сказал он. — Это всего в нескольких минутах езды от порта, и мне ничего не составляет...

— Спасибо, большое спасибо, мистер Сейферт, — воскликнул я, пожимая его влажную ладонь.

— Невер майнд. Ничего не стоит. Изовите меня просто Чарли, — он как-то странно подмигнул мне, покосившись на буфет. — Мистер Лэф, к чему разговоры — дайте мне бутылку водки и дело в шляпе!

— Бутылку? — поразился я такому прозаическому обороту дела. Подошел к Алле и попросил у нее бутылку водки. Чарли сунул ее во внутренний карман пиджака и, заговорщически подмигнул мне, ушел, придерживая оттянувшуюся полу. Он спустился по трапу, сел в свою блестящую лаком машину и, махнув мне многообещающе рукой, включил газ.

В этот день я долго ждал его возвращения. Свободные моряки поехали в Сан-Франциско, чтобы осмотреть город перед уходом, намечавшимся в восемнадцать часов, а я все ждал своего Чарли.

Но так и не дождался. Свидание с Джеком Лондоном снова не состоялось.

Но недаром говорят: гора с горой не сходятся, а человек... Ни я, ни Чарли Сейферт не рассчитывали, конечно, что нам придется увидеться всего через два месяца. Осенью 1973 года в Находку прибыла делегация порта Окленд. Возглавлял ее мэр города Джон Х. Ридинг, были там президент совета комиссионеров порта Томас Беркли, члены совета Тэд Конноли, Роберт Мартенсен, Бен Наттер и директор отдела внешних сношений... мой старый знакомый Чарльз Сейферт.

Надо ли говорить, как мы оба были поражены, столкнувшись на другом полушарии нашей тесной старушки Земли!

— О, мистер Лэф, удачно получилось, что мы встретились! — не очень искренне воскликнул Чарли, стискивая влажными ладонями мою руку. — В тот раз я искал вас — представляете? — не мог найти... Но если бы вы еще раз пришли в Окленд...

— К сожалению... — Я пожал плечами.

— Если вдруг случится, — его острые глазки улыбались, — тогда, пожалуйста, известите меня. У вас есть моя визитка с телефоном?

Прошло почти два года — и вот на борту теплохода «Ованес Туманян» я снова вхожу, в знакомую бухту. Швартуемся не в Окленде, а рядом, в Аламиде. Стоянка предстоит более длительная.

На судно прибыл молодой президент агентства ФЕСКО-ЛАЙН Джеймс Вильямс. Он не выглядит беспредельно занятым человеком, но как-то незаметно успевает решить дела, обеспечив для судна все, что необходимо, и, кроме того, помогает организовать поездки экипажа по городу. Я даю ему визитку Чарли и прошу сообщить ему, что я здесь и жду его на судне.

— О'кей, — говорит Джеймс, — я позвоню ему сейчас же.

Чарльз Сейферт не приехал ни сегодня, ни завтра, ни в день отхода.

Но я понял его и решаю сам отправиться на площадь Джека Лондона. Мы приехали туда с капитаном судна в пасмур-

ный февральский день. Ветер с залива Сан-Франциско морщит воду в канале, с листьев пальм у ресторана «Морской волк» стекают капли дождя; мохнатые елки у края площади роняют слезы на приткнувшееся у их подножия обыкновенное таежное зимовье, одно из тех, в каких я не раз ночевал, собирая орехи у подножия Баргузинских голцов или виноград в уссурийской тайге. Строение будто съежилось, конфузясь непривычной обстановки здесь, посреди асфальта и бетона американского города.

У входной двери зимовья — бронзовая табличка с надписью:

«Хижина Джека Лондона. Установлена на площади 1 июля 1970 года. Джек Лондон жил в этой хижине, когда искал золото на Аляске, в Клондайке в 1897 году. Хижина стояла на северной оконечности ручья Гендерсона на территории Юкона, была обнаружена в июле 1968 года и подлинность ее удовлетворена Юконской конторой по охране исторических мест и памятников. Порт Окленд приобрел хижину и перенес ее на площадь Джека Лондона в память о человеке, который обогатил мир своими рассказами о Клондайке...»

Я заглянул внутрь: обычная обстановка зимовья — нары из жердей с брошенной поверх охапкой сена, снегоступы, очаг, керосиновый фонарь... Эти обычные вещи знаменитого писателя пережили его, чтобы сохранить о нем память у потомков.

У самого края площади уверенно закрепилось столь же необычное на фоне современных домов и реклам деревянное строение с романтической вывеской «Первый и последний шанс». Мы входим в полутемное помещение, в нем несколько столиков, длинный бар с высокими круглыми стульями перед ним. За стойкой улыбается седой красавец богатырского роста и сложения.

— Степ даун, плиз. Входите, пожалуйста.

Позже мы узнаем, что это не просто фраза — она пароль этого заведения, ставшего известным в связи с именем Джека Лондона. Бар был открыт почти сто лет тому назад Джоном Хейнольдом и остался сегодня единственным строением в Окленде, не изменившим своего вида с тех далеких лет.

«Если бы мы вошли в бар Хейнольда в 1888 году, мы могли бы увидеть мальчишку лет двенадцати — гибкого, с волевым лицом и копной взъерошенных волос, сидящего в дальнем углу за чтением большого словаря Вебстера», — пишет в своей книге «Первый и последний шанс»¹ американский автор Отта Доннер Верин, написавший историю бара и посещавших его людей. Этот мальчишка родился в январе 1876 года в Сан-Франциско, — рассказывает автор, — а затем с родителями переехал в Аламиду. Звали его — Джеки Лондон.

Семья перебивалась с хлеба на воду — мальчишка часто собирал плавник на берегу залива для отопления дома или металлолом, который тоже помогал поддерживать существование семьи. А в свободное время он забирался в укромное местечко где-нибудь на причале или на мосту через канал и читал там карманный словарь Вебстера, содержавший немало полезных историй. Там его и заметил Джон Хейнольд, пригласил к себе в бар, накормил, указал место в углу возле печки и подарил большой словарь.

Джон Хейнольд, владелец маленького салона в Окленде, решил перенести свое заведение ближе к береговой черте и купил за десять тысяч долларов ночлежку рабочих устричных отелей, затем нанял несколько судовых плотников и переделал здание, используя для материала списанные китобойные шхуны. 1 июля 1883 года он открыл свой «Первый и последний шанс», в котором работал сам около полувека, а затем владельцем стал его сын Джордж Хейнольд, сохранивший в неприкосновенности традиции этого заведения, привлекавшего не только китобоев, рыбаков, моряков и авантюристов всех мастей, но и многих известных писателей, поэтов, артистов своей романтичностью...

Растрепанный мальчишка, ставший навсегда баром, сидя в уголке не только читал, но и выслушивал здесь такие истории, каких ему не рассказали бы в другом месте и за сто лет. В тот год, когда он впервые пришел сюда, к Хейнольду навещался сухошавый, черноволосый человек, которого звали Роберт Луис Стивенсон. Джека Лондона представила известному писателю как некую достопримечательность: мальчишка поражал всех своей начитанностью и необыкновенной памятью.

Роберт Луис Стивенсон был в Окленде проездом: на своей яхте «Каско» он отправлялся в южные моря в тщетной надежде излечиться от губившего его туберкулеза. Неизвестно, запомнил ли он волевого, внимательного паренка, ставшего в дальнейшем, пожалуй, не менее известным, чем он сам, писателем, но Джек его не забыл, и когда построил свой «Снарк», то отправлялся в южные моря именно с того причала, где швартовалась «Каско» Стивенсона.

Высокий, седой красавец, стоящий сегодня за стойкой — Дж. Джордж Хенегер — в юности был моряком, прошел все моря и океаны, а в баре работает уже больше сорока лет и знает о Джеке Лондоне гораздо больше, чем написано в биографиях. С располагающей улыбкой он предлагает нам поднять рюмки за большого писателя Америки.

— Жаль, что вы пришли утром, вечером я не дал бы вам так уйти. Там, где бывал автор «Джона Ячменное Зерно», не полагается изображать из себя трезвенников. — Хенегер добавляет: — Если посетитель уходит рано, ему кричат вслед: «Эй, парень, пошатайся немножко, пусть

¹ Отта Доннер Верин. Первый и последний шанс. Хастингс, частное издание, 1974.

прохожие не думают, что в баре Хейнольда разучились угощать!»

Старик Хейнольд в свое время занимал Джеку деньги для учебы в университете, помогал ему и потом в тяжелые дни. Здесь Джек познакомился и подружился с капитаном Александром Мак Лином, командовавшим шхуной, прозванной «Адский корабль», и послужившим прообразом для известной повести «Морской волк». Однажды капитан вернулся из одного из своих полупиратских плаваний и, пришвартовавшись, зашел выпить в бар Хейнольда. Здесь он разговорился с Джеком и сказал ему, между прочим, что несколько человек из команды не довольны расчетом и собираются проучить его.

— Хотел бы я посмотреть, как они это сделают! — захохотал он, показав увесистый кулак.

Капитан Мак Лин досидел до закрытия бара, после чего отправился на свою шхуну.

Между тем двое недовольных им матросов наняли за пять тысяч долларов профессионального боксера-тяжеловеса с условием, что он постарается сделать из их капитана отбивную. Встретили они Мак Лина неподалеку от бара. Капитан выхватил револьвер и сказал, что, если они собиравались избивать его компанией, он вынужден будет перестрелять их.

— А если у вас есть смельчаки выйти со мной один на один — я готов! — С этими словами он сунул за пояс пистолет и снял куртку. Матросы вытолкнули вперед тяжеловеса. Через десять минут чемпион, избитый до неузнаваемости, лежал в глубоком нокауте, а капитан вернулся в бар и потребовал у Джонни Хейнольда бутылку виски.

Когда Джек Лондон вернулся из семимесячного плавания по Берингову морю, ему рассказали эту историю. Он сел в том самом углу, где в детстве читал словарь Вебстера и принялся писать «Морского волка».

— Он умел работать, наш Джек! — говорит Хенегер, поднимая палец. — Кое-кто не прочь назвать его пьяницей, но это неправда. Хотел бы я видеть алкоголика, который, прожив на свете всего сорок лет, начав жизнь с разносчика газет, сумел бы самоучкой стать писателем и создал 53 тома, переведенных на шестьдесят языков мира!

Большой портрет Джека Лондона украшает одну из стен этого необыкновенного бара. В углу на столике и сегодня лежит словарь Вебстера и Книга отзывов, в которой расписываются посетители, почтители памяти писателя, создавшего здесь не только «Морского волка», но так же и «Зов предков», «Джон Ячменное Зерно» и другие известные произведения. Стены и потолок бара сплошь покрыты визитными карточками, скопившимися здесь за много лет.

Джек Лондон никогда не забывал о бармене, поддерживавшем его в бедности. Хе-

негер дает нам прочитывать подлинник его письма Джонни Хейнольду.

«Дорогой Джонни!

Я рад, что тебе понравился материал, напечатанный в «Сатердей ивнинг пост». Дальше я расскажу в повести много хорошего о тебе. Ты должен знать, что я помню, кто занял мне деньги на учебу, и описал все это в повести.

Да, а когда ты собираешься навестить нас на ранчо? Я все время жду твоего визита и буду разочарован, если ты не приедешь.

Искренне твой —

Джек Лондон».

— Это было его последнее письмо, — говорит Хенегер. Вскоре Джека не стало. Бармен наливает рюмку виски и чокается с нами.

— Выпьем за дружбу! Наш Джек умел ценить дружбу, он был настоящий американец!

Ну что ж, русские тоже умеют ценить дружбу. И мы помним и любим настоящего американца Джека Лондона.

ЕЛОЙ ТРУХИЛЬО. ДОКЕР ИЗ АЛАМИДЫ

— Здесь один человек обещал приехать утром в субботу и прокатить нас по Сан-Франциско, — сказал третий штурман.

— А кто он, этот человек? — спросил я, достаточно уже узнав цену некоторым обещаниям.

— Не сомневайтесь, он не бизнесмен, а докер, — засмеялся Алексей Николаевич. — Он из тех ребят, что нас выгружали.

В субботу ровно в десять утра по крутому трапу на палубу поднялся смуглолицый, с усиками, пожилой человек, в шляпе и кожаной куртке. Зажав в зубах толстую сигару, он улыбался встретившему его третьему штурману.

— Я готов. Где ваши люди, мистер Алекс?

Его «матадор» стоял за углом склада.

— Дрянная машина, — проворчал Елой, открывая двери. — Она слишком тесная для пятерых, да?

— Что вы, в самый раз! — поспешили мы его заверить, усаживаясь в мягкие сиденья. Он еще поворчал, проверил, как мы устроились, мимоходом поправил чехлы, и мы поняли, что старик ворчит больше из гостеприимства.

Мы быстро проскакиваем одноэтажную, уютную Америку, ныряем в тоннель под каналом, мчимся мимо площади Джека Лондона: над рестораном «Морской волк» поворачиваются на высоком, как мачта парусника, шпиле светящиеся инициалы писателя: «Д» и «Л». А вот и «Скай-Лайн» — Небесная линия: мост прыгнул на четырнадцать километров, приземлившись только однажды на «Острове Сокровищ», почти в середине залива. С высоты моста открывается панорама огромного водоема с раз-

брошенными по его берегам городам района Большого Сан-Франциско. Дальняя оконечность залива тонет в тумане, а ближе к узкому входу голубое стекло воды порвано бурными скалами Альтаграпа, небольшого острова, коронованного башнями бывшей тюрьмы, из которой за время ее существования сумел убежать лишь один заключенный. Недавно Альтаграп стал известным всему миру, потому что его захватили индейцы, борющиеся за свои права. Борьба их закончилась, как это обычно бывает в США, безрезультатно, а печально знаменитый остров был включен в число «энтертейнментов» — предприятий туристской индустрии. И сейчас сверху виден «ферри боут», возвращающийся с туристами с острова в Сан-Франциско.

— Куда поедем вначале? — спрашивает Елой Трухильо. Я обернулся к своим товарищам — те пожали плечами: не все ли равно, с чего начинать.

— В таком случае — на Голден Гэйт, — решил водитель.

«Матадор» промчался узким ущельем между небоскребами Маркит-стрита, рыкнув трехсотсильным мотором, выскочил на крутой склон улицы, так похожей на нашу владивостокскую. Четверть часа спустя мы подъезжали к мосту через Золотые Ворота, где установлен бронзовый монумент инженеру Штраусу. Поставив машину на платную стоянку, проходим на мост, объявления на котором предупреждают, что каждый человек находится под телевизионным наблюдением и поэтому недопустимые действия повлекут за собой судебную ответственность.

Залив далеко внизу. Грузовой теплоход держит курс на выход в океан, оставляя по корме тающий треугольник пены, чайки летают ниже нас, и оттого кажется, что мост тоже парит в воздухе.

— Вчера отсюда бросилась девятнадцатилетняя девушка, ее подобрала рыбаки, — Елой Трухильо флегматично жует сигару. — Первая оставшаяся в живых за последние двадцать лет.

— Вечером ее показывали по телевидению, — говорит Леня Закиров.

— Для репортеров это находка, — Трухильо швыряет вниз сигару, и она летит к воде, исчезая из вида, прежде чем достигает поверхности. — Пусть бы лучше они научили ее, как жить в наше время. Молодые люди слишком торопятся с решениями. — Он произносит слова веско, как человек, давно и прочно усвоивший законы жизни в обществе. — Человек должен уважать других, но и себя не давать в обиду. Не уважаешь меня — не жди моего уважения. Приходит время — и люди тебя понимают, они становятся верными друзьями — в трудное время не дадут тебя в обиду.

Мы идем до самой середины моста; густой, многогрядный поток автомобилей катит в обе стороны, группы туристов фотографируются на фоне колоссальных конструкций, ветер с океана свистит в натя-

нутых тросах. Елой Трухильо раскуривает новую сигару, прикрываясь от ветра.

— Мы, лонгшормены Сан-Франциско, работаем на кораблях, приплывающих к нам со всех сторон света, и знаем, что думают простые люди во всем мире. Я знаю, что подают на обед индонезийским морякам и как ругается русский боцман, если у него непорядок в такелаже...

— И как? — заинтересованно спрашивает Леня Закиров.

— Не перебивай, когда говорит человек, проживший больше твоего отца, — веско заканчивает Елой. — Я был знаком со многими — и скажу, что ни одно знакомство не пропало для меня даром: я учился у людей их мудрости и в конце концов сам стал кое-что понимать в этой жизни.

Я переводил монолог, не без интереса присматриваясь к нашему новому знакомому. По всему чувствуется: этот простой докер немало размышлял и хочет поделиться своими выводами, чтобы услышать мнение других людей.

В этот день Елой Трухильо немало повозил нас по городу. Мы побывали с ним в пышных, незамусоренных парках города, в том числе и в Голден парке, где я увидел Доску объявлений, о которой пишет в своей книге Бил Мойере, ту самую, с помощью которой родители пытаются разыскать сбежавших из дома подростков. Видели мы и несколько групп подростков, лохматых, оборванных, мутноглазых то ли от недосыпания, то ли от марихуаны. Они вольно расположились на зеленых лужайках, равнодушно поглядывая на прохожих и проезжающих. Может, среди них и те, кого разыскивают мамы и папы по всей Америке? С вершины Твин Пика мы полюбовались чудесным видом города, побывали у памятника Христофору Колумбу на Телеграфном холме, проехали по Китайскому городу, мексиканским, негритянским кварталам, а потом направились на Фишерман Ворф — Рыбацкую пристань, место на берегу залива, мимо которого не проезжает ни один турист.

К нашей машине подошел седой, голубоглазый человек, со свежим улыбающимся лицом, и, поздоровавшись с Елоем, повернулся к нам.

— Ребята, кто здесь русский? Здравствуйте! А я слышал, Трухильо собирался привезти русских. Здесь у нас местный комитет профсоюза, — показал он на здание с куполообразной крышей. И протянул руку. — Меня зовут Семен Иванович Данилов, я из молокан, здесь родился, но видите, русским остался.

Семен Иванович в самом деле выглядел как типичный русский и говорил почти без акцента. Узнав, что мы собираемся осмотреть рыбацкую пристань, он предложил вначале позавтракать, провел нас в полутемный ресторанчик, весь пропитанный аппетитными ароматами морских яств, и предложил нам выбирать, что кому понравится. Девиз на обложке преysкуранта: «Если

это плавает, у нас оно есть» — не слишком преувеличивает возможности рестораниста

— Не стесняйтесь, ребята, я угощаю! — ободряет нас Семен Иванович.

Чтобы не злоупотреблять радушием, мы не заказываем омаров стоимостью в восемь долларов, а обходимся пареной горбушей, жареным окуном и креветками. Обед на брата обходится вместе с чаем около пятнадцати долларов. Семен Иванович рассказывает, что в последние пять — шесть лет цены поднялись примерно в два раза. Сам он живет в Сан-Франциско со дня своего рождения. Квартира его — на Русской Горке, районе русских переселенцев. Работает Семен Иванович стивидором в порту, кстати, и сегодня день у него рабочий, но ради земляков можно и задержаться на пару часов.

— Эх, жаль, жена вас не увидит! — говорит он, узнав, что завтра мы уходим в рейс. — Ну что ж, был очень рад встретиться.

Елой приглашает нас зайти в здание на площади, где помещается отделение его профессионального союза.

Внутри здания просторный холл, предназначенный для всякого рода митингов и собраний. Поднимаемся на второй этаж застекленной диспетчерской, где в маленькой комнатке, украшенной крупными портретами Мартина Лютера Кинга, Роберта Кеннеди, а также плакатами с полуобнаженной кинозвездой, работают диспетчеры Сан-Францисского отделения Всемирного союза лонгшорменов и складских рабочих. Их двое — негр Винцент Перец и белый Джон Ховард. Узнав, что мы с русского парохода, Джон воскликнул:

— Трухильо, старина, молодец, что привез их сюда! Наши ребята хорошего мнения о русских моряках и, вообще, о России. Один момент, я сейчас вернусь, — говорит он, исчезая куда-то.

— Почему вы работаете в субботу? — спросил я.

— Наше дело — следить, чтобы никто из докеров не пользовался преимуществом перед другими и не был обижен в то же время. А работы на всех не хватает. Знают, надо, чтобы вы работали завтра, а он пусть работает сегодня. Это будет справедливо.

— А если ни сегодня, ни завтра?

— Вот почитайте, — подал он мне газету «Диспетчер», издаваемую союзом в Сан-Франциско.

«Нет» увольнениям лонгшорменов!» — называлась первая статья этого номера. Газета сообщала о переговорах, которые ведет руководство союза с предприятиями, чтобы добиться гарантированной занятости всем членам союза.

Вернулся Ховард. В руках у него десятидолларовая бутылка «Скотч» — виски, целлофановый мешок с битым льдом и еще мешок с пивом и бумажными стаканчиками. Мы спускаемся в большой зал, где собралось десятка полтора докеров. Ховард

предлагает желающим взять стаканчики и разливать каждому виски.

— Братя, мы хорошо знаем русских, — говорит он, обращаясь к докерам. — Многие из вас, как Елой Трухильо, помнят их еще со времен войны, когда эти парни приходили сюда за грузами для фронта. Мы знаем, как русские сломали спину фашистам. Давайте выпьем за наших советских гостей.

Около каждого из нас собрались группы, докеры задают вопросы, пожимают нам руки, просят передать привет грузчикам Владивостока и Находки.

— За братство рабочих всего мира!

Взволнованные встречей, прощаемся мы с лонгшорменами. Начинает смеркаться, пора домой. В Аламиде накрапывает дождь, Елой останавливается у проходной порта и, махнув рукой полисмену, провожает нас до самого трапа.

— Большое спасибо от имени всех нас, — сказал я на прощание.

— Невер майнд. Я обещал — я сделал.

— Мы вам очень обязаны...

— Все мы друг другу обязаны, — изрек он, спокойно посасывая сигару. — И пока мы понимаем это, все будет в порядке.

По всему чувствовалось — он не просто прожил жизнь, он думал над ней, докер из Аламиды Елой Трухильо.

УПРЯМЫЕ КАНАДЦЫ

Пасмурное февральское утро. Слабые порывы ветра шершавят серостальную поверхность залива Джорджия. Теплоход, миновавший за ночь извилистый пролив Хуан-де-Фука, приближается к островкам, покрытым густым хвойным лесом. За ними виден вход в бухту Буррарда с перекинутым через него изящным и четким, как чертеж, подвесным мостом, а еще дальше — уходящие в облачное небо снежные вершины гор.

Высоко над мачтами проплывает ажурная арка, и впереди открывается вся бухта: и небоскребы, подступившие к воде, и переходы в порту, и еще мосты в конце бухты — простые рабочие фермы на опорах, прикрытые сеткой мороси.

Это Ванкувер, третий по величине индустриальный комплекс Канады, крупнейший порт, специализирующийся на экспорте зерна и леса, молодой город, основанный на четверть века позже Владивостока и, пожалуй, известный нашим морякам лучше, чем любой другой порт на западном побережье Американского континента. Назван город в честь капитана Джорджа Ванкувера, одного из ближайших сподвижников Джеймса Кука. Через тринадцать лет после гибели на Гавайских островах великого командора Джордж Ванкувер снова вышел в рейс из Англии во главе экспедиции из кораблей «Дискавери» и «Чаттам» с целью определить, существует ли северо-западный проход в Американском материке, как это уверяли некоторые мо-

реплаватели. Другой целью экспедиции было уточнить очертания уже открытых земель для планировавшегося соглашения между Англией и Испанией по поводу прав на пролив Нутка.

Два корабля покинули Англию в апреле 1791 года, посетив Новую Зеландию и Гавайские острова, достигли западного побережья Северной Америки весной 1792 года. Здесь начали исследование проливов, и «Дискавери» вошел в бухту Буррарда. Его тотчас окружили десятки индейских каноэ. Аборигены не вызывали страха перед пришельцами и бросали в воду белые перья в знак своих мирных намерений.

Корабль Ванкувера провел в бухте съемку побережья и замеры глубин, после чего англичане ушли на север, где открыли пролив, названный в честь лейтенанта Джонстона с корабля «Чатам». Таким образом было установлено, что часть суши, которую прежде считали материком, не что иное, как большой остров — его назвали в честь командира экспедиции.

Интересно отметить, что в заливе Джорджия англичане встретились с двумя испанскими кораблями — это была экспедиция Хосе Марии Нарвеца — и, хотя правительства обеих стран непрерывно вздорили из-за вновь открываемых земель, оба отряда решили, что воевать они не будут, так как находятся далеко от дома, да и места здесь «слишком бесполезны», чтобы проливать из-за них кровь.

Первые пятьдесят лет новые земли интересовали только скупщиков меха, но в 1858 году в долине реки Фрезер было обнаружено золото. Слух об этом с быстротой лесного пожара разнесся по Тихоокеанскому побережью — скоро в порт Виктория стали приходить парусники, переполненные старателями, искателями приключений. Высаживаясь с кораблей, прибывшие строили плоты, покупали у индейцев пироги и пускались в плавание через тридцатимильной ширины залив к устью реки. Как и следовало ожидать, запасы золота скоро истощились, оставшиеся в долине люди занялись более надежным промыслом: стали рубить лес, распахивать землю, заводить скот.

Некоторое время спустя на берегах бухты Буррарда был открыт уголь, но его залежи оказались малоценными. Тогда-то нашелся некий писатель, заявивший в газете «Колонист Виктория»: «Я не пророк и не сын пророка, но совершенно ясно понимаю, что... в последующие двадцать лет это место не может быть ничем иным, как кладбищем капиталов, которые вкладывают сюда люди, более сильные в мечтах, чем в их исполнении».

Писатель и в самом деле оказался «не сильным» в пророчествах. Если в 1881 году на берегах бухты проживало около ста переселенцев, то через тридцать лет — в 1911 году — их стало 125 тысяч, еще через тридцать — город Ванкувер насчитывал 390 тысяч, а в 1973 году его население

выросло до 1 миллиона 200 тысяч. Как пишет доктор Вальтер Хардвик в своей книге «Ванкувер», эта цифра удвоится к двухтысячному году.

Наш теплоход пришел в Канаду, чтобы загрузить незаполненные трюмы. Представитель Министерства морского флота СССР в Ванкувере радировал капитану, что для нас подготовлено три тысячи тонн зерна на Японию, а в порту Нанаймо имеется достаточное количество леса, чтобы обеспечить полную загрузку трюмов и палубы.

Мы швартуемся на свободном причале: предстоит проверка подготовки трюма для взятия зерна. Боцман с матросами весь рейс от Сан-Франциско до Ванкувера потратили на то, чтобы помыть и высушить вместительный третий трюм — проверочной комиссии не к чему будет придираться. Завтра предстоит встать к элеватору, а сегодня — день свободный. После работы моряки собираются в город — центр его справа от нас, в полутора — двух километрах; слева — заснеженные горы, на одной из которых виден большой трамплин и канатная дорога. У подножия раскинулись кварталы северного Ванкувера, — прямо перед судном — вдоль ровных пересекающихся под прямым углом улиц, выстроились в строгом порядке аккуратные жилые дома колониального стиля. Причал, крыши складов и улицы покрыты слоем тающего снега, по асфальту текут ручьи, от колес автомобилей всеюм разлетаются ошметки мокрого снега.

Вечером перед проходной порта останавливается несколько автомобилей, по трапу поднимаются гости — канадцы русского происхождения.

— С прибытием, друзья!

— Спасибо, проходите!

К «деду» приехал давнишний его знакомый Василий Иванович Андросов — лысый, круглый человек, лет тридцати пяти, в толстом индейском пуловере и коротких резиновых сапогах. У него веселые глаза, открытая манера изъясняться и неподдельное уважение ко всему русскому, советскому. В каюте старшего механика собираются штурмана, механики, хозяин ставит на стол бутылку сухого вина, конфеты, завязывается непринужденный дружеский разговор. Как рейс — не очень штормило? Холодно ли во Владивостоке? А как твои дети, Василий Иванович? Блэйк все такой же сорванец? Мамаша здорова? Она варит отличный борщ! Сейчас идете в Японию и потом домой? Эх, побывать бы мне в России! А у вас тут тоже много снега выпало! Да, зима нынче странная, затянулась...

Как будто бы ничего не сказано, никто не сообщил сногшибательных новостей, не потряс оригинальными выводами и идеями. Просто разговаривают тридцати-сорокалетние мужчины, один из которых живет на противоположной стороне планеты, но хорошо понимает язык других. Все интересно, и, когда приходит время расстаться,

каждый чувствует удовлетворение проведенным вечером.

Назавтра Василий Иванович снова у борта — он работает неполную неделю, как и многие сейчас в Канаде и Америке: работы попросту не хватает для всех. Приглашает проехать к нему домой. Нет, ничего особенного, никаких торжественных обедов не предусматривается. Просто посидим за чашкой чая. Я, как новичок, сажусь с водителем, и Василий Иванович на ходу рассказывает о местах, где мы проезжаем, о жизни духовоборов в Канаде. Переселившись в центральную часть страны, изгнанники царской России берегут обычаи предков, у них издается журнал «Мир», в котором печатаются материалы из истории русских в Канаде, освещается жизнь членов общины сегодня.

— Для всех нас Россия была и остается Матерью, — говорит Василий Иванович.

Эти слова я много раз слышал от русских, занесенных судьбой на далекий Американский континент...

Сам Василий Иванович работает геодезистом, переселился в Ванкувер из центральной Канады со своей женой и двумя детьми недавно и не успел еще как следует обжиться на новом месте.

— Не так-то просто стать на ноги. Никто не дает тут подъемных, и квартиру требовать не у кого, — говорит он. — Вся надежда на личные сбережения, инициативу и трудолюбие. Не получится — пеняй на себя.

Домик Василия Ивановича расположен в новом районе Ванкувера. Он приобрел участок земли за тридцать тысяч долларов, построил времянку и жил в ней, пока строил дом. Теперь дом почти готов, и мы проходим в жилище, спроектированное по английскому образцу. Вход с улицы — без прихожей, прямо в большую комнату нижнего этажа, служащую семье и гостиной, и столовой. В центре комнаты нештукатуренный камин из красного кирпича, на нем прикреплен листок из тетради с детским рисунком, а над очагом — большой закопченный штурвал. Перед камином — низенький столик с газетами и книгами, два мягких кресла и диван, на столе — географическая карта мира, под ней — стол для занятий детей. На столе — кроме глобуса и книжек — ракушки, еловые шишки, кукла с оторванной рукой, значки, приколотые к суконной тряпке, и среди них — «Советское Приморье».

— Хозяйка моя ходит на курсы, дети здесь сами пият — рубят. — Василий Иванович на ходу подбирает с пола брошенную детскую куртку.

Лестница ведет вверх, где расположены три спальные комнаты. На двери одной из них написано на бумажке «Блэйк». В комнате у Блэйка разбросаны хоккейные принадлежности, перед кроватью — радиоконструктор, паяльник.

— Учу его все делать своими руками, — говорит Василий Иванович. — Я не особый специалист, но, видите, дом уже сделал.

— Руки у вас, следовательно, золотые, — замечает старший помощник Валерий Васильевич Шишкин.

— У моего деда Животкова — у того были действительно золотые, — Василий Иванович достает откуда-то и подает нам искуснейшим образом вырезанные из дерева ложку и вилку. — Узнаете национальную посуду?

— Здорово! Правда, у нас покрывали их лаком...

— Отлакировать не задача, — Василий Иванович кладет реликвии на полку и поворачивается к нам с улыбкой. — Дедушка наш был известен всей общине своим мастерством. Перед смертью он вырезал обеденный набор — ложки, вилки — и послал его английской королеве в день ее свадьбы... У нас в семье хранится письмо королевы с благодарностью.

— Почему именно королеве? — удивился я.

— А так... Придумал — на, посмотри, что умеет русский мужик! Говорят, там поместили этот набор в музей, будете в Лондоне — спросите.

— Тогда неудивительно, что у вас и дом, и мебель сделаны своими руками.

— Ну, это уж другое дело, — махнул рукой Василий Иванович. — Я не мастер, просто надо — и делаю. У нас, ребята, надеяться не на кого: хочешь жить — добивайся, шевелись!

Истина в общем-то не новая, но как часто я слышу ее в своем путешествии по чуждадельной стороне.

Василий Иванович спускается вниз, ставит на газовую плитку кастрюлю с борщом, сваренным живущей неподалеку его матерью.

Возвращаются из школы дети — восьмилетняя, беленькая скромница Наташа и младший — Блэйк. Оба говорят на языке матери — англичанки, но борщ, сваренный русской бабушкой, уминают с аппетитом, и хлеб, испеченный на нашем судне пекарихой Евгенией Адамовной Медведь, едят по-русски. Кстати, на Шри Ланка и в Малайзии, в Сингапуре и Бангкоке, Сан-Франциско и вот здесь, в Канаде, булка хлеба, выданная на прощание гостю судна, признается самым лучшим подарком — «гифтом». Странно, что из той же самой муки везде пекут хлеб, намного уступающий нашему по качеству!

После обеда дети снова идут в школу и будут там под присмотром воспитателей до вечера, как в наших группах продленного дня. Мы провожаем их, чтобы познакомиться с «праймерами школ» — школой. Современное светлое одноэтажное здание стоит посреди соснового леса. Спортплощадка, стоянка для велосипедов и отдельно стоянка для автомобилей. Большая мастерская — здесь старшеклассники восстанавливают купленные для них родителями подержанные автомобили, иногда почти утиль, им приходится работать на токарных, фрезерных, строгальных и прочих станках, осваивать на практике пайку, га-

зо- и электросварку, ремонт электросистем, вулканизацию камер и покрышек. К тому времени, когда мальчишка выедет на своем автомобиле из мастерской, он пройдет полный курс политехнизации...

Мистер Джонс — молодой директор школы — водит нас по кабинетам и классам, показывает школьную библиотеку с читальным залом — все работы в библиотеке выполняются старшеклассниками.

— Только полная самостоятельность и ответственность могут удовлетворить жажду деятельного познания мира, — говорит Джонс. — Поставьте над ними взрослого — и все развалится.

Школа нам понравилась. Уже потом я спросил Василия Ивановича, сколько стоит для него обучение детей.

— Плата за школу входит в мой налог, — сказал он. — Ну, а налоги у нас, в Канаде — не копейные: каждый месяц забирают почти половину зарплат... — Он улыбнулся. — Не будем сегодня говорить о неприятном, скажите, куда бы вы еще хотели съездить?..

На следующее утро нас, как и обещали, пришвартовали к элеватору, и рабочие принялись разносить шланги от насосов, по которым потечет в трюм зерно. Но внезапно они оставили работу и ушли. По судну разнеслось знакомое слово «Страйк!» Забастовка! Отказались выйти на работу «сэлпдз грэдеры», занятые на взятии проб зерна. Без них грузить нельзя.

— Подождите до обеда, возможно, администрация договорится с ними, — сказал нам агент.

У нас по носу стоял огромный сухогруз из Греции. Почти все зерно, что ему полагалось, он уже принял, оставалось совсем немного — к вот забастовка. Несколько зерновозов стояло и возле других элеваторов порта — погрузка прекратилась и там.

Настал обед — рабочие не появлялись, капитан позвонил Генеральному директору Пасифик Интернейшнл Фрейт Лайнз Льву Николаевичу Кудрявцеву — тот сказал ему, что надо подождать еще сутки, возможно, служащие добьются своего и начнут работать.

Собравшись в этот день в город, мы увидели у проходной элеватора группу мужчин с плакатами на груди: «страйк». Я подошел к молодому длинноволосому парню.

— Можно узнать, почему вы бастуете?

— Мы не скрываем, — сказал он. — Они не возобновили с нами коллективного договора, мы потребовали улучшения условий, повышения зарплат. Они все время обещали, но нам надоело ждать.

«Они» — это хозяева компании.

Вечером на судно приехал дядя Василий Иванович — Иосиф Петрович Животков, маляр, давнишний знакомый наших моряков. Узнав, что нас не грузят вследствие забастовки, он заметил:

— Ничего не поделаешь, все хотят есть хлеб. И лучше, если с маслом. Теперь не скоро начнут.

— Нам обещают, что все уладится.

— Не думаю, что хозяева быстро уступят. Ну, а забастовщики — они тоже знают, что им надеяться не на кого...

Опять это выражение: «надеяться не на кого». Иосиф Петрович — не просто маляр, он называет себя «предпринимателем». Он сам ищет работу, договаривается об условиях, выполняет ее и получает деньги. «Надеяться не на кого...»

На следующий день мы все еще стояли у причала элеватора. Капитан нервничает: каждые сутки приносят парководству небольшие убытки. Но в порту замерли у элеваторов еще десятки судов. Борьба разгорается не на шутку. За врагами элеватора, сменяя один другого, стоят пикеты забастовщиков. Я подошел к одному из пикетчиков и спросил, как долго продлится забастовка.

— А вы откуда? — недоверчиво покосился он на меня, но, узнав, что я с русского парохода, сказал совсем другим тоном: — Сожалею, что мы задерживаем вас, но другого выхода у нас нет: мы будем бастовать столько, сколько требуется.

Вечером мы были в гостях у коммуниста Алана и его жены Линды Джемма. Механик по тепловозам, Алан с огромным уважением относится к русским.

— Вы удивительный народ, — сказал он мне. — Сколько я ни знаю русских, они все удивительные.

— Чем же?

Он горячо воскликнул:

— Да всем! У вас произошла революция. Вы победили фашистов. Вы первыми запустили человека в космос. Удивительный народ! Вот и сегодня вас трое в гостях (кроме меня, у него были третий механик Володя Варов и старший помощник Валерий Шишкин) и все вы говорите — по-английски...

— Нас этому учили!

— А я вот не могу говорить по-русски, сколько не пытаюсь. Между прочим, в мае мы с Эриком едем в Москву, — сказал Алан.

Его товарищ, пожилой рабочий судоверфи Эрик сидел, с улыбкой глядя на Алана.

— Ты тоже, Алан, удивительный человек, — сказал он. — Родители твои не имели капиталов, никто тебя не учил бесплатно, а ты стал специалистом высшего класса, инструктором, да еще и коммунистом!

— Я коммунистом стал, потому что прочитал про Россию. И вот теперь увижу ее своими глазами!

— Смотри там за ним, Эрик, а то он найдет себе русскую невесту! — засмеялась Линда Джемма.

— Мы едем не для того, — строго сказал Алан.

Утро следующего дня не приносит никаких новостей: забастовка продолжается.

— Боюсь, что в ближайшее время ничего не решится, — говорит, пожимая пле-

чами, представитель компании. — Наши канадцы — очень упрямый народ...

Посоветовавшись с представителями Дальневосточного пароходства, капитан решает на крайний шаг — мы уходим из Ванкувера с пустым трюмом, который так тщательно готовили для зерна. Наш курс теперь — На лесной порт Нанаймо.

Позже, гораздо позже, мы узнаем, что «упрямцы» победили. И, услышав об этом, мы порадовались их победе. В конце концов там ничего не добьешься без такого «упрямства!».

ПУТЬ ДОМОЙ!

Утром перед глазами расстилается вспененная холмистая равнина. Впереди по меньшей мере двенадцать суток хода до Токио, а там — домой, к семье, к родным, к любимым!

Не скоро еще кончится рейс, но по всему заметно оживление в команде. Командиры строчат на машинках отчеты, рядовые гадают, куда пошлют перед новым рейсом — во Владивосток или в Находку, оттуда и домой-то не выберешься. Комитет профсоюза подводит итоги работы за рейс, и на Доске почета появляются три новых лица — буфетчица Надежда Куличенко, четвертый механик Валентин Милютин и токарь Александр Хомутов. Кстати, Милютин и Хомутов подали заявления о приеме в партию, на днях соберется партийное собрание судна.

На третьи сутки показались тонушие в тумане очертания полуострова Уналашка. Где-то здесь в апреле 1944 года японская подводная лодка пустила торпеду в пароход «Павлин Виноградов», возвращавшийся из Портленда во Владивосток. На шлюпку с потопленного судна вышло лишь 26 человек — остальных поглотило море. Большинство их было раздето, многие обожжены при взрыве бочек с ацетоном. Теплые вещи, неприкосновенный запас и бочонок с питьевой водой — все было утрачено, потому что в момент гибели судна шлюпка перевернулась.

Шесть дней длилась жестокая, неравная борьба обмороженных, истощенных жадой и голодом людей со стихией. В живых осталось всего девять человек. Укрывшись брезентом, они лежали на дне полузатопленной шлюпки, дрейфовавшей на плаву у якоря, когда услышали гудок парохода.

Этим пароходом была «Ола», на которой я тогда плыл матросом. На вахте стоял штурманский ученик Жора Бородин, первым увидевший шлюпку. Он и предложил дать гудок. Тотчас же из-под брезента выскочили люди и закричали что-то, потом упали и не смогли даже принять выброску.

Мы зацепили шлюпку и подняли обесси-

ленных людей на палубу с помощью веревок. Здесь их подхватывали и несли в помещение, поили горячим чаем, мыли и перевязывали раны.

Тридцать один год прошел с того дня. Все меньше остается в живых тех, кто спасся. Они уходят преждевременно, как ветераны войны, хотя работали здесь в глубоком тылу.

Об этом я рассказываю по трансляции членам команды.

— Почтим же, товарищи, память тех, кто отдал свои жизни за Победу советского народа в Великой Отечественной войне!

Вахтенный штурман Юрий Воробьев нажимает на рукоятку тифона, и снова, как в тропиках, над морем несется голос нашего теплохода, голос современного Советского Флота.

А вечером в красном уголке — партийное собрание. На повестке дня — прием в партию. В свежих рубашках, выбритые, сидят комсомольцы Саша Хомутов и его ровесник Валентин Милютин. Один — отличный токарь, ударник коммунистического труда, другой — механик, секретарь комсомольской организации судна, скромный, славный человек, инженер.

— Вопросы к Хомутову есть? — спрашивает секретарь партийной организации Захаров.

— Пусть расскажет биографию, — говорит плотник коммунист Ростислав Панасенко.

Саша рассказывает, даже стесняясь своей в общем-то обычной биографии. Сейчас встанет Валентин — и у него, собственно, будет то же: учеба, работа. Жизнь у обоих только начинается.

— Первые обязанности коммуниста?

Устав и Программу оба знают хорошо.

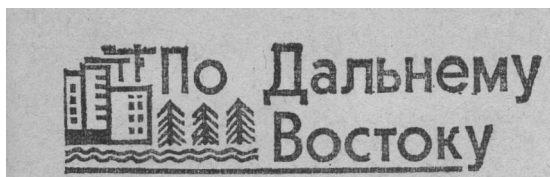
Главное сегодня — отлично трудиться, все время идти вперед — это они усвоили, и не только на словах. Спроси, кого хочешь в команде, и люди вспомнят, как Хомутов не вылезал из рубы по несколько дней, чтобы обеспечить ремонтные работы. И Милютин такой же. Можно подойти в любое время дня и ночи — не отмахнется. До того, как избрали его комсоргом, он отвечал в комитете комсомола за учебу. Помогал ребятам по математике, следил, чтобы не пропускали занятий — недаром на судне сейчас учится каждый четвертый из команды. А если надо работать — он и тут не подведет. Да что говорить — достойные ребята.

— У кого есть предложения? — спрашивает Захаров.

— Принять!

Проголосовали единодушно. Секретарь партийной организации, коммунисты поздравляют ребят. В партийном полку было еще два человека!

А дизель стучит и стучит. Разрезая носом волны, идет вперед тяжело груженный теплоход.



Лариса СЛАДКОВСКАЯ

СЧАСТЛИВЫЕ ДОРОГИ

ОЧЕРК

Партизанский отряд расположился в лесах, неподалеку от поселка Красный Луч, в ста сорока километрах от Пскова. Вокруг были болота да топи. Незнающему человеку тут и трех верст не пройти — засосет трясина. Но командир отряда Николай Васильевич Моховиков исходил эти места еще мальчонкой.

Однажды ночью Николай Васильевич пришел в деревушку, где жила его семья. Здесь хозяйничали немцы. Местный полицейский, знавший отца, постоянно держал семью под страхом выдачи немецким властям.

— Бери детвору и — айда! — коротко сказал жене Николай Васильевич.

Анна Павловна завернула в шаль годовалую Тамару, надела теплые вещи на Валою, Тасю и Толю и вывела полусонных детишек в темную ночь.

В лесу вырыли землянку, соорудили постели из хвороста и пожухших листьев, жили, как и другие семьи партизан. Немцы в лес не совались, но карательные отряды нет-нет да пробирались на опушки и простреливали из пулеметов угрюмо молчавшую чащобу.

Тасе не было и тринадцати лет, когда она впервые вышла по заданию отряда на разведку. Худая длинноногая девчушка, в юбке, сшитой из мешковины, в лаптях, с холстинной торбой через плечо, в которой лежало две картофелены да кусок ржаного хлеба, появилась на дороге, ведущей к поселку Красный Луч и далее — к Ново-Ржеву. Отправляя ее, отец наставлял:

— Ты, дочка, милостыню проси. На нищую детвору немцы внимания не обращают.

Она негромко канючила у окон обедневших сельских изб, принимала скупые подаяния, а сама приглядывалась да запоминала, где и сколько стоит орудий, танков, много ли на улицах немецких солдат, какую они носят форму. А потом партизаны внезапными налетами громили фашистов, уничтожали их технику.

Так было много раз. Тася считалась уже «старым» разведчиком, и ей давали все более сложные поручения. В сорок третьем, как раз перед прорывом блокады Ле-

нинграда, до которого отсюда было не так далеко, отряду сообщили о предстоящей высадке радистки. Без радиции партизанам приходилось тяжело, посланницу ждали с большим нетерпением.

— Пойдешь в разведку — гляди в оба. Может быть, радистка приземлится где-нибудь поблизости — веди сюда, — приказал комиссар.

Серое утро только возникало на востоке, когда Тася вышла на дорогу. Девочка спешила в Красный Луч, но вскоре заметила в небе падающую точку и поняла, что это парашютист. Неудержимый восторг охватил Тасю. Она прикинула, где, примерно, приземлится радистка и бросилась в кусты.

— Хенде хох! — раздалась трескучая команда.

И девчонку повели. Оказалось, что немцы каким-то образом узнали о прибытии радистки и устроили засаду. Попалась в нее и Тася. Радистку она увидела в комендатуре — избитую, с заломленными назад руками.

Тасю били зверски. Полицейский опознал дочку партизана. Полуживую нашел ее отец, когда партизаны, переодевшись в немецкую форму, освободили ее, радистку и еще пятерых подрывников, попавших в засаду на пути с задания.

Много дней она лежала в бреду. Отец носил ее на руках, когда отряд перемещался на новые базы.

Но вот наконец прорвана блокада Ленинграда, освобожден Псков. Они с матерью вернулись в Красный Луч. Николай Васильевич ушел с армией добивать фашистов. Вся семья, исключая маленькую Тамару, пошла работать на стекольный завод. Надо было расчищать заводские руины, строить новые здания, завозить оборудование, топливо. Государство выделило автомашины, но водить их было некому. Вместе с другими девушками Тася поехала на курсы шоферов в Гусь-Хрустальный.

В шестнадцать лет не унять романтических фантазий. Виделись Тасе в ту пору дальние дороги, по которым, чуть покачиваясь на рессорах, мчитесь комфортабельное чудо, за рулем которого — она сама. А когда вернулась с курсов на завод, ей показали трехтонный ЗИС-5, уже изрядно

побитый незадачливыми водителями, и сказали, что надо срочно ехать за дровами для котельной.

— А как же стажировка? — опешила Тася. — Без инструктора сперва нельзя.

— Какая еще там стажировка? Где я тебе няньку возьму? — свирепо спросил посеревший от бессонницы механик.

Девушка направилась к машине, забралась в кабину, села и... заплакала. Голова едва достигала смотрового стекла. Дорогу можно было видеть, только встав на колени. В довершение всего, машина во многом отличалась от газогенераторной полуторки, на которой училась ездить Тася.

Механик убежал куда-то в кузницу. Тася плакала сперва потихоньку, потом запричитала тонюсеньким голоском:

— Ой, мамочка родненькая, что ж мне теперь делать?..

Громкие стенания вновь испеченного шофера услышал директор завода, пожилой уже человек, прошедший фронтovou службу. Он деловито достал платок, обтер водителю глаза и, взяв под мышки, вытащил из машины.

— Не пищать! — поднял директор палец перед самым ее носом. — Теперь слушай. Данный автомобиль есть трехтонка. Сейчас я тебе растолкую, чем он отличается от твоей полуторки.

Пока проводился «урок», подошел механик.

— Надо думать, как ей сиденье приспособить, — сказал он.

Сняли сиденье со старой «легковушки», водрузили его на имеющееся в грузовике. Теперь дорогу Тасе было видно хорошо, но ноги не доставали до педалей сцепления и тормоза. «Консультанты» озабоченно поскребли затылки.

— Придется чурочки набить, — заключили они, разглядывая Тасины ботинки.

Так и ездила она с этими чурочками на педалях, пока не подросла. Завод поднимался на глазах. Чего только не перевозила она сюда на своей машине: песок и соду, поташ и дрова. Другой раз и спала в грузовике тут же, на заводском дворе. Еще не рассветает, а механик стучит в дверь:

— Поезжай, дите, на лесосеку. Того я глядя, кочегарка станет.

Трудные, незабываемые дни. Но именно тогда зародилась в ней эта верность, эта непроходящая с годами преданность шоферскому труду. Каких только препон не ставила ей жизнь в попытках оторвать, отвалить от этого тяжелого, «неженского» дела. Когда вышла замуж за бывшего моряка Василия Трофимовича Щербину, люди подшучивали:

— Ты ему домашнее хозяйство поручи. А го ведь самой недосуг.

Она боялась, что мужу будет неловко от этих подковырок, но «завести» Василия Трофимовича никому не удавалось. Он с юморком воспринимал незлую болтовню товарищей, а в душе гордился женой.

— Ты, Таисия, своего курса держись, —

убежденно говорил он. — А по домашнему делу вдвоем справимся.

Сперва они ютились в крохотной комнатушке, потом сами построили в Красном Луче дом. Таисия Николаевна работала уже водителем автобуса, муж слесарничал на том же стекольном заводе. Уезжая в пригородные рейсы, она возвращалась иной раз за полночь. Автобусик был маленький, с одной дверью. Все скрипело и дрожало в нем, когда он двигался по изрытым ямами недавним фронтовым дорогам. Отправляясь в путь, приходилось брать с собой доски, чурки, трос. Пассажиры были главной «тягловой» силой, вызволявшей автобус из плена дорожных ловушек.

Но как бы ни было трудно, она возвращалась домой в хорошем настроении, быстро осматривала кастрюли, сковородки.

— Как ездил? — спрашивал Василий Трофимович.

— Почему не съел котлеты? Почему борщ цел?

А на столе уже белела скатерть весело шкваркала яичница. Все спорилось в ловких руках жены.

— Хорошо покатались! — посмеивалась Таисия Николаевна. — Бабка за дедку, дедка за репку... На миру никакая беда не страшна. На грузовике я, бывало, одна-одиошенька. А тут полный день с людьми. Чего не насмотришься, не наслушаешься — как в театре.

Даже рождение Людочки не оторвало Таисию Николаевну от нелегкого шоферского труда. Поочередно с мужем носили крошку в ясли, в детский сад. Когда дочке исполнилось пять лет, решили съездить к родителям Василия Трофимовича в Амурскую область, в Малую Сазанку.

Впервые приехала тогда сюда Таисия Николаевна. Много ходили с мужем по тайге, рыбачили на Зее, отдыхали. И никак не хотелось уезжать, оставлять такой простор, красоту. «Дочка «прилипла» к дедушке с бабушкой», — тяжело вздыхал, готовясь в дорогу, муж. Да и сама Таисия Николаевна с грустью смотрела на зейские воды, на горделивый строй зеленых таежных великанов, спускавшихся с сопки прямо к селу.

— Распаковывай, Вася, чемоданы, — решила она наконец. — Останемся.

Бросили дом в Красном Луче, перебрались.

И началась морoka. В Свободном почти все предприятия обошли. Нигде места шофера не было.

— Поедем в Благовещенск, — решила она. — Все равно своего добыю.

Город показался ей маленьким и невзрачным. В ту пору действительно был таким наш нынешний красавец Благовещенск. Настроение у супругов было неважное: в пору назад возвращаться — в Красный Луч. Василий Трофимович о себе не раздумывал: слесари везде нужны. Но как быть с женой? Что если и тут, в Благовещенске, водителем не возьмут?

Поселились в гостинице. Утром явились к начальнику Благовещенского пассажирского автопредприятия. Тот подумал сперва, что сам Василий Трофимович хочет устраиваться шофером, обрадовался:

— Давай, друг, давай! Водители позарез нужны...

— Да нет, я слесарь, — прервал начальника Щербина. — А шофер — жена.

Начальник сразу сник и долго молчал, задумавшись. А потом сказал неожиданно весело:

— А что, попробуем! Пусть покажет нашим парням, как работать нужно!

Механик гаража внимательно оглядел Таисию Николаевну. Высокая, статная, порусски осанистая, она теперь совсем не походила на прежнюю хрупкую девушку с глубоко запавшими, усталыми глазами. Серо-синие, в мохнатых ресницах, они смотрели улыбчиво и понимающе.

— Вот твой автобус, — показал Таисии Николаевне механик и пошел, бурча довольно громко: — «Шоферша» объявилась! Да еще в дохе!

Гараж находился под открытым небом. Это теперь здесь асфальт, крытые стоянки, мастерские, профилакторий, воздухообогрев машин. А тогда на территории предприятия было два конторских домика да сараюшки, в которых кое-как размещались производственные службы.

Автобус Щербины напоминал побывавший в сражении танк. Рама лопнула, крылья и радиатор побиты, кузов перекошен.

Таисия Николаевна сумела поставить горемычный автомобиль на колеса и с помощью других водителей затолкать в бокс. Упорство, с которым она трудилась, поражаало даже старых, выдавших виды шоферов. Отсоединила кузов, вытащила раму и мотор, сняла радиатор, крылья. Когда приходилось особенно трудно, звала кого-нибудь коротко:

— А ну-ка, парень, подсоби!

Постепенно все было заклепано, сварено, смонтировано, отлажено. Кузов блестел, как новенький. В салон поставлена радиаторная печь, чтобы не мерзли пассажиры в дороге. Кабину она отгородила никелированными стойками, снятыми со старой машины.

— Ишь как устроилась! — дивились водители. — Сказано — женщина.

И теперь это звучало уже как комплимент. Три года верно служил ей старенький автобус с памятным гаражным номером «42». Потом она получила новый ПАЗ-672, уже с двумя дверьми и отгороженной кабиной. Рейсы были неблизкие — в Муравьевку, совхоз «Партизан», Белогорск. Сперва ездили с кондуктором.

— Может, справлюсь сама? — предложила начальнику Щербина. — Ведь целую зарплату сэкономим!

— Прогоришь с выручкой, — предупреждали шоферы. — Будешь катать «зайцев».

Первое время, правда, находились любители прокатиться бесплатно. Но скоро за

них взялись сами пассажиры. Иногда из салона доносилось:

— Водитель, останови автобус! Пусть этот вот слезет, раз пятака жалко.

Выручка оставалась высокой и без кондуктора.

Четыре года Щербины жили во временах. Потом построили дом. В шестидесятом родился сын — Вовка. И опять приходилось супругам ни свет ни заря отправляться в ясли, детский сад. Но работу Таисия Николаевна не бросила я на этот раз.

Дела не всегда шли гладко. В коллективе были не только доброжелатели. А Таисия Николаевна резка была с теми, кто работал кое-как. На собраниях напрямик говорила людям правду.

Одно время водила она автобус в Благовещенский аэропорт. Маленький ее «пазик» на двадцать четыре пассажира, деловито фырча, день-деньской сновал от центра города к стоянке самолетов и обратно. Щербина выполняла по полтора — два плана в месяц. А тут как раз пришли новые машины — ЛАЗы. Одну из них поставили на аэропортский маршрут.

— Ну, теперь-то уж разгрузим линию! — радовалась Щербина. — Не будут нас пассажиры подолгу ждать.

ЛАЗ имел тридцать два мягких места, просторный, благоустроенный салон, высокую скорость. Все были уверены, что он сможет перевозить пассажиров в полтора — два раза больше, чем автобус Щербины. Каково же было удивление Таисии Николаевны, когда она узнала, что водитель ЛАЗа не выдерживает графика, а выручки привозит значительно меньше, чем она сама.

— Это разве работа? — поднялась на собрании Щербина. — Пассажиры на остановках ноги морозят, а наш «экспресс» курсирует полупустым.

— Надо сперва разобраться, а потом выступать, — нашлись заступники. — Может, он маршрут плохо знает, может, ему план дали большой?

Но Таисия Николаевна стояла на своем:

— Плохо работает водитель. Не имеем мы права так непроизводительно использовать автомобили. Надо лучше рассчитать план, сделать его более напряженным. И не только на нашем, но и на других маршрутах.

Ее поддержали тогда не все. Даже руководители предприятия не сразу решились пересмотреть нагрузку на каждый автомобиль. Щербина обратилась в обком союза, в транспортное управление и все-таки добилась своего.

За эту принципиальность и уважают ее в коллективе. В течение четырех лет она была членом ЦК профсоюза работников автомобильного транспорта и шоссейных дорог, выступала на пленумах и профсоюзном съезде, по московскому радио и телевидению. Ее взволнованное рабочее слово звало людей к новым успехам и новым высотам.



Когда на предприятии было «заморожено» строительство гаража, Таисия Николаевна рассказала об этом на профсоюзном съезде. Из Москвы выехали представители министерства, разобрались с делом. На завершение строительства были отпущены средства, вскоре гараж ввели в строй.

Однажды Щербину вызвал начальник предприятия.

— Помоги нам, Николаевна, разобраться в одном деле, — попросил он. — С тех пор как стали приходить таксомоторы новых марок, на старых «Победах» водители работают неохотно. Говорят, что на таких машинах невозможно выполнить наш теперешний план. А я думаю, что неверно. Машины еще хорошие, списывать их рано. Ты вот, к примеру, смогла бы на такой справиться с заданием?

— Попробовать можно, — подумав, ответила она.

— Так вот и попробуй, пока твой автобус в ремонте, — заключил начальник.

Нельзя сказать, что ей нравилась новая работа: привыкла к автобусу. Но работа есть работа. Она внимательно осмотрела, отладила, смазала машину, вышла в рейс. Первые дни приходилось отыскивать пассажиров, изучать, где именно, в каких районах города и в какие часы бывает

наибольшая потребность в такси. Приветливого, всегда готового услужить водителя быстро заметили люди. Откроет дверцу, поможет вещи уложить, предложит в пути свежую газету, скажет, когда уходит поезд в Москву, самолет — во Владивосток. На первый взгляд, это мелочи. Но из таких «мелочей» складывается отношение человека к делу, они, в конечном счете, определяют и успех работы в целом.

Такси Таисии Николаевны никогда не пустовало. Уже в первый месяц она значительно перевыполнила план. Иной раз шоферы диву давались. Стоят на остановке новехонькие «Волги», а люди заметят невзрачную машину Щербина и устремляются к ней. Она не боялась ездить в дальние рейсы, по плохим дорогам: знала пригороды назубок.

Под стать Таисии Николаевне была и водитель такси Таня Иконникова. Та, правда, работала на новой машине, но ни один шофер на такой же машине «дотянуться» не мог до Таниных показателей.

— Вот это наклепали вам девчата! — объявлял водителям всякий раз заведующий гаражом, потрясая сводкой.

Таисия Николаевна и Таня вышли в число лучших шоферов предприятия, обе стали ударниками коммунистического труда. Их фотографии были занесены в Книгу почета Амурского транспортного управления.

В один из вечеров Щербина вернулась на своем таксомоторе из Райчихинска. Темнело. Пора было ехать в гараж, но она остановилась возле рынка: может быть, кому-нибудь по пути? Дневная выручка была значительной, и Таисия Николаевна спрятала ее в карман куртки. В копилке оставалась лишь мелочь — пять — шесть рублей. Подошли двое парней. Им нужно было куда-то на Литейную. И, хотя Щербина очень устала, отказать не смогла: просят ведь люди.

Остановилась в глухом переулке, зажгла внутренний свет и дожидалась расчета. И вдруг кто-то из сидящих сзади с силой зажал ей рот и заломил назад голову.

— Выкладывай деньги! — скомандовали грабители, опустошив копилку.

Таисия Николаевна ловким движением высвободила голову, мгновенно ухватила парня за лацканы пиджака и приподняла с сиденья.

— Денег захотел, сопляк паршивый? — повторяла Щербина, сжав зубы и трясая парня так, что волосы у него поднялись дыбом. — А ты их заработал?..

Из-за угла вынырнула машина и осветила фарами такси с беспомощно открытыми дверцами. Грабители поняли, что дело плохо и бросились наутек. Щербина кинулась догонять, но кусты надежно скрыли бандитов.

— Это что же я за человек? — запыхавшись, спрашивала Щербина у шофера машины, который просто не успел ничего понять. — Таких подонков упустила! Ведь они теперь кого-нибудь другого укараулят.

Она уже забыла, что минуту назад ей

самой грозила страшная беда и тревожилась только о людях. Вместо гаража, поехала в милицию: надо срочно меры принимать!

Да, бывает и такое в биографии шофера. И надо слишком любить дело, чтобы не отказаться от него и после такого случая.

В гараже она скрупулезно пересчитала выручку, достала из сумочки недостающую пятерку и подала диспетчеру.

— Да приberi ты свои гроши! — рассердился тот. — Не хватало еще за шпану платить.

— Нет уж, возьми, милоч. Деньги не наши с тобой — государственные, — настаивала Щербина.

Таксомоторы марки «Победа» служили предприятию еще не один год. И теперь уж никто из шоферов не ссылся на то, что машина отслужила свой век и выполнить план на ней трудно.

— Старый конь борозды не портит, — говорила Таисия Николаевна, передавая свой таксомотор другому водителю, когда ее попросили вернуться на автобус.

Аэропортовский маршрут сменился пригородным.

— Будешь ездить в Чигиринский совхоз, — сказали ей. — Линия нелегкая, какой там поток пассажиров, знаем слабо. Надо налаживать там дела.

— В Чигири, так в Чигири! — неунывающе заметила Щербина. — У меня все дороги счастливые.

Уже не один шофер под любым предлогом уходил с этого маршрута. На водителей было много жалоб. Таисия Николаевна вскоре разобралась, что это не случайно. Если работать по старому графику, то жалоб и впредь не избежать. Пассажиропоток тут непостоянный. Как говорится, разом пусто — разом густо. А вот когда бывает «густо», автобусов как раз и нет. Значит, надо перестроить работу, согласовать ее с потребностями населения. По предложению Щербины, был изменен график движения автобусов, но еще месяца два пришлось вносить в него поправки. В конце концов маршрут стал надежным, ритмичным, жалобы от пассажиров прекратились.

И трудиться бы спокойно Таисии Николаевне, но пришел день, когда с горьким сожалением начальник предложил ей переменить профессию.

— Есть указание освободить женщин от работы на автобусах, — сказал он. — Выбери себе более легкое дело.

— Не выйдет! — рассердилась Щербина и помчалась в Амурское транспортное управление. Начальник отдела кадров Анастасия Кузьминична Белова и теперь смеется, вспоминая разговор Щербины с руководящими работниками.

— Это кто же придумал такое? — подозрительно спрашивала она начальника. — «Слабый пол», говорите? А давайте я вас вместе со стулом подниму?

Хохот стоял отчаянный.

— Успокойся, Николаевна, — сказал начальник, вытирая глаза. — Иди работай. Мы-то не против, да вот как министр?

— Министр? Доберемся и до министра!

И добралась. На очередном съезде профсоюзов обратилась прямо к нему: что же мне, дескать, кровное дело свое оставлять по причине того, что я женщина?

— Трудитесь на здоровее, коль силы есть, — улыбаясь, ответил министр.

И вернулась Таисия на свою машину. Вернулась уже насовсем. Многие не понимали, почему она так отстаивает свое право на такую нелегкую, требующую большого нервного напряжения, а то и просто физической силы, работу. Ну пошла бы в конце концов водителем на легковую машину — и легче, и спокойнее, и с пассажирами не надо канителиться. Привезла какого-нибудь начальника на службу или на совещание — и отдыхай себе с книжечкой, покуда позовут. Так нет, лучше автобуса для нее машины не существует. Может быть, потому, что с ним связаны и годы юности, и первые девичьи мечтания, и первые тревоги, и первое женское счастье, и первое материнство. Трудно сказать, почему именно «прикипает» человек душой только к этому, а не к какому-то другому, пусть даже лучшему делу.

Когда на улицах города еще горят ночные огни, а в темном небе еще не гаснут звезды, в доме Щербины уже надрывно звенит будильник. Минуту-другую Таисия Николаевна борется со оном, потом быстро встает и одевается, словно по тревоге. Четыре часа утра. За окнами — метель, причудливыми ветвями разукрасил стекла мороз. А в кухне — теплынь, паром исходит чайник. На столе масло, хлеб, колбаса. На стуле при полном «параде», очень довольный собой — Василий Трофимович. Он победоносно смотрит на жену и ждет. Сейчас она всплеснет руками, засмеется и скажет:

— Вася, да какой же ты молодец! И когда успел встать?!

А он ответит с обычным юморком:

— Вся твоя дисциплина на мне держится.

Смех-то смехом, а Таисия Николаевна хорошо понимает, что не будь у нее такого верного, всем сердцем преданного друга, многое в жизни оказалось бы ей не под силу. Все тяготы, любую беду, как и каждую радость, делят они поровну, по-братски. Нет у них в доме, за редким исключением, «мужских» и «женских» дел. На огороде вместе, стирка ведется всей «командой», при активном участии младших Щербин. Полю моются по-флотски, хоть и не любит Таисия Николаевна доверять это дело неразумной «матросне», остающейся по углам целые лужи. Ремонт мотоцикла занимается мама, а ломает его, в основном, папа.

— Купила на свою голову! — жалуется Таисия Николаевна, орудуя гаечным ключом.

И хотя она давно получила права на

управление мотоциклом, за руль садится неохотно.

— Не тот масштаб! — замечает обычно, отправляясь за покупками на «мужнином драндулете».

Годы не старят Таисию Николаевну. Встретишь ее на улице — розовощекую, свежую, белолицую, и не подумаешь, что ей уже — под пятьдесят, что дочь закончила институт и работает теперь самостоятельно, что сын обогнал «росточком» бабю. И тем более не скажешь, что эта модно одетая дама — шофер с тридцатилетним стажем. Восемнадцать из этих тридцати лет водит Щербина автобусы по Благовещенску и пригородным зонам. Многих своих пассажиров знает долгие годы. Иные когда-то садились в ее автобус мальчишками и девчонками, а теперь, глядишь, держат на руках детей.

По утрам на остановках пассажиры сразу настраиваются на веселый лад, когда видят автобус Таисии Николаевны.

— О, Щербина едет! Как часы!

Она и пошутит в рейсе, и поприветствует знакомых, и к месту приведет минуту в минуту. За все годы работы Щербина ни разу не опоздала с выездом на линию по своей вине, не имела никаких дорожных происшествий. Далеко не каждый шофер может похвалиться нагрудным знаком министерства «За работу без аварий». А у Щербины он есть.

Шестнадцать лет, из года в год подтверждает Таисия Николаевна звание ударника коммунистического труда.

— Молодец ты у нас, Николаевна! — с грубоватой сердечностью хвалят иной раз шоферы.

Есть лишь один человек, не очень довольный ее работой. И это она сама.

— Ну, допустим, у меня лично дело пока клеится. Но разве это все? Ты посмотри, на что бригада похожа? Сколько не бьюсь — толку нет, — говорила она мужу.

Василий Трофимович понимал ее хорошо. Несколько лет он возглавлял местный комитет профсоюза, потом его избрали секретарем партийного бюро предприятия. От слесаря вырос до механика. С производством был связан и по своим прямым служебным делам, и по партийному долгу. На его памяти и не без его участия создавалась третья бригада, которую возглавила Таисия Николаевна. Народ подобрался разный. Были и такие, кто любит в рюмку заглянуть, опаздывает на работу. С одним только Геннадием, сменщиком своим, Таисии Николаевне приходилось разбираться чуть ли не каждый день. Этого парня она взяла в бригаду совсем молодым. Шофер он был тогда неопытный, но это еще, как говорится, полбеды. Она учила его всему, что знала и умела сама. Геннадий быстро схватывал ее уроки и вскоре не уступал в работе товарищам. Хуже оказалось другое. С некоторых пор появилась у парня какая-то прохладца в работе. Сперва это было не очень заметно. Примет от него Щербина автобус, а в

машине то грязновато, то что-то сломано, Таисия Николаевна поворчит малость да сама и наведет порядок.

Но день ото дня Геннадий становился все хуже. Он опаздывал на работу, срывал график. Механик стал замечать, что парень приходит с похмелья и не допускал его к рулю. Таисия Николаевна поехала к Геннадию домой, побеседовала с его родными: может, беда какая приключилась?

Но нет, все было в порядке. Значит, просто распустился человек. Обсуждали его на бригадном собрании, по-матерински говорила с ним не раз она сама.

— Не буду больше, тетя Тася! — как будто искренне обещал он.

А назавтра снова опаздывал с выходом в рейс. Терпение у руководителей кончилось. Было решено уволить Геннадия с предприятия. Когда об этом узнала Щербина, лицо у нее сделалось багровым, и злые слезы выступили на глазах.

— Не дам Генку! — нахохлилась она, как квочка, у которой отняли беспомощного цыпленка. — Остепенится еще. Я его, разгильдяя, лучше лысым оставлю!

И понеслась по начальству отстаивать свое «чадо», приговаривая на ходу, что, мол, выгнать человека легче всего, а на другом предприятии кто-то опять с ним возиться должен.

Остался Геннадий в бригаде. И не жалеет Таисия Николаевна, что помытарилась и с ним, и с другими «артистами». Правда, и сейчас за некоторыми нужен глаз да глаз, но хорошим никто не делается сразу.

Двадцать человек в бригаде — двадцать разных характеров. И хочется дойти до каждого, узнать его стремления и наклонности, подобрать к нему заветный «ключик», без которого немисливо полное взаимопонимание. Наверное, одной ей было бы это не под силу, тем более, что водители работают на разных линиях — третьей и шестой, и бригадиру не всегда удастся их видеть ежедневно. Но у Таисии Николаевны есть хорошие помощники — старые опытные шоферы, с которыми она трудится много лет. Станислав Васильевич Водолажский следит за порядком на третьем маршруте, потому что сама Щербина работает — на шестом. Вполне можно положиться и на Федора Алексеевича Чупрова — доброго наставника молодежи.

— Эх, ребята, дотянуться бы нам до бригады Петрина! — мечтательно говорит иной раз Таисия Николаевна. — Ведь какой коллектив!

— Вы, тетя Тася, не сравнивайте, — обидчиво замечают парни. — У них автобусы почти все новые, большие — ЛиАЗы да ЛАЗы. На линии одновременно шесть-семь машин. Есть индуктивная связь с диспетчерской. Ходят — минута в минуту. Куда нам с ними тягаться! У них ведь выпел «Лучшая бригада министерства».

— Не тягаться, а равняться, — поправляет Щербина. — Вы думаете они сразу такими стали? Если вспомнить, так и наплачешься, и насмеешься.

Действительно, нынешняя бригада Семена Семеновича Петрина создавалась когда-то в муках. В памяти Щербины еще свежи события начала шестидесятых годов. Хуже этой бригады на всем предприятии не было. План месяцами не выполнялся, график срывали, жалобы на шоферов сыпались со всех сторон. Бригады менялись, как в калейдоскопе. Многие стали отсюда уходить.

И в это самое время во главе бригады поставили Николая Афанасьевича Сучалкина. Сейчас он работает начальником первой автоколонны, а тогда был рядовым шофером. Этого высокого, грузного, седоватого человека, отличающегося какой-то особой приветливостью и добродушием, уважали в коллективе. Чтобы не повторять горький опыт своих предшественников, Сучалкин решил повернуть дело по-другому. Он пришел к начальнику предприятия и попросил:

— Разрешите мне набрать в бригаду добровольцев. Кто не побоятся к нам, отстающим, пойти, тот, я думаю, будет верным человеком.

Начальник разрешил. Таисия Николаевна и теперь с теплым юмором вспоминает сцену, которая произошла на следующее утро. Перед выездом машин на линию, когда полторы-две сотни шоферов собираются в гараж, Сучалкин громогласно объявил:

— Давай, ребята, к нам в бригаду, кто храбрый!

Сперва раздался дружный хохот.

— Ты, Афанасьевич, очередь установи, а то давка начнется, — кричал кто-то. — В такой заслуженный коллектив впервые запись идет!

Сучалкин вытирал платком взмокший лоб.

— Гоготать-то легче всего, — отбивался он.

И вдруг выступил вперед пожилой шофер с кольцевого маршрута, неторопливый, степенный человек, который считался очень неплохим работником.

— Пиши меня, Николай Афанасьевич! — решительно сказал он. — Надо же как-то дело поправлять, замучили ведь пассажиров на этом маршруте.

И все как-то сразу притихли, задумались.

— Записывай и нас, подошли к Сучалкину сразу двое.

— Ну, тогда и меня, — двинулся за ними еще один.

В бригаду набралось двенадцать шоферов. Шесть закрепленных автобусов стали работать в две смены. Изюм дня в день коллектив накапливал успех. Сучалкин воспитал себе доброго помощника — Семена Семеновича Петрина, который затем возглавил бригаду. Теперь она стала одной

из лучших в республике, несколько лет носит звание коммунистической.

С Семеном Семеновичем Таисия Николаевна часто встречаются на заседаниях совета бригадиров. Этот орган создан недавно, но уже заметно влияет на улучшение дел, помогает укреплять дисциплину. Петрин не раз делился здесь опытом работы своего коллектива. Но Таисия Николаевна любит потолковать со знатным бригадиром в неофициальной обстановке: так побольше можно узнать о его делах, об организаторской работе.

Кое-что уже удалось перенять у петринцев. Организованнее стали проходить собрания, повысилась их воспитательная роль, меньше теперь нарушителей дисциплины, лучше ведется работа с молодежью. Не так давно бригада Щербины добилась первого заметного успеха — перевыполнила план. Конечно, это лишь крохотный шаг на пути к заветной цели, но он глубоко порадовал всех. Таисия Николаевна находилась как раз на курорте. Василий Трофимович послал жене телеграмму: «Бригада перевыполнила план. Отдыхай спокойно». Для Таисии Николаевны это была поистине счастливая весть.

Лето 1975 года полыхало солнечными днями. К полудню будто застыл раскаленный воздух — ни ветерка. В кабине автобуса душно. Не помогают ни вентилятор, ни скупая свежая струя, пробивающаяся сквозь открытое боковое окно. На смотровом стекле — хоть яичницу жарь. Очень хочется выйти, размяться, хоть на минуту укрыться где-нибудь в тени. Но строго рассчитано время рейсов. Как будто бы недалний путь из конца в конец, но около трехсот километров проходит автобус за смену. Пятнадцать остановок — в одну сторону, пятнадцать — в другую. И каждый раз смотри да смотри, чтобы не прищемило дверью чью-нибудь ногу, чтобы поднялся со ступенек в салон последний пассажир, чтобы все приобрели билеты и не пришлось бы объясняться с контролером.

Что и говорить — нелегко. Но спросите об этом у Таисии Николаевны, и она рассудит совсем по-другому.

— Сейчас работа наша много легче, — скажет она. — Приехал с линии, поставил машину и гуляй. Ремонт слесари занимаются. А в пути-то — красота! Чего стоит одна наша амурская природа! Есть на что посмотреть!

И улыбается, совсем как в юности, задорно тряхнув головой.

— Такая же осталась! — говорит супруг Василий Трофимович. — Вот только нервишки сдали чуток. Недавно мы ее поздравляли с награждением орденом Славы третьей степени. Так это... хлопала носом. Насилу успокоили.

ТРИ ВРЕМЕНИ СУТОК

Марию Федоровну Тринцукову знают многие. Не только как главного конструктора Хорского гидролизного завода, отмеченного за многолетний добросовестный труд на этом предприятии орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть», но и как неутомимую общественницу, члена Комитета советских женщин, лектора общества «Знание».

Она из тех натур, чья энергия, кажется, не имеет предела. И общение с ней — истинная радость.

УТРОМ

Дом на берегу реки, где живут Тринцуковы, строился по проекту самой Марии Федоровны. Теперь таких домов в поселке много. Будущим застройщикам, предпочитающим коттеджи многоквартирным домам, нравится разумная его планировка, вот и заимствуют чертежи у Марии Федоровны, — а почему бы нет, если нравится.

За цветами — тоже к Тринцуковой. Особенно весной, когда букет — редкая редкость, и ни у кого из любителей еще ничего нет, а во дворе у Тринцуковых уже цветут дивные розы и пионы, радуя глаз сочной красотой. Как какое торжество: «Выручайте, Мария Федоровна». Ей не жалко — для чего же иначе растить красоту! — и нынешней весной она срезала лучшие свои розы для незнакомаго ей старого солдата, которого через тридцать с лишним лет нашел орден Славы.

Из каждой своей поездки в Ленинград, на Украину — куда бы ни завели дела, — она непременно привозит луковицы, корневища, семена цветов. Разведет новый сорт и тут же раздаст, принесет на завод, где не без ее участия с каждым годом все больше клумб и цветников.

Конечно, цветы — это так, баловство сердца, потому что давно, теперь уже можно сказать, всю жизнь, ее мысли в первую очередь отданы заводу, бесконечным заботам производства, но все-таки земля — это хорошо, и земля любит, чтобы ее украшали.

Хорошо ранним утром выйти в сад, влажный от ночной росы, всякий раз чем-то новый — ярким ли цветком, заалевшей ли ягодой, и впитать в себя эту бодрость раскрывающейся навстречу солнцу природы на весь грядущий хлопотный день.

Вправду замечено: чем больше человек

вкладывает сил в какое-то дело, тем оно дороже ему и тем крепче к себе привязывает...

Если бы тогда, в 1948-м, Марии Федоровне сказали, что отныне и на долгие времена Хор станет «их» поселком, родиной ее сыновей, смыслом ее жизни, она не приняла бы этого всерьез. Ну три, ну от силы пять лет, как нередко отмеряется молодыми специалистами. Тем более, что после института — Ленинградского технологического — у Тринцуковых была реальная возможность остаться в любимом городе Ленинграде.

Тринцуковой она стала в институте. Училась вместе с Борисом Константиновичем на одном механическом факультете и даже в одной группе. Студенческая свадьба была предельно скромной: главное блюдо — винегрет, средство транспортировки к загсу и обратно — трамвай. На обратном пути — трамвай был переполнен. Молодой муж вышел на одной остановке, молодая жена — на другой. В результате — драматическая размолвка. Спасибо, друзья помирили...

Хорский гидролизный увлек их обилием неотложной работы. Шла реконструкция —



М. Ф. Тринцукова

первая для Тринцуковых, но не последняя. Специалисты были на вес золота. Уехать отсюда в такую пору было равносильно предательству. Они не предали завод. Как поется в песне, «на всю оставшуюся жизнь».

Уже много лет Борис Константинович директор Хорского гидролизного, Мария Федоровна главный конструктор. Поначалу обоим это несколько смущало. Особенно Марию Федоровну. С жены директора особый спрос. Мало ли что может быть, — как это воспримут люди?

Люди все воспринимали правильно. Потому что с первого дня увидели в Марии Федоровне труженицу, которая не просто любит это сложное и каверзное гидролизное производство, но живет им...

Младший сын Тринцуковых, Сергей, вернувшись из армии, поступил на гидролизный слесарем. Завтракать положено вторым, но такая идилия наблюдается редко. Борис Константинович спозаранку на заводе. Накрыв стол, Мария Федоровна кричит сыну: «Сережа, пора!»

Пора и ей. В конструкторском каждая минута на счету.

ДНЕМ

— Задача нашего бюро — ликвидировать «узкие места» на производстве, — вводя меня в курс дела, терпеливо объясняла Мария Федоровна. И тут же, оставив официальный тон, сказала счастливо и просто: — Работать мне легко. Я же давно здесь. Все дырки с закрытыми глазами вижу. Бывает, еще только собираются нас «задачить», а мы уже сами с предложением: вот вам, пожалуйста... Все организационно-технические мероприятия продумываем заранее, чтобы своевременно дать заявки. Ребяточки у меня в бюро отличные — умненькие, старательные. Пятнадцать конструкторов один к одному. И, вообще, у нас на заводе народ легкий на подъем. Пришла мысль, решили — сделали, раз надо производству — значит надо.

Мы едем с Марией Федоровной взглянуть на заводскую базу отдыха «Аскан» — тоже плод коллективной мысли и коллективного творческого решения, — и она по пути рассказывает, что удалось получить за последнее время их предпринятию в результате ликвидации «узких мест».

Для непосвященного все это — китайская грамота, и, опуская детали, Мария Федоровна старается объяснять популярно:

— Ну вот фурфурол. Он ведь раньше в белый свет шел. Ценный продукт, жалко же... Установили теплообменники, дали туда холодную воду. За счет охлаждения паров взяли фурфурол, образно говоря, из воздуха.

Еще — способ газоконтактной сушки дрожжей. Прежде как? Система калориферов. Все под открытым небом. Мороз — калориферы перемерзали. Ненадежно, не-

удобно. С отделом главного механика группа нашего бюро разработала схему, которая все эти неудобства свела на нет. Экономия электроэнергии — раз. Дрожжи стали суше, следовательно, качество выше — два. Ко всему этому возросла производительность сушилок.

Про воздух я уже говорила, — лукаво посмеиваясь глазами, продолжает она. — Вода тоже нам теперь служит. Слышали такой термин «активный ил»? Ну, это микроорганизмы, в общем, те же дрожжи, только прежде они шли в воду, а мы их стали возвращать на специальные установки — идея Бориса Константиновича. Получаются высоковитаминизированные дрожжи. Экономия — 143 тысячи в год.

Ну, а сейчас, леггин — наша главная заботушка, все он, родимый, — говорит Мария Федоровна, становясь задумчивой.

Использование леггина — попросту говоря, вываренных опилок, которые исчисляются многими тоннами в отходах производства, — серьезная «заботушка» всех гидролизных заводов. Десятилетия бьются над этой проблемой ученые и практики. Леггин взрывоопасен, шлакуется при сушке в котле, в том-то вся и загвоздка.

Скооперировавшись с инженерами заводской ТЭЦ, Мария Федоровна и другие конструкторы бюро уже второй год испытывают свою схему сушки леггина паровыми струями. Дважды докладывали о результатах на коллегии министерства. Опыты обнадеживающие, масса запросов с других заводов... Но пока рано дуть в фанфары. Семь раз проверь... А здесь тем более надо быть уверенным на сто процентов, ошибиться нельзя.

— Как больной зуб, — признается Мария Федоровна, — но мы не отступим, нет... Ведь это только у нас 100 тысяч тонн в год отходов. Металлурги не берут их сейчас из-за кислоты. А леггин — прекрасная добавка, может использоваться вместо сажи, улучшает сгорание угля. У нас все этой проблемой больны. Кочегары проходу не дают: «Скоро ли!» Но тут поспешишь — людей насмешишь...

Она рассказывает все это с азартом истинно увлеченного человека, для которого нет ничего интереснее производственных головоломок. И весь день в бюро, в цехах, куда она водила меня, знакомя с производством и с людьми, ее не оставляла эта заразительная увлеченность делом, готовность тут же включиться и разрешить какую-то очередную «заботушку».

Легко было ходить с ней, спрашивать — она готова была ответить на любой вопрос, касался ли он технологического процесса или поздоровавшегося с ней по дороге человека. Она знала здесь всех и вся, и ответы ее были окрашены доброй расположенностью к людям, к их заслугам. Так отвечают на расспросы о семье, не обременяя постороннего замутняющими суть вещей житейскими мелочами.

В хлопотном дне главного конструктора нашлось время на «молнию», выпущенную

по случаю досрочного выполнения коллективом месячного плана. Выяснилось, что вся наглядная агитация завода, сделанная с умом и со вкусом, издавна на Марии Федоровне («люблю, вот и занимаюсь»), как много и других, будто бы побочных обязанностей.

Шла ли речь о базе отдыха «Аскан», о монументе, сооруженном в честь 30-летия Победы возле здания заводоуправления, или о книге истории Хорского гидролизного — всюду обнаружилось активное участие Тринцуковой.

Если правомерно сравнение человеческой натуры с катализатором, ускоряющим химическую реакцию («одним лишь своим присутствием»), то к Марии Федоровне оно очень подойдет.

ВЕЧЕРОМ

Вечером дома она достала альбом с фотографиями. На приеме в Большом Кремлевском Дворце. Памятный снимок с В. В. Терешковой, снимки со Всемирного конгресса женщин.

Памятного в ее жизни как члена Комитета советских женщин было немало. Довелось принимать участие в съемках советско-японского фильма, посвященного 50-летию Советской власти. В кадры вошла вся страна с Дальнего Востока до Риги. И комментаторами «женских вопросов» были женщины, рассказывали о положении женщин в СССР, показывали японцам детские сады, больницы, учреждения культуры.

— Короче говоря, завидовали нам здорово, — подытоживает одной фразой Мария Федоровна. — А главное, фильм послужил правде о СССР.

В другой раз ей пришлось принимать на заводе японского журналиста.

— Что, думаю, ему показать? Ну, раз

я член Комитета советских женщин, женщин и покажу. Повела его по заводу. В какой цех ни придем, начальник — женщина. Вижу, удивлен. Такое сложное производство и руководит им «нежный пол»... Потом мне передавали, что в Хабаровске он часто вспоминал нас, все пытался выговорить мою фамилию.

— Штатным докладчиком стала, — шутиливо сокрушается Мария Федоровна. — И в Москве приходилось с докладами выступать, и в Хабаровске, а уж в районе — само собой.

Да, большей частью по линии Комитета. Но и с лекциями тоже. Международный год женщины — сделать хочется многое. И зовут нарасхват то в совхоз, то на какой-нибудь завод. Женские советы везде есть и всем хочется помочь. Поэтому редкий вечер выпадает свободным. Если не выступление, то подготовка к лекции.

На гидролизном все работницы взяли личные социалистические обязательства, посвященные Международному году женщины. Там и ударный труд, и повышение профессионального мастерства, и непременное участие в общественной жизни коллектива.

Запомнилась встреча с пограничниками. Ездили туда накануне 40-летия района. Вечер назывался: «Район, в котором ты служишь».

— Я с беседой, а наша самостоятельность — с концертом. После просто беседовали, мы им карту района подарили, сами сделали. Славно все вышло, по-родственному. Общение с людьми всегда согревает, — говорит она. — И, вообще, жить чертовски интересно.

Вечером она посидит еще над журналами. Новинки гидролизной промышленности — как тут мимо пройти.

А утро нового дня принесет новые хлопоты. И неизбывную жажду жить полным сердцем.



Дни советской литературы на Дальнем Востоке

Проходившие с 18 августа по 8 сентября 1975 года Дни советской литературы на Дальнем Востоке были посвящены 30-летию Победы советского народа над милитаристской Японией. Они начались на Сахалине, прошли на Курилах, Камчатке, и 2 сентября большая делегация писателей Москвы, Ленинграда, союзных и автономных республик прибыла самолетом в Хабаровск.

В делегацию входили известный украинский романист, поэт и драматург Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, депутат Верховного Совета СССР Михайло Стельмах, ленинградский поэт, лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького, депутат Верховного Совета РСФСР Михаил Дудин (руководитель делегации), поэт из Армении, лауреат Государственной премии СССР Геворг Эмин, народный поэт Калмыкии, лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького, секретарь правления Союза писателей РСФСР Давид Кугультинов, волгоградская поэтесса Маргарита Агашина, грузинский поэт Михаил Квливидзе, московские прозаики Лидия Либединская и Николай Евдокимов, киргизский поэт Омор Султанов, башкирский прозаик Анвер Бикчентаев, молодая украинская поэтесса Ганна Чубач, московский поэт Юрий Разумовский, поэт из Иванова Владимир Жуков, ленинградские поэты Сергей Давыдов и Глеб Горбовский и другие.

Дни советской литературы, проводимые в нашей стране Союзом писателей СССР, ВЦСПС и местными партийно-советскими органами, стали своеобразной и действенной формой пропаганды художественной литературы. Не проходит это бесследно и для самих писателей. Поездки, несомненно, расширяют видение художника. Представители братских республик — участники Дней советской литературы, проходивших у нас, — как бы заново оценили родной

всем Дальний Восток, который, несомненно, стал им еще ближе и дороже.

Дни советской литературы на Дальнем Востоке открылись ярким литературным вечером в городе Южно-Сахалинске, а затем писательские бригады разъехались по всему острову; волнующие встречи с трудящимися состоялись в Корсакове, Охе, Александровске, Холмске, в Анивском, Поронайском и других районах.

На Курильских островах приветливо встретили писателей жители городов Южно-Курильска и Северо-Курильска. Писатели познакомились с жизнью трудящихся Камчатской области: встречались с портновиками и рыбаками, а также воинами Советской Армии.

А 3 сентября уже в Хабаровске, во Дворце культуры профсоюзов, при переполненном зале, состоялся большой литературный вечер. Здесь читатели имели возможность встретиться с авторами любимых книг, побеседовать с ними, получить автографы. Писательские группы побывали на заводах «Дальдизель», имени Кирова, химфармзаводе, на строительных участках треста Жилстрой, в Краснореченском совхозе. Состоялись также встречи с воинами Советской Армии и дальневосточными пограничниками, в которых приняли участие писатели Хабаровского края.

Разделившись на бригады, писатели выехали затем для встречи с трудящимися Еврейской автономной области и строителями Байкало-Амурской магистрали в районе Ургала и Комсомольска-на-Амуре. Впервые прошли Дни советской литературы на БАМе.

На всех встречах с писателями, на которых побывало более тридцати тысяч трудящихся, были организованы выставки книг, работали книжные базары.

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.



Писатели у шахтеров Ургала



БАМ. Поселок Березовый. Писатели на 41-м километре пути.

Фото А. Галушко

ВОЛОЧАЕВСКАЯ ПАНОРАМА

Стремясь избежать войны с империалистической Японией, Советская Россия в 1920 году вынуждена была пойти на создание на Дальнем Востоке буферного государства — Дальневосточной республики. Для его защиты была создана Народно-революционная армия, во главе которой встал выдающийся советский полководец В. К. Блюхер. После того как правительство ДВР отвергло так называемые «семнадцать требований», выполнение которых, по сути дела, превратило бы Дальний Восток в японскую колонию, Япония стала усиленно вооружать белогвардейские части генерала Молчанова, находившиеся в Приморье.

Воспользовавшись начавшейся реорганизацией войск НРА, белогвардейцы перешли в наступление и стали продвигаться на запад. Нависла серьезная опасность возобновления войны на востоке страны. Нужно было во что бы то ни стало остановить белогвардейцев и разгромить их.

Из Забайкалья на помощь частям НРА, сражавшимся на Восточном фронте, срочно перебрасывались воинские эшелоны. В конце декабря 1921 года под Ином белогвардейцы получили серьезный отпор и вынуждены были откатиться назад к Волочаевке. Здесь они принялись создавать укрепленный район, который они назвали «вторым Верденом».

Действительно, Волочаевка для них имела немало преимуществ в тактическом отношении. Не случайно В. К. Блюхер, бравший крымские укрепления Врангеля, сравнивал ее с Перекопом. К деревушке, где можно было обогреться, подступала господствующая над окружающей местностью сопка Июнь-Корань. Рядом пролегла железная дорога, связывающая Волочаевку с Хабаровском, по ней курсировали бронепоезда, прикрывая подступы к Волочаевке с юга. Окопы и траншеи белых защищались многоярусными проволочными заграждениями, пулеметными гнездами, хорошо укрытыми артиллерийскими батареями. Под Волочаевкой сосредоточились отборные белогвардейские части, состоявшие порою почти из одних офицеров.

9 февраля 1922 года Народно-революционная армия начала штурмовать эту белогвардейскую твердыню. Вот что писал об этом В. К. Блюхер: «В основу плана по захвату Волочаевки и уничтожению белых было положено следующее: Пятым, Шестым и Особым Амурским полками под об-

щим командованием Покуса атаковать Волочаевку с фронта в полосе железной дороги. Сводная бригада обходит к югу от железной дороги левый берег укрепленного Волочаевского района между Волочаевкой и Верхне-Спаском. Первая Читинская и сводная кавалерийская бригады под командой Томина имели задачей отрезать путь отхода противника к Хабаровску. Партизанский отряд Шевчука из района, где река Поперечная впадает в Тунгуску, должен ударить на юг по тылу противника в районе железной дороги.

...Три дня и три ночи длилось героическое Волочаевское сражение. 12-го вновь пошли в атаку, прокладывая себе путь через проволочные заграждения кто лопатами, кто штыком. Командиры шашками рубили заграждения, бойцы рвали проволоку руками, оставляя на ней кожу, рвали ее тяжестью своего тела. И, когда в решающий момент боя единственный наш бронепоезд выпускал последний свой снаряд, а единственный танк «Рено» двигался на проволоку, сразу же подбитый противником, бойцы с криком «Даешь Волочаевку!» ворвались в расположение белых...

Враг был сломлен, потерял веру в себя, проскочил Хабаровск и бежал к югу. Волочаевская эпопея показала всему миру, как умеют драться люди, желающие быть свободными».

Волочаевская битва вскоре стала известной всему миру. И поныне вызывает удивление военных специалистов то, как смогли героические бойцы НРА, идущие по колено в снегу по открытой, насквозь простреливаемой местности, при морозе под сорок градусов овладеть Волочаевским укрепленным районом? Видимо, в этом сыграл немалую роль обход красными частями врага с фланга, посеявший в его рядах панику и смятение.

Дорогой ценой досталась Волочаевская победа.

Как только кончился бой, В. К. Блюхер приказал «собрать тела всех, кто с беззаветной доблестью погиб в жестоком бою под Волочаевкой, и схоронить их в общей братской могиле на вершине сопки Июнь-Корань, и над этой могилой воздвигнуть достойный памятник».

118 бойцов Народно-революционной армии захоронено в братской могиле на Волочаевской сопке. В 1928 году рядом с ней сооружен памятник — здание-музей, на котором установлена бетонная фигура крас-

ноармейца с поднятой над головой винтовкой — творение скульптора-самоучки преподавателя Хабаровского педагогического техникума Бадоньи.

Готовясь к встрече 50-летия со дня освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов, Хабаровский краеведческий музей совместно с секцией ветеранов гражданской войны обратились к Министру путей сообщения с просьбой построить новый вокзал на железнодорожной станции Волочаевка, придав ему мемориальный характер. Ходатайство удовлетворили, и теперь станцию Волочаевку украшает новое современное здание вокзала. В недалеком будущем на сопке Июнь-Корань будет воздвигнут величественный скульптурный памятник героям гражданской войны на Дальнем Востоке.

Вскоре после празднеств, посвященных 50-летию Октября, я как директор Хабаровского краеведческого музея оказался в Москве на совещании в Министерстве культуры РСФСР. Там и познакомился с художником-баталистом С. Д. Агаповым. Сергей Дмитриевич интересовался, как мы готовимся встретить пятидесятилетие освобождения нашего края от белогвардейцев и интервентов.

— Давайте создадим панораму Волочаевской битвы и установим ее на месте сражения, — предложил он. — Хотя времени маловато, но если постараться — успеть еще можно!

Предложение было весьма заманчивым. В Хабаровском музее существовала восьмиметровая диорама, показывающая один из участков сражения под Волочаевкой. Была крохотная диорама и в Волочаевском музее, но это не шло ни в какое сравнение с планом С. Д. Агапова.

— Писать мы будем вдвоем с Анатолием Андреевичем Горпенко, — продолжал Сергей Дмитриевич. — Опыт совместной работы у нас имеется. Полотно должно быть в несколько десятков метров. Конечно, для него потребуется выстроить специальное помещение. Забот будет много, но все оправдывается благородной целью!

Я был согласен с Агаповым, но надо было знать мнение краевых организаций. Идею создания панорамы Волочаевского сражения горячо поддержали; из Хабаровска С. Д. Агапову ушла телеграмма: «Предложение принято. приступайте к эскизу».

Так началась работа московских баталистов над Волочаевской панорамой.

Но прежде чем взять в руки уголь, художникам пришлось засесть за историю гражданской войны на Дальнем Востоке, переселиться в мир людей и событий того бурного времени. И лишь после того как были прочитаны воспоминания и приказы В. К. Блюхера, П. П. Постышева, И. П. Шевчука, работы советских историков, на картон легли первые наброски углем. С эскизом ознакомились художники-баталисты Москвы.

К концу работы над первым эскизом художники пригласили меня в свою московскую студию. Они сообщили, что работа понравилась маршалам К. К. Рокоссовскому и В. И. Казакову.

Это было живописное полотно с передним планом. Развороченная взрывом землянка-блиндаж поражала своей реалистичностью. Веяло жаром от догоравших бревен. И даже в эскизном исполнении битва у сопки Июнь-Корань оставляла сильное впечатление.

Из Москвы я увез пачку фотографий, чтобы показать их участникам боя и дальневосточным историкам, узнать их мнение. К немалому моему огорчению, фотографии эскиза панорамы были холодно встречены и моими музейными коллегами, и участниками Волочаевской битвы — ветеранами гражданской войны. Смущало многих то обстоятельство, что в центре внимания художников оказывалось взятие сопки, а, по их утверждению, решающие события сражения происходили на равнине. Да и природа художниками изображалась не дальневосточная. Принимая эскиз в целом, мы сообщили художникам обо всех критических замечаниях дальневосточников.

В начале 1971 года С. Д. Агапов и А. А. Горпенко приехали на этюды в Хабаровский край. Поселили мы их в здании Волочаевского музея на сопке Июнь-Корань. Неблагоустроенность жилья компенсировалась простиравшейся сразу же за окном заснеженной равниной, на которой сорок восемь лет тому назад гремела жаркая битва. В течение февраля художники рисовали Волочаевку и дали, открывавшиеся с сопки Июнь-Корань.

Но как воссоздать, хотя бы фрагментарно, оборонительные рубежи Волочаевки? Да еще бы инсценировать хоть небольшой эпизод их штурма бойцами Народно-революционной армии! Пришлось обращаться к командованию Краснознаменного Дальневосточного военного округа за помощью. И в ней не отказали.

Командиру подразделения Хабаровского гарнизона дали задание соорудить блиндаж, траншею и проволочные заграждения такими, какие делали в двадцатых годах. И, когда все было выстроено, взвод пехоты, одетый в обмундирование НРА, продемонстрировал взятие сопки Июнь-Корань.

Беспредельна была радость художников. Ведь о такой натуре они могли только мечтать.

С объемистыми ящиками, наполненными этюдами, возвращались художники в Москву. Хабаровчанам же предстояло приниматься за строительство здания под панораму. Сначала предполагалось разместить его на сопке Июнь-Корань. Но, поразмыслив, решили сделать специальную пристройку к зданию музея в Хабаровске и там вернуть панораму. Посещаемость ее зрите-



лями при этом варианте во много раз возрастала. Для финансирования строительства в местном бюджете изыскивали необходимые средства. Наган земляки — архитектор А. С. Ческидов в соавторстве с конструктором Ф. Н. Мансветовым — создали оригинальный, великолепный по замыслу проект пристройки, гармонически сливающийся со старым зданием музея.

Сооружение панорамы посвящалось 50-летию освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов, и Министерство культуры РСФСР подарило краю живописное полотно и взяло на себя все расходы по его созданию, перевозке и установке на месте (а они превышали двести тысяч рублей).

Пока в Хабаровске возводилось здание, художники А. А. Горпенко и С. Д. Агапов нарисовали второй эскиз будущей панорамы. Его посмотрели Маршалы Советского Союза В. И. Чуйков, И. Х. Баграмян, Н. И. Крылов, жена В. К. Блюхера — Г. Л. Блюхер, министр культуры СССР Е. А. Фурцева. Эскиз понравился всем, и это воодушевляло художников.

Пришло время приступать к созданию самой панорамы. В одной из московских школ на улице Чайковского (около Арбата) арендуется спортивный зал, в котором натягивается огромное полотно длиной в сорок два метра и высотой в шесть метров. И вот по загрунтованному полотну наносится рисунок углем в натуральную величину.

Потребовался год для завершения работы. Ее смотрят знатоки баталлий — Герои Советского Союза, деятели культуры. Вносятся последние поправки. Вовремя одного из просмотров С. Д. Агапов спросил марша-

ла В. И. Чуйкова: «Некоторые участники волочаевских боев утверждают, что штурма сопки Июнь-Корань как такового не было. Битва, по их мнению, шла на заболоченной равнине». «Не верьте этому, — сказал маршал. — Мы, военные, хорошо знаем, что такое господствующая высота над местностью, где идет битва. Поэтому и под Волочаевкой, конечно, стремились прежде всего овладеть сопкой!»

Наступило и то ответственное время, когда рисунок углем должен превратиться в красочное изображение. Постепенно на обширном полотне стали проступать заснеженные кочковатые долины Амура и Тунгуски, редкие, с пожухлой листвой дубнячки, дымные облака пожаров, огненные языки взрывов, бегущие, падающие, стреляющие на ходу солдаты. Волшебная кисть художников-баталлистов воскрешала для нас легендарную Волочаевскую битву.

Создание живописного полотна потребовало у художников двух лет. И, когда была дописана последняя сцена, панораму внимательно осмотрели группа ветеранов гражданской войны на Дальнем Востоке, маршалы и генералы Советской Армии, президент Академии художеств СССР Н. В. Томский, скульптор Е. В. Вучетич. И не было среди них равнодушных, всем нравилась панорама.

Свернутое на специальный стальной барабан полотно панорамы прибыло в Хабаровск в конце 1974 года. 8 марта 1975 года художники приступили к установке панорамы в специально выстроенном для этой цели помещении краеведческого музея и завершили эту работу 25 апреля 1975 года. Открытие панорамы приурочивалось к 9 мая — празднованию 30-летия Победы

над фашистской Германией. Знаменательное символическое совпадение!

Шесть лет в общей сложности ушло на создание в Хабаровске первой советской панорамы «Волочаевская битва».

Вы поднимаетесь на смотровую площадку панорамы по крутой винтообразной лестнице, словно восходите на сопку Июнь-Корань. С ее юго-восточного склона, места вашего обзора, на десятки километров просматривается окружающая местность, и лишь небольшая возвышенность заслоняет западный сектор горизонта.

Лучше всего начинать осматривать панораму с юго-западной стороны, откуда ведут наступление главные силы Народно-революционной армии.

Мы видим боевые порядки наступающих на укрепленный Волочаевский район частей сводной бригады Я. З. Покуса — 5-го и 6-го стрелковых полков, Особого Амурского и 3-го Читинского полков. За героизм и отвагу, проявленные в бою, 6-й стрелковый полк под командованием А. Н. Захарова впоследствии стал именоваться 4-м ордена Красного Знамени Волочаевским полком. Войска Народно-революционной армии В. К. Блюхера пополнялись партизанами, поэтому некоторые бойцы одеты не в форменное обмундирование.

Перед нами пристанционная деревушка Волочаевка. Она уже занята народоармейцами. На одном из домиков — красный флаг. Здесь находятся В. К. Блюхер, П. П. Постышев, С. М. Серышев. Из-за горющей избы по укреплениям белых ведет огонь артиллерийская батарея И. Н. Оглоблина.

На переднем плане окопы белогвардейцев. Полуразрушенный блиндаж-землянка — командный пункт одного из полков генерала Молчанова. Левее — полевой госпиталь, заполненный ранеными. Справа — 8-й бронепоезд НРА атакует бронепоезд белых. Боясь тарана и видя, что в тылу горит железнодорожный мост, белогвардейский бронепоезд уходит с поля боя. Вдалеке видно передвижение Троицкосавского кавалерийского полка.

Теперь следует вернуться к западному сектору панорамы. Здесь завязалась рукопашная схватка за господствующую высоту. Ее атакуют бойцы 5-го и Особого Амурского полков. В руках командира 7-й роты 5-го стрелкового полка Н. Е. Польшцева развевается красное знамя. Вскоре оно будет установлено на вершине сопки Июнь-Корань. На крутом склоне в лесу пылает подожженный артиллерийским огнем вагончик, служивший неприятелю наблюдательным пунктом.

На переднем плане, в хорошо укрепленных траншеях, капеллевы, семеновцы. Большинство из них — офицеры. Они дерутся яростно, но в окопах толчея, смятение.

Правее, к северу, изображен лихой налет 4-го кавалерийского полка и отрядов партизан И. П. Шевчука и Ф. М. Петрова-Тетерина. Смелым ударом по тылам они усиливают и без того начавшуюся панику. На переднем плане брошенные в спешке белогвардейские орудия.

По дорогам на Хабаровск — вереницы отступающей белой пехоты, санитарных повозок, артиллерии. Горит склад боеприпасов белогвардейцев. Белеет дымок уходящего поезда. В нем проигравший Волочаевскую битву генерал Молчанов.

Авторы панорамы Сергей Дмитриевич Агапов и Анатолий Андреевич Горпенко москвичи, известные художники-баталисты.

А. А. Горпенко ученик профессора Н. С. Самокиша. В соавторстве с баталистом Г. И. Марченко и П. И. Жигимонтом он создал реалистические живописные полотна, прославляющие советских и русских воинов: «Форсирование Днепра», «Сталинградская битва», «Полтавская битва времен Петра I» и другие. Но особую славу Анатолию Андреевичу принесла работа в содружестве со скульптором Е. В. Вучетичем и архитектором Я. Б. Белопольским по созданию всемирно известного мемориального комплекса в берлинском Трептов-парке. Правительство высоко оценило труд художника — А. А. Горпенко удостоен двух Государственных премий СССР. В 1940 году он поступил в Студию военных художников имени М. Б. Грекова, как художник-баталист был участником Великой Отечественной войны.

Сергей Дмитриевич Агапов в период Великой Отечественной войны служил в Тихоокеанском военном морском флоте лейтенантом. В шестидесятых годах судьба свела его с А. А. Горпенко. В содружестве с ним С. Д. Агапов написал диораму «Разгром немцев под Москвой». На своих персональных выставках художник покорял зрителей пейзажами, портретами, батальной живописью. Со времени службы на флоте он мечтал воспеть героическую историю Дальнего Востока. И замысел этот наконец осуществился.

В чем же притягательная сила обширного красочного полотна — Волочаевской панорамы? Прежде всего в талантливом реалистическом изображении истории нашего Отечества. Художникам удалось правдиво изобразить наше Приамурье, передать жар одной из завершающих битв за установление Советской власти в России.

Открытие панорамы «Волочаевская битва» в Хабаровске — знаменательное явление в культурной жизни края. Ее осмотрели уже десятки тысяч людей. И этот величественный памятник истории и искусства будет всегда привлекать к себе людей и волновать их сердца.



И на Тихом океане начинали свой поход...

Безумству храбрых
Поем мы славу...

М. Горький

Революция 1905—1907 годов в России была первой народной революцией эпохи империализма. В. И. Ленин называл ее «генеральной репетицией» Октября. Выявленные в ходе этой революции важнейшие закономерности, прежде всего необходимость ведущей роли рабочего класса и его коммунистического авангарда, получили блестящее подтверждение и развитие на опыте Великой Октябрьской социалистической революции, а затем народно-демократических, социалистических революций в ряде стран трех континентов.

Огромное значение имело широкое участие в первой русской революции армии и флота, поднявшихся со всем народом на вооруженное восстание против самодержавия.

Настоящий очерк посвящен рассмотрению вопросов, связанных главным образом с участием в революционных событиях 1905—1907 годов лишь одного из флотских отрядов — моряков-подводников Тихоокеанского флота. Данные вопросы еще не освещались в печати.

Царское самодержавие склонно было рассматривать свой молодой подводный флот как один из наиболее надежных оплотов, поскольку там имела высокая насыщенность экипажами офицерами, которые, в силу специфики службы на подводных лодках, тесно общались со своими подчиненными. Видимо, поэтому любые сведения о проявлении революционной настроенности матросов-подводников содержались в особо строгой тайне и упоминания о них цензура запрещала даже в служебной переписке. Тем больший интерес представляют сведения об участии в революционных выступлениях подводников-тихоокеанцев.

С началом русско-японской войны во Владивостоке было сосредоточено много воинских, в том числе и флотских частей, а также учреждений, ведавших их управлением и снабжением. Тогда же из Петербурга, Либавы и Николаева на Дальний Восток стали прибывать целые отряды квалифицированных мастеровых-судостроителей. Мастеровые собирали, дотраивали, испытывали и ремонтировали миноносцы и

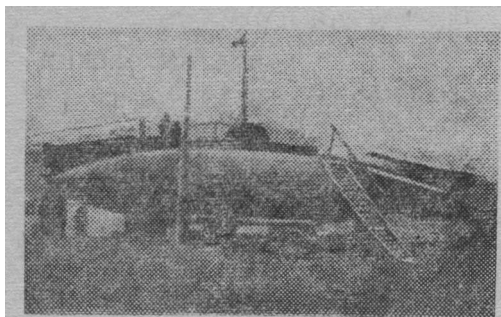
подводные лодки, которые в ту пору перебрасывались в разобранном виде на Тихий океан из европейской части России по железной дороге. Среди прибывших было много политически сознательных и революционных пролетариев, которых начальство считало «неблагонадежными», а посему избавлялось от них, отправляя их на Дальний Восток. Они сыграли значительную роль в деле распространения революционных идей среди военных моряков и особенно среди подводников, которые сами были выходцами из семей рабочих-металлистов и поддерживали с ними контакты.

К окончанию войны с Японией Владивосток являлся главной нашей военно-морской базой на Тихом океане. Там к этому времени на боевых надводных кораблях и подводных лодках оказалось много нижних чинов, призванных из запаса в годы войны и ожидавших демобилизации. В местном флотском экипаже были размещены матросы и унтер-офицеры, возвратившиеся после подписания мирного договора из японского плена. Многие из них установили в Японии связи с русскими революционными эмигрантами.

Первые вести о революционных событиях, происходивших в европейской части России, докатились до Дальнего Востока с запозданием и застали врасплох местные общественные организации, в руководстве которых преобладали меньшевистско-эсеровские элементы. Хотя на некоторых боевых кораблях, в том числе на отдельных подводных лодках, в составе экипажей имелись большевистски настроенные матросы, однако без опоры на крепкую местную революционную организацию они были не в состоянии охватить своим руководством нараставшее на флоте брожение, чтобы направить его по пути борьбы за свержение самодержавия.

На первых порах, узнав о революционных выступлениях широких народных масс в центре России, местные военные власти во Владивостоке проявили тревогу и растерянность. Они заняли выжидательную позицию, надеясь, что революционные всплески быстро будут подавлены царизмом.

Когда во Владивостоке стало известно об опубликовании царского манифеста от



*Подводная лодка «Сом» на стенке
Владивостокского военного порта
во время ремонта. 1906 г.*

17 октября 1905 года, в городе стали стихийно возникать массовые митинги рабочих с участием военных моряков из флотского экипажа Сибирской военной флотилии, в которую тогда входили команды двух десятков подводных лодок и их плавающих баз.

Особенно многолюдным был митинг войск Владивостокского гарнизона, созданный 6 декабря 1905 года на пригородной станции Первая Речка. Там присутствовало свыше пяти тысяч солдат и матросов, а также мастеровых, работавших в военном порту. Было много выступлений ораторов из рабочих, солдат, матросов, в том числе и из подводников. С пламенной речью выступил на митинге минный машинист с подводной лодки «Сом» — квартирмейстер 2-й статьи Леонид Алексеевич Алексеев, от которого удалось собрать некоторые сведения.

До призыва на флот Алексеев был слесарем на одном из уральских металлургических заводов и принимал участие в работе заводского революционного кружка. Он бывал на рабочих митингах и сходках. Когда в апреле 1905 года у мыса Поворотный подводная лодка «Сом», на которой служил Алексеев, пыталась атаковать японские миноносцы, он как минный машинист стоял на своем боевом посту и только ждал команды командира, чтобы выпустить по врагу торпеду.

Ловкий, находчивый, толковый, мастер на все руки, Алексеев пользовался большим авторитетом среди подводников, которые ценили его веселый нрав, присущий природный юмор и умение доходчиво и просто объяснять текущие политические события. Знали его и мастера из порта, а также многие моряки с надводных кораблей.

Выступая на митинге, Алексеев страстно призывал солдат и матросов объединиться с рабочим классом для борьбы с ненавистным самодержавием:

— Братцы! Мы есть плоть от плоти мастерового люда, сами вышли из него. Так будем же сообща выступать против всевластия кровопийц, создадим свой боевой комитет!

— Матрос верно говорит, пойдем в од-

ном строю с мастеровыми! — раздавались взволнованные голоса солдат, одобрявших выступление Алексеева.

На митинге избрали общегородской орган — Исполнительный комитет нижних чинов Владивостокского гарнизона — Исполком, как его стали сокращенно именовать. В городе это был первый прообраз будущих Советов солдатских и матросских депутатов. В данный орган революционной власти от военных моряков был избран и Леонид Алексеев.

Знавший лично Алексеева советский писатель Павел Сычев, вспоминал, что его приятель был активным и деятельным членом Исполкома. Алексеев готовил проекты требований матросов к коменданту крепости, деятельно организовывал различные митинги и собрания, устанавливал контакты с солдатами и рабочими мастерских военного порта, а также с железнодорожниками местного узла.

Однако растерявшись на первых порах командование Владивостокского гарнизона и крепости вскоре подняло к городу карательные части, а наиболее революционно настроенные полки, наоборот, вывело далеко за пределы городской черты. Затем реакция перешла в наступление, запретив солдатам и матросам митинговать. По приказу коменданта крепости у матросов экипажа, в том числе и у подводников, стали отбирать винтовки и патроны, начались аресты среди членов Исполкома. В ответ на репрессии матросы вооружились и, объединившись с солдатами и рабочими, 10 января 1906 года вышли на демонстрацию, проследовали по Светлановской улице по направлению к зданию коменданта крепости, но на Алеутской улице их встретили пулями казаки из отряда карателей.

Подводник Леонид Алексеев шел в первых рядах демонстрантов с красным флагом в руках. После расстрела и разгона демонстрации начались повальные облавы, и он был вынужден бежать в Читу во избежание неминуемого ареста. Там Алексеев пытался разыскать давнего знакомого — железнодорожника «дядю Васю», чтобы через него связаться с местной большевистской организацией. Однако в Чите агенты царской охраны выслежили революционного матроса. Его арестовали на улице и по этапу отправили обратно во Владивосток. Здесь Алексеева предали военно-полевому суду за участие в вооруженном восстании и дезертирство, который, «по совокупности», приговорил его к двадцати годам каторжных работ. Осужденного временно поместили в одиночную камеру на гарнизонной гауптвахте, откуда ему через сутки удалось совершить побег. В городе, Алексеев пробрался к знакомым большевикам из портовых мастеровых, которые укрыли беглеца и переодели в гражданскую одежду.

— Будем переправлять тебя в Японию, Леонид, — сказал подводнику хозяин квартиры. — Там переждешь заваруху, а затем сам решишь, что дальше тебе делать.

Поймают — не миновать тебе петли на шею или расстреля. Так что решай!

Выбора у Алексеева, действительно, не оставалось, и решение могло быть только одно.

С помощью своих людей в порту Алексееву достали каюту 1-го класса на японский пассажирский пароход «Хасан-мару», и он вместе еще с восемью такими же беглецами-морьяками отбыл в Нагасаки.

Алексеев был хорошо одет, имел кожаный чемодан. В темных очках он внешне походил на удачливого коммерсанта, а врученные ему владивостокскими товарищами фальшивые документы, подтверждали подобную легенду.

В Нагасаки беглецы прибыли благополучно и остановились у одного пожилого политического эмигранта из России, к которому имели явку. Несколько недель прошло в поисках работы, но, не зная языка, найти ее никому не удавалось. Те матросы-эмигранты, что прибыли вместе с Алексеевым из Владивостока, вскоре стали приходить в уныние и поодиночке возвращались на родину, рассчитывая перейти на нелегальное положение. Агенты царской охранки шныряли по всем портовым городам Японии, провоцировали матросов на возвращение, а сами телеграммой доносили о каждом отбывшем. Во Владивостоке возвращавшиеся не успевали сойти с причала, как их арестовывали.

Алексеев решил, что ни в коем случае не последует примеру своих несчастных товарищей.

Когда какой-то русский, выдававший себя за социалиста-революционера, стал убеждать Леонида Алексева возвратиться на родину, где ему, мол, «все простят», он ему сердито ответил:

— Может, кого из дураков и найдешь, но только не меня!

Истратив последние иены на железнодорожный билет, Алексеев отправился в Иокогаму, где ему посчастливилось наняться матросом на грузовое судно, отправлявшееся в Буэнос-Айрес. Более десяти лет прожил бывший матрос-подводник в Аргентине, перепробовав многие ремесла в поисках заработка. Возвратиться на родину он получил возможность лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. Революционный матрос в прошлом, Алексеев сразу же горячо включился в работу органов Советской власти в Москве. Неутомимый «железный матрос» — так величали Алексева его сослуживцы и товарищи по административно-хозяйственной работе, которой он ведал. Став впоследствии персональным пенсионером, он охотно делился своими воспоминаниями с историками, писателями, рассказывая о славных революционных традициях моряков-тихоокеанцев. Скончался старый моряк-подводник в Москве на 76-м году жизни.

События 10 января 1906 года во Владивостоке показали, что восставшие рабочие, матросы и солдаты были полны решимости сражаться с самодержавием, но

у них не было ни плана боевых действий, ни опытных политических и военных руководителей. Именно благодаря этому реакции удалось сравнительно легко разгромить восставших и учинить жестокую судебную расправу над ними. Во второй половине 1906 года военно-полевые суды вынесли приговоры более чем четыремстам матросам, участвовавшим в восстании, в числе которых были и подводники. Некоторые были казнены, остальные сосланы на каторгу.

После судебной расправы во Владивостоке наступило некоторое затишье, длившееся до конца августа 1906 года, когда началась новая вспышка революционного брожения в войсках гарнизона, охватившая экипажи многих боевых кораблей, находившихся в порту. На этот раз движение направлялось только что сформировавшейся во Владивостоке военной организацией РСДРП. Эта организация являлась большевистской и была создана при местном комитете РСДРП. Хотя численно она была небольшой и включала мало опытных партийных работников, но пользовалась большим влиянием среди солдат и особенно у военных моряков. Известно, что в состав военной организации входило и несколько матросов-подводников, в том числе машинист 2-й статьи с подводной лодки «Сом» Соколов и машинный квартирмейстер с подводной лодки «Бычок» — Тюевдов.

Удалось разыскать одно из донесений Владивостокского жандармского отделения начальству в Санкт-Петербурге о задержании двух «крамольных агитаторов», одним из которых и был упомянутый выше подводник Тюевдов. Донесение позволяет восстановить с некоторыми подробностями эпизод, имевший место 17 августа 1906 года, то есть вскоре после кровавой судебной расправы над участниками январских событий.

Был теплый осенний вечер, когда в пивной бар «Дунай» на 6-й Матросской улице зашли два посетителя — матрос и штатский. «Дунай» являлся излюбленным местом отдыха и встреч рабочих портовых мастерских и матросов стоявших в порту судов. В тот воскресный день в шалмане былолюдно. Вошедшие — машинный квартирмейстер с подводной лодки «Бычок» Николай Тюевдов и его спутник — рабочий Уссурийской железной дороги Тимофей Альфер, вероятно, были заведомыми шалмана. Смелыми шутками и прибаутками они привлекли к себе внимание всех посетителей бара. Толпа слушателей одобритительно откликалась на злободневные остроты Тюевдова. Подводник явно намекал на необходимость дать хороший отпор капиталам.

— Под лежащий камень и вода не потечет! — говорил Тюевдов.

— А как камню-то подняться, когда против него все с пушками гоняются? — спросил кто-то из глубины бара.

— А с пушкой-то кто ходит? Тоже, чай,

поди такой же, как ты! Вот ты и растолкуй ему, что к чему...

Пока Тювевдов бросал свои не безобидные для властей реплики, Альфер раздавал присутствовавшим листовки.

Воспользовавшись тем, что общее внимание было приковано к отважным агитаторам, какой-то доносчик успел неприемлемо выскочить из бара и сбежать за полицией. Жандармы появились неожиданно и сразу же арестовали обоих друзей. При обыске у них изыскали большую пачку листовок Читинского комитета РСДРП с его известным обращением «К солдатам», а также другие революционные прокламации.

К сожалению, не удалось разыскать почти никаких сведений о дальнейшей судьбе этих мужественных революционеров, которые, несомненно, проводили в баре «Дунай» агитационную работу среди моряков по заданию Владивостокской военной организации РСДРП. Удалось лишь установить, что Николай Тювевдов прибыл во Владивосток из Либавы. Вскоре после вооруженного восстания военных моряков 1905 года в Либаве он был зачислен в разряд «неблагонадежных» и, видимо, по этой причине отправлен на Дальний Восток вместе с подводной лодкой «Бычок». В списках команды этой подводной лодки Тювевдов значился лишь до 1907 года, хотя никаких документов о списании его обнаружить не удалось. Добавим еще, что в опубликованных в двадцатые годы Обществом политкаторжан списках лиц, отбывавших царскую каторгу по политическим мотивам, имеется некий «Тюевдов Н.». Возможно, это и есть искаженная фамилия, интересующего нас Николая Тювевдова.

Исключительно трагично сложилась судьба другого члена Владивостокской военной большевистской организации — машиниста 2-й статьи подводной лодки «Сом» Григория Федоровича Соколова, сослуживца Леонида Алексеева.

Как и Алексеев, Григорий Соколов был выходцем из рабочей среды. До призыва на флот он работал токарем в паровозном депо станции Друли Виленской губернии, где еще подростком практически познакомился со стачечной борьбой пролетариата. По окончании машинной школы в Кронштадте Соколов добровольно пошел в подводное плавание, и его назначили машинистом на подводную лодку «Сом» почти перед самой отправкой ее на Дальний Восток.

Характер Соколова был малообщительным, и он весьма осторожно и осмотрительно сходил с людьми. Очень серьезный человек, он никогда не бросал слов «на ветер» и больше любил слушать, чем говорить. Попав в команду подводной лодки «Сом», Григорий Соколов сразу почувствовал симпатию к веселому квартирмейстеру Алексееву, да и тому он сам тоже приглянулся. Так случилось, что эти, казалось, совершенно разные люди подружились и стали неразлучными «кореша-

ми». Оба они лучше остальных подводников разбирались в происходивших политических событиях и давали им соответствующую оценку. И Алексееву и Соколову претил «квасной патриотизм», волну которого в ту пору усиленно раздували правящие круги царской России. Оба друга с пылом и страстью разбирали лживые доводы черносотенных агитаторов.

По прибытии во Владивосток Соколов стал менее молчаливым, невольно заражаясь примером своего старшего приятеля, который смело разъяснял матросам революционную правду. Так же, как и Алексеев, Соколов не пропускал ни одного митинга, которые в ту пору были часты во Владивостоке, однако, не обладая красноречием, еще не решался сам выступать с речами.

Переломным для Соколова стал 1906 год. Ему на всю жизнь запомнилась кровавая расправа, учиненная царскими карателями над рабочими, солдатами и матросами, участвовавшими в январских вооруженных выступлениях. Именно тогда он лишился своего приятеля, вынужденного эмигрировать за границу. Соколов продолжал дело, которому служил его друг, он не желал оставаться в стороне от борьбы с самодержавием. В поисках ответов на мучившие его вопросы Соколов сблизился с некоторыми членами Владивостокской военной организации РСДРП и вскоре сам стал принимать активное участие в ее работе.

В связи с тем, что подводная лодка «Сом» находилась в ремонте, ее команду временно зачислили в рабочую роту, размещавшуюся на территории военного порта и его мастерских. Подводники стали еще теснее общаться с мастеровыми, ремонтировавшими вместе с ними механизмы их корабля.

Григорий Соколов внимательно присматривался к товарищам по рабочей роте. Глаз у него был наметанным, и он вскоре убедился, что унтер-офицер с крейсера «Россия» Степан Ильич Трусов, минер с крейсера «Аскольд» Михаил Андреевич Невежкин и машинист с того же корабля Леопольд Густавович Энгельбрехт — люди надежные и близкие ему по взглядам. Особенно сдружился Соколов с белокурый и голубоглазым латышом Леопольдом Энгельбрехтом, которого помнил еще по машинной школе в Кронштадте. Толчком к их сближению послужило совместное выполнение ответственного партийного поручения. Военная организация РСДРП поручила им обоим провести разъяснительную работу среди матросов команды крейсера «Аскольд», ремонтировавшегося в мастерских Владивостокского порта.

Когда крейсер «Аскольд» находился в Сайгоне, его команда возмущалась грубостью и издевательствами старшего офицера. Местному консулу был заявлен коллективный протест. Матросы потребовали, чтобы старшего офицера-салиста убрали с корабля. Начальство расценило выступление команды как бунт. Крейсер был немед-

ленно возвращен в Россию и поставлен на ремонт во Владивостоке, а его «мятежная» команда, до получения указаний из Петербурга, содержалась под домашним арестом в казармах флотского экипажа. Никого из нижних чинов в город не увольняли и в их кубрики не допускали даже матросов с других, кораблей.

Аскольдовцы были взбудоражены, и достаточно было малейшего повода, чтобы вспыхнуло стихийное выступление против начальства, а оно только и ожидало подходящего предлога, чтобы учинить расправу над «бунтовщиками». Во Владивостоке в те дни свирепствовала реакция, командование крепости мстило теперь солдатам и матросам за проявленную им слабость в период размаха революционной волны. В город стянули карательные части, а революционные организации оказались сильно ослабленными в результате массовых арестов. Несомненно, что любое стихийное выступление в подобных условиях было бы обречено на провал. Большевики из Владивостокской военной организации РСДРП опасались, что, доведенные до отчаяния, матросы с «Аскольда» могут стать жертвами спровоцированного властями преждевременного восстания.

Григорию Соколову с товарищами поручили проникать в казармы аскольдовцев и терпеливо разъяснять им обстановку, удерживать матросов от необдуманных действий.

Вместе с Энгельбрехтом и Невежиным Соколов пробирался в казармы к аскольдовцам, приносил им газеты и листовки, беседовал, разъяснял обстановку в гарнизоне. Простые доводы и убедительные примеры немногословного Соколова порой действовали даже сильнее, чем пламенные речи умелых агитаторов. Соколова приветливо встречали в казармах и жадно ловили каждое сказанное им слово. Казалось, опасность преждевременного выступления миновала. Однако случилось непредвиденное.

17 октября 1907 года рабочим Владивостока стало известно, что военные власти готовят судебную расправу над 132 солдатами миной роты, обвиненными в бунте, и что многим из них угрожает смертная казнь. Рабочие портовых мастерских дали протяжный тревожный гудок, по которому все работы в порту были прекращены. Мастерские с пением революционных песен направились к казармам флотского экипажа у Мальцевского базара, чтобы поднять матросов и солдат гарнизона на защиту минеров. Первыми откликнулись на призыв мастерских матросы-аскольдовцы. Они бросились к стоявшим в порту кораблям и стали поднимать их экипажи на вооруженное восстание.

Когда весть о начале восстания долетела до рабочей роты, Соколов, Энгельбрехт и другие близкие к большевикам матросы были весьма встревожены. Каждый из них понимал, что это стихийное и неподготовленное выступление обречено на провал и вызовет много лишних жертв. Однако

они считали своим долгом не покидать массы во время восстания и, раз оно уже началось, помочь восставшим своим участием.

— Братцы, все на помощь восставшим! Разбирайте винтовки из пирамид, берите подсумки с патронами! — громко обратился Соколов к матросам рабочей роты и сам первым бросился к пирамидам, отомкнул замки, раздавая винтовки и патроны подбегавшим матросам.

— Ни с места, сволочи! Всех перестреляю! — заорал вбежавший в кубрик командир рабочей роты капитан Савицкий и бросился на Соколова с поднятым револьвером.

В завязавшейся схватке Григорий Соколов вырвал у Савицкого из рук револьвер.

— Умри, гад! — воскликнул Соколов и дважды выстрелил из отобранного револьвера в ненавистного всей роте офицера, похвалившегося своими связями с жандармским отделением.

Вооружившиеся матросы рабочей роты направились к портовым причалам. Они увидели, что на миноносце «Скорый» уже поднят красный флаг и его комендоры ведут ружейный огонь по скоплениям войск карателей. К восставшему кораблю присоединились и другие. Однако восставшие действовали неорганизованно и беспорядочно. Их вожаки погибли в самом начале восстания под пулями офицеров. Не было никакого плана, не хватало оружия, которое офицерам заблаговременно удалось убрать с кораблей.

Между тем командование крепости, увидев боевые корабли под красным флагом, проявило оперативность в использовании против восставших подтянутых к городу частей карательных войск.

Несколько офицеров из числа ярых монархистов, среди которых задавал тон командир подводной лодки «Скат» лейтенант Гудим, скрытно пробрались на шлюпке на борт миноносца «Скорый» и, действуя стремительно и энергично, сумели дезорганизовать восставших.

Как и предполагал Соколов, стихийное вспыхнувшее восстание было с большой жестокостью подавлено. По приказу коменданта крепости казаки, жандармы и полицейские оцепили весь район, прилегающий к территории военного порта. Каждого матроса или солдата, пытавшегося покинуть порт, арестовывали, а тех, кто оказывал сопротивление, расстреливали на месте. На Светланке лежали неубранные трупы. Летучие отряды карателей шли цепями по территории порта, прочесывая буквально каждый закоулок.

Пытаясь уйти от преследователей, Соколов и Энгельбрехт медленно отходили к зданию портовой электростанции. Там хозяйничал знакомый им еще с петербургских времен бывший подводник с подводной лодки «Дельфин» Михаил Сюткин, в поддержке которого оба были уверены. Демобилизовавшись после окончания русско-

японской войны, Михаил Петрович обзавелся семьей и обосновался во Владивостоке, оставшись работать по вольному найму на портовой электростанции. Став мастеровым, он не прерывал свои давние связи с подводниками и часто оказывал им необходимую помощь, особенно если требовалось кого-либо укрыть, спрятать нелегальную литературу и т. п.

К моменту появления в здании электростанции Соколова и Энгельбрехта там уже находилось несколько матросов, участвовавших в восстании. Со стороны бухты Золотой Рог еще доносились орудийная и ружейная стрельба. Раздавались залпы и одиночные выстрелы и на территории порта. По Светлановской улице каратели конвоировали арестованных матросов и солдат, многие из них были ранены. Повсюду гарцевали казаки разъезды, хлеставшие нагайками встречающих прохожих. Выйти незамеченным с территории порта, казалось, было невозможно. Но находчивый Сюткин, рискуя собственной жизнью, нашел выход. Он стал выводить своих недавних сослуживцев под мокрыми и скользкими сводами канализационного тоннеля, начинавшегося у самой электростанции и выходившего к приемному люку у Мальцевского базара. Все они благополучно выбрались через этот люк с территории порта, а затем Сюткин, уже за спиной цепей полиции и патрулей, поодиночке провел всех по скалистым тропкам сопки в свою хибарку на 4-й Рабочей улице. Здесь Сюткин укрывал спасенных товарищей от карателей до тех пор, пока удалось рассредоточить их по надежным рабочим семьям пригорода.

С наступлением темноты Сюткин отвел Соколова и Энгельбрехта к одному из руководителей местных социал-демократов — к учителю Заречному. Оба друга расселились в комнате небольшой квартирки Заречного. Вид у обоих был утомленный и растерянный. У Соколова, смуглого и черного, похожего на цыгана, заметно отрасла щетина бороды. Блондин Энгельбрехт по сравнению с ним выглядел почти юношей. Оба угрюмо устремили взоры на пол.

— Ну, рассказывайте, как все это случилось, почему не удалось удержать матросов от выступления? — обратился Заречный к Соколову.

— Случилось, как я и предполагал, — промолвил Соколов. — Мы знали, что готовится расправа над минерами, и еще вчера собрались в столовой, чтобы обсудить, что делать, если начнется восстание. Выбрали руководство, вожakov, но неожиданно нагрянула полиция. Забрали почти всех. Мне удалось скрыться с немногими участниками совещания. Когда сегодня утром раздался гудок в порту и у нас в рабочей роте стало известно, что восстали аскольдовцы, было ясно, что восстание вряд ли удастся. Ведь активисты были арестованы. Но эсеры уверяли, что только так можно отвести руку палачей, занесенную над минерами. Матросы им по-

верили. Да и злобы на царизм накопилось столько, что матросов не удержать.

— На восставших кораблях не было оружия — его офицеры заранее свезли на берег, боялись нашего брата. Мы с Невежкиным два часа таскали винтовки из рабочей роты и более сотни их передали на корабли, да и патроны к ним, — добавил Энгельбрехт, — и все за зря. Уже началась расправа. Сотни людей гибнут ни за что... Куда бежать? — продолжал он и переглянулся с Соколовым.

Они долго думали, но не могли принять какого-либо решения. Ни Соколов, ни Энгельбрехт не были профессиональными революционерами, привычными к переходу на нелегальное положение. Вопрос, куда деваться от карателей, навис над ними всей своей тяжестью.

— Вам здесь оставаться нельзя. Если не сегодня, то завтра вас схватят полицейские ищейки, и тогда все... — промолвил, походив по комнате, хозяин. — Поможем вам переправиться в Японию. А сейчас, прежде всего, необходимо переодеть вас в штатское.

По поручению Заречного купили для них кое-какую дешевую одежду. Переодевшись, Соколов и Энгельбрехт стали походить на мастеровых. Заречный предполагал перебросить их вместе с еще несколькими матросами в Японию на транспорте «Монголия», боцман которого был большевиком, но судно еще было в рейсе, и прибытия его ждали со дня на день. Между тем в городе шли повальные обыски и аресты. Приходилось ежедневно менять места ночевки.

Но вот наконец «Монголия» во Владивостоке. В ночь на 27 октября 1907 года все матросы, одетые в штатское (помимо Соколова среди них был еще один молодой подводник), вышли на безлюдную Тигровую улицу. На Морской улице они увидели одинокого городского. Как было заранее условлено, стали изображать подвыпивших мастеровых, и страж порядка не обратил на них внимания.

Когда вышли на причал, у трапа судна их уже поджидал боцман. Торопливо поднялись на палубу транспорта, где не было ни души. Боцман рассовал прибывших по закоулкам грузовых трюмов.

Позднее, уже в Нагасаки, Соколов рассказывал товарищам об этом рейсе:

— Мы почти сутки не вылезали из трюмов, а когда ночью поднялись на палубу и увидели море — нашей радости не было предела. Мы обнимали друг друга. Ведь мы ушли от верного расстрела!

В Нагасаки Соколов, как и остальные матросы, чувствовал себя невесело. Не зная языка, невозможно получить работу, а жить на что-то надо было! Гроши, полученные во Владивостоке от Заречного, были истрачены. Положение обострялось еще и тем, что среди русских эмигрантов отсутствовало единство. Встречались соглашатели, сеявшие панику среди растерявшихся и более слабых. Были и провока-

торы, засланные царской охранкой. Подозревали, что таковым является один из эсеров, выдававший себя за политэмигранта.

Голодные, измученные, не имевшие возможности перебраться в другой город для поиска работы, Соколов и Энгельбрехт были в отчаянии. Как-то, когда они бродили по набережной, к ним привязался тот тип, что выдавал себя за эсера-эмигранта. Пытаясь завоевать доверие приятелей, он высказывал им сочувствие.

— Я готов, если надо умереть за революцию, но обидно погибать на чужбине с голоду! — с тоской произнес Соколов.

— Один вам выход: ехать в Шанхай и просить нашего консула о помощи, — доверительно посоветовал их спутник.

— С чего это будет болеть за печали беглых матросов тот консул? — недоверчиво сказал Соколов.

— Да ведь шанхайский консул из латышей и своего земляка Энгельбрехта и его друга ни за что не оставит в беде! — пояснил тот.

— Допустим так, но где взять деньги на проезд до Шанхая? — отозвался Энгельбрехт.

— Ну, на билеты я вам одолжу, ребята. Консул вам поможет, тогда вернете мне по почте...

Другого выхода не было. Решив воспользоваться советом и помощью нового знакомого, они прибыли в Шанхай с фальшивыми паспортами, которые получили еще во Владивостоке от Заречного.

Консул действительно оказался латышом, но принял истощенных и оборванных просителей довольно сухо. Он потребовал их паспорта и сразу же обнаружил подделку. Вероятно, его предупредил телеграммой провокатор из Нагасаки, сообщив о прибытии в Шанхай беглецов. Консул арестовал обоих друзей и на русском пароходе отправил их под конвоем во Владивосток. Так, пробыв полгода на чужбине, возвращались они на родину.

Во Владивостоке Соколова и Энгельбрехта посадили в гарнизонную тюрьму. Через два месяца — 7 июля 1908 года — Приамурский военно-окружной суд приговорил обоих к смертной казни через повешение. Соколова обвинили в покушении на жизнь офицера, в попытке поднять восстание по заданию военной организации РСДРП, в дезертирстве и проживании по чужому паспорту. Энгельбрехту же в вину поставили участие в бунте и раздачу восставшим оружия.

Ходатайство обоих о помиловании было отклонено. -

В Хабаровском краевом государственном архиве, в фонде Канцелярии Приамурского генерал-губернаторства хранится документ, который гласит, что: «По приговору Приамурского военно-окружного суда 3 сентября 1908 года во Владивостокской тюрьме были повешены машинист крейсера «Аскольд» Леопольд Энгельбрехт и

машинист 2-й статьи с подводной лодки «Сом» Григорий Соколов, бежавшие после восстания в Японию и в Шанхай и арестованные там исполняющим обязанности русского консула Беренсом, к которому они, под влиянием острой нужды, обратились как к земляку Энгельбрехта».

В том же архивном деле сохранилась и предсмертная записка подводника-революционера Соколова, осужденного на смерть. Она адресована заведующему 2-й морской гауптвахтой и заключала просьбу передать все его неказистое имущество: исподнее белье, два полотенца, постель, нижнюю и верхнюю одежду «за ненадобностью» матросу-подводнику Трегубкину, сидевшему с Соколовым в одной камере. В той же записке осужденный просил переслать семейные письма по приложенному адресу...

Так погиб в расцвете молодых сил этот мужественный революционер подводник, сознательно ставший на путь борьбы с самодержавием.

Рассказывая о матросах с подводной лодки «Сом» Леониде Алексееве и Григории Соколове, мы упоминали имя еще одного подводника — Михаила Петровича Сюткина, о личности которого нужно поведать отдельно.

Потомственный рабочий-металлург Михаил Сюткин до призыва на военную службу работал на Урале — на Богословском металлургическом заводе. На флот он попал еще в конце прошлого столетия, став машинистом контр-миноносца «Прозорливый», которым тогда командовал образованный флотский офицер лейтенант Беклемишев. Последний был энтузиастом создания отечественного подводного флота и стал одним из конструкторов первой русской подводной лодки «Дельфин», а позднее — и ее первым командиром. М. Н. Беклемишев добился перевода на свою подводную лодку Михаила Сюткина, которого ценил как специалиста и как человека. Так Михаил Петрович стал одним из первых русских подводников.

Лейтенант Беклемишев был либерально настроенным офицером и сочувствовал идеям русской революции. Общение с ним многое дало Сюткину. Он начал задумываться над положением рабочего люда, аз которого сам лишь недавно вышел. Еще при достройке «Дельфина» на Балтийском заводе в Петербурге Сюткину довелось посещать рабочие сходки, а порой в революционные кружки. Когда подводная лодка, уже с новым командиром — лейтенантом Завойко, прибыла на Дальний Восток, Сюткин и во Владивостоке продолжал общаться с мастеровыми плавучей мастерской Балтийского завода, стоявшей в местном порту. Минно-машинному квартирмейстеру 1-й статьи Сюткину не раз доводилось выполнять поручения рабочих-большевиков с «плавучки», но от более активного участия в работе революционного подполья его сдерживало то, что он в ту пору обзавелся семьей.

Лейтенант Завойко, командовавший

«Дельфином», был мягким человеком, искренне любил своих подчиненных и приходил в отчаяние от того, что местное начальство пренебрежительно относилось к элементарным нуждам подводников. Он часто беседовал со своим минно-машинным старшиной Сюткиным, порой внимал его советам, но, не видя выхода, запил «горькую» и вскоре застрелился.

Михаил Сюткин тяжело переживал смерть своего командира и, когда кончилась война, демобилизовался. Поселившись в хибарке своей жены на склоне одной из сопок, он поступил мастерским в порттовую электростанцию. Как минно-машинный старшина, ведавший на «Дельфине» всем электрохозяйством лодки, Сюткин хорошо разбирался в электродвигателях и аккумуляторах. Не мудрено, что его охотно взяли на электростанцию и вскоре даже назначили ее заведующим.

Став относительно самостоятельным человеком, пользовавшимся доверием начальства, Сюткин не порвал связей со своими бывшими сослуживцами-подводниками, а также с революционно настроенными мастерами. В помещении электростанции назначались явки, устраивались нелегальные сходки, а порой там хранили подпольную литературу. Так Сюткин стал связным между революционным подпольем и матросами, искавшими правду. Когда в 1905—1907 годы во Владивостоке происходили революционные события, Сюткин не был в стороне. Вместе с портвыми мастерами он участвовал в демонстрациях, поддерживал солдат-минеров, которым грозил расстрел, находился среди вооруженных рабочих, матросов и солдат на Вокзальной площади во время вооруженного восстания. После расстрела демонстрантов карателями генерала Мищенко Сюткин был легко ранен, но смело оказывал помощь своим товарищам, истекавшим кровью и прятал раненых от глаз полиции.

На квартире у Сюткина находили себе убежище те моряки, которым угрожал арест и военно-полевой суд за участие в вооруженном восстании. У него постоянно кто-то прятался, кто-то с кем-то встречался. Почти всегда у Сюткина хранились листовки или иная нелегальщина, предназначенная для распространения среди матросов. Он был связан с военной социал-демократической организацией и с ее помощью содействовал тем, кому требовалось эмигрировать в Японию или в Шанхай.

Михаил Сюткин был хорошим конспиратором, и поэтому ни начальство, ни полиция не догадывались о его революционных связях. Администрация порта считала Сюткина «надежным», ему порой доверяли кое-какие сведения о готовившихся полицейских облавах, которые тут же передавались подпольщикам. И все же полиция нет-нет да и наведывалась к бывшему подводнику то с осмотрами, то якобы за справками, а однажды нагрянула с обыском. Уже когда околоточный надзиратель

с двумя городовыми входил в сени квартиры Сюткина, тот еле успел выскочить в окно и спрятать на дне бочки с водой пачку прокламаций.

Более полувека проработал Михаил Сюткин на портовой электростанции, которая позднее стала принадлежать Дальзаводу. Он был всеми уважаемым старейшим ветераном Дальзавода, с которым связал свою судьбу до последних дней жизни. Скончался старый подводник-революционер на 83-м году жизни в 1959 году. Дальзаводцы похоронили его на военном кладбище в Улесе, вблизи могилы героев с крейсера «Варяг».

Во Владивостокском военном порту в 1907 году находилось довольно крупное судно «Ксения», переоборудованное под плавучую мастерскую и базу-матку подводных лодок. В нескольких кубриках по правому борту размещались команды подводных лодок, а в кубриках по левому — жили мастера, ремонтировавшие подводные корабли. Среди мастеровых выделялись двое шустрых подростков: молодой токарь Михаил Дьяков и подручный слесаря Николай Ильин. Они были всеобщими любимцами, распространяли революционные листовки, стояли «на стреме» во время сходов, оба вместе с рабочими, матросами и солдатами участвовали в вооруженной демонстрации на Вокзальной площади в защиту солдат-минеров. Когда позднее оба друга были призваны на флот и стали подводниками — Дьяков мотористом на подводной лодке Балтийского флота «Единорог», а Ильин — тоже мотористом на подводной лодке Черноморского флота «Нарвал», они не оставили революционной работы и с 1916 года стали большевиками. Оба активно участвовали в становлении Советской власти в Ревеле и в Севастополе. Михаил Дьяков был организатором первой партийной ячейки подводников на Балтике, а Ильин — одним из первых в Черноморском флоте выборных комиссаров.

Анализ немногих известных сведений об участии подводников в событиях первой русской революции на Дальнем Востоке позволяет предположить, что оно было более значительным и широким. Вполне вероятно, что команды некоторых подводных лодок целиком участвовали в ту пору в выступлениях против самодержавия.

Во Владивостоке в 1905—1907 годы военные моряки, в том числе подводники, вели борьбу с самодержавием плечом к плечу с рабочими, а также крестьянами, одетыми в солдатские шинели. В их первых рядах всегда находились мужественные представители большевистской партии, делавшие все от них зависящее, чтобы направить движение по правильному пути.

Революционные события 1905—1907 годов во Владивостоке еще раз подтверждают правильность ленинского вывода о всенародном характере первой русской революции.

Л. ВОЛЬПЕ

ИНТЕНДАНТ ВТОРОГО РАНГА

ЛОПАТИН

И ЕГО «ЗАПИСКИ»

(К 60-летию К. М. Симонова)

Еще до начала Великой Отечественной войны интендант второго ранга Лопатин приобрел основательную закалку. Штатский даже и в своей новехонькой военной форме, он, тем не менее, обладал железной выдержкой. В романе К. Симонова «Товарищи по оружию» об этом говорится так: «Лопатин в некоторых вопросах был человеком неумолимой аккуратности. Отправив очередную корреспонденцию, он ежедневно, уже после этого, записывал в свой блокнот десять или двадцать строчек под заголовком «Главное за день». Под главным он понимал то главное, что произошло за день на участке полка, с прибавлением некоторых собственных, казавшихся ему существенными мыслей»¹. Вот эти-то записи и послужили основой целого цикла повестей К. Симонова «Из записок Лопатина» — «Пантелеев», «Левашов (Еще один день)», «Иноземцев и Рындин», «Жена приехала...», «Двадцать дней без войны». «А повести эти, — писал исследователь творчества К. Симонова критик Л. Лазарев, — имеют место на внимание — они принадлежат к лучшему, что написано К. Симоновым о войне»². «Записки Лопатина» еще в работе; судя по ряду сообщений, появившихся в печати, писатель и сейчас продолжает трудиться над новыми произведениями этого цикла.

О стихах К. Симонова, его романах, отмеченных высшей общественной наградой — Ленинской премией, о его драматургии написано немало. О «Записках Лопатина» критикой сказано сравнительно немного. Что ж, теперь в дни юбилея писателя еще раз перечитаем их.

В повести «Жена приехала...» упоминается о том, что Лопатин однажды «на целый год уезжал один на Дальний Восток»

(197)¹. Из других произведений мы узнаем, что он любил читать поэтические сборники, что сам был автором книг о басмачах и об Афганистане, что за участие в одной из арктических экспедиций был награжден орденом «Знак Почета».

Но сначала немного о том, что обозначают слова «интендант второго ранга». В представлении читателей, тем более молодых, «интендант» — это офицер, непременно связанный с интендантством, с органами, обеспечивающими материально-техническое снабжение армии. А ведь Лопатин никакого отношения к интендантству не имел. Интендантскими знаками различия в прошлом отмечены были многие корреспонденты. Например, известные писатели Борис Лапин и Захар Хацревин, с которыми летом 1939 года К. Симонов сотрудничал в газете Забайкальского фронта «Героическая красноармейская».

В январе 1943 года Лопатин был переставлен и получил воинское звание майора. В повести «Двадцать дней без войны» он уже выступает в этом новом качестве. Теперь вернемся к началу его военно-журналистской карьеры.

Участие в событиях, развертывавшихся на Дальнем Востоке за два года до начала Великой Отечественной войны, было хорошей школой не только для Василия Николаевича Лопатина, но и для его «крестного отца» — Константина Михайловича Симонова.

О том, как он, начинавший тогда, но уже довольно популярный писатель, попал в августе 1939 года на фронт, К. Симонов не без юмора рассказывает в своей последней автобиографии. Редактору «Героической красноармейской» Д. Ортенбергу (Вадимову) понадобился поэт. Вернее — те же Б. Лапин и З. Хацревин посоветовали ему пригласить в газету поэта. Большинство ранних стихотворных произведений К. Симонова по своему характеру были героико-романтическими. Это и решило его судьбу. И вскоре на страницах «Героической красноармейской» появились стихи, сразу привлекавшие к себе внимание бойцов и офицеров фронта:

¹ К. Симонов. Собрание сочинений в шести томах. Том 3, М., 1967, с. 251.

² «Литературная газета», 28 апреля 1964 г., с. 3.

¹ Все цитаты из повестей К. Симонова (кроме оговоренных случаев) даются по книге «Из записок Лопатина». М., «Советская Россия», 1965. Цифра в скобках — номер страницы.

Высоко над степью пылают знамена,
Монгольские ветры шумят,
Идут эскадроны, идут батальоны,
Походные кухни дымят...

Летают орлы над широкою степью,
В равнинах шумят ковыли.
Стоим мы на сопках железною цепью
На страже священной земли...

В стихах этих, может быть, еще слабо чувствуется Константин Симонов, один из самых популярных поэтов Великой Отечественной войны, а а го же время — уже чувствуется...

«В 1953 году, готовя к печати сборник избранных произведений Вл. Ставского, известного очеркиста, тоже работавшего в «Героической красноармейской», я обратился к К. Симонову с просьбой рассказать об их совместном пребывании на Халхин-Голе. В письме от 16 мая 1953 года Константин Михайлович привел несколько записей из своего фронтового дневника (спустя полтора десятилетия в несколько иной редакции они вошли в его книгу «Далеко на Востоке»). «Вместе со мною на наблюдательном пункте Ставский все время интересовался всем происходящим...», «Мы прошли через ложбину метров двести длинной. Впереди шел Ставский, я за ним. Вдруг я услышал легкий свист и шлепок пули. Я вздрогнул, заметался. Но Ставский продолжал идти, не оборачиваясь. И опять свист и шлепок. Потом длительная пауза. Ставский все идет, не убыстряя шагов. Прошли еще сто метров. Вот мы почти у холмика, сейчас зайдем за него... Еще свист и шлепок. Еще свист и шлепок. И еще. Ставский идет все так же. Последние десять метров — и мы за холмиком. Только здесь Ставский оборачивается ко мне и говорит: «Кое-где одиночки еще остались, еще несколько дней будут охотиться»».

Даже из этих кратких выписок из халхин-гольского дневника становятся очевидными журналистские принципы К. Симонова, которым он следовал в то время и, очевидно, следует теперь. Их можно свести к самому основному:

— всем интересоваться, во все вглядываться с максимальным вниманием, не разделяя события на основные и второстепенные, под рубрикой «Главное за день» могли порой помещаться записи о чем-то и не очень обязательном;

— рассказывая о событиях и людях, тут же выявлять и свое к ним отношение;

— не скрывать овладевающих им порой чувств страха и растерянности: для себя самого и для своих возможных читателей автор «Записок» прежде всего — не уникал, не сверхгерой, а человек;

— ведя записи, думать о строении фразы, которая своим ритмом, протяженностью, наличием инверсий должна передать и характер происходящего, и состояние пишущего, но не гоняться за красотой стиля как самоцелью...

Этим принципам следует и симоновский герой Лопатин. Судя по всему, человек любознательный, смелый, непоседливый и трудолюбивый. И вовсе не случаен тот факт, что его, одного из самых привлекательных своих героев, направил К. Симонов на Дальний Восток — заполнять новые страницы суровой школы жизни. Но это было в 1939 году. А в повестях, составивших цикл «Из записок Лопатина», действие разворачивается уже в годы Великой Отечественной войны.

В. Г. Белинский писал, что повесть можно рассматривать как главу, вырванную из контекста романа, дополняющую роман и имеющую в то же время самостоятельное значение. Это определение помогает нам понять и жанровую сущность «Записок Лопатина». Они отпочковались от трилогии К. Симонова «Живые и мертвые», но множеством нитей связаны с этим монументальным эпическим повествованием, многими ценнейшими подробностями дополняют его. И имеют совершенно самостоятельное значение.

В критике не раз высказывалось мнение, что К. Симонову не всегда удается передать воспроизводимые им характеры в развитии. Герои участвуют во все новых и новых событиях, встречаются со все новыми и новыми людьми, занимают новые должности, получают новые воинские звания, а характеры их в основной внутренней сущности своей остаются неизменными. В повестях, предназначенных для воспроизведения непродолжительных действий, этот недостаток художественной изобразительности писателя не ощутим. Тут герой не столько должен развивать свой характер, сколько выявлять его. В создании ситуаций, помогающих выявиться характерам персонажей, К. Симонов проявляет чрезвычайно высокое мастерство и изобретательность. Особенно заметно это — в «Записках Лопатина».

В первой повести цикла — «Пантелеев» — действие разворачивается в начале осени 1941 года. Одесса еще держится, но Крым уже отрезан. И отдельная армия, обороняющая его, предпринимает неимоверные усилия для того, чтобы удержать в своих руках занятую ею территорию, привлечь к себе побольше сил неприятеля, нанести ему ощутительный урон. Организованность, самоотверженность, храбрость — вот «три кита», на которых держится оборона. И поэтому совсем не случайно дивизионный комиссар Пантелеев, член Военного совета армии, постоянно стремится, чтобы организованность, самоотверженность, храбрость стали законом жизни каждого бойца и командира. Это не всегда получается. Потому-то, наверное, Пантелеев нарочито резок, требует беспрекословного повиновения, все время личным примером показывает, что значит в его понимании быть храбрым.

К. Симонову удалось создать чрезвычайно рельефный образ, образ-глыбу. Крупную, издаലെка заметную фигуру дивизион-

ного комиссара видишь, запоминаешь надолго. Но есть ли в образе Пантелеева та обаятельность, которая делает положительного героя положительным?

Писатель не показывает члена Военного совета в том качестве, в котором он должен был бы предстать перед нами. В качестве политработника. В течение суток, отведенных ему автором для жизни и чрезвычайно интенсивной деятельности, Пантелеев действует вне круга политработников, он не выступил ни с одной беседой, не прочитал ни одного политдонесения. В сущности, он занимается тем, чем заниматься ему не следует. Он командует, администрирует, подменяет оперативных работников. И, естественно, заметных результатов добиться не в состоянии. Обстановка на участке фронта, где он находится, существенных изменений не претерпела. Более того, приезд Пантелеева приводит к ненужной и бессмысленной гибели командира полка.

Образ этого командира — полковника Бабурова, — пожалуй, самый интересный в повести. И хотя писатель не раскрывает всей гаммы его переживаний, нам становится понятным, что думал и какое потрясение перенес этот человек, которого Пантелеев, не имея на это никаких прав, отстранил от командования полком в пообещав отдать под суд.

Бабуров вовсе не трус. Он сумел в сложной и непрояснившейся еще обстановке должным образом организовать оборону. Но нам неизвестно, как бы сумел он справиться с этой сложной задачей в дальнейшем, ему просто не предоставили этой возможности. А то, что он не стал сопровождать дивизионного комиссара до передовой траншеи, то, во-первых, и самому Пантелееву делать там было нечего (это явствует из текста повести), во-вторых, он не адъютант, не порученец, а старшин, наделенный большими полномочиями командира, которому надлежало весьма малыми силами организовать оборону весьма большого и открытого с моря пространства. Справиться с этой задачей удобнее всего было, именно находясь на своем командном пункте. Командир полка вовсе не должен сам соваться во все «дырочки». В его распоряжении заместитель по строевой части, начальники служб, начальник штаба со своими помощниками, офицеры связи, взвод разведчиков, комендантский взвод. Всем этим нужно было умело распорядиться. А вовсе не бежать, сломя голову, вслед за внезапно возникшим на горизонте начальством...

В одном из своих писем К. Симонов делился такой мыслью: «...Я знаю войну в приложил все усилия к тому, чтобы... правдиво описать все подробности ее. Для меня, как для писателя, является предметом известной гордости то, что именно в этом отношении я почти не встречался до сих пор с упреками со стороны людей,

провоевавших войну»¹. Очень высоко ценя творческую деятельность автора «Записок Лопатина», не раз и не два внимательно перечитав эти «Записки», я как человек, «провоевавший войну», все же должен сказать, что в повести «Пантелеев» подробности войны воспроизведены недостаточно точно. Не будем, однако, забывать, что перед нами ведь не детально проработанная оперативная сводка, а художественное произведение, повесть. Впрочем, и в повести следует стремиться к максимальной исторической и психологической достоверности.

Многое можно было бы сказать о храбрости Пантелеева. Да, он храбр. Но что такое храбрость? С детства мне запомнилась точная, афористически звучащая фраза, произнесенная одним из персонажей русской классики. Когда бывалого, не раз отличавшегося в боях офицера спросили, что значит «быть храбрым», он, не задумываясь, ответил: «Делать то, что нужно». Пантелеев делает порой то, что не нужно. Демаскируя оборону, он среди бела дня (несмотря на все просьбы не делать этого) уходит в тыл по простреливаемому противником пространству. Да, его храбрость картинна. И дорого она обходится. Тяжело ранен, а может быть, убит комиссар полка. Чудом избежал ранения Лопатин, вражеские пули скользнули по его бедру. Совершенно напрасно рисковали жизнью люди, сопровождавшие дивизионного комиссара. В сущности, судить-то нужно было не полковника Бабурова, а его, Пантелеева. Но писатель не судит, а вроде бы восхищается. А чем? Как и всегда в таких случаях, роль последней инстанции в деле берет на себя сама судьба.

«Просчитались! — бросает Пантелеев в лицо полковнику Бабурову. — Я еще повоюю до конца войны» (59). Ему, видите ли, пришла в голову мысль, что командир полка понадеялся на его гибель в бою, как на возможный выход из создавшегося положения. Предположение, ни на чем не основанное, но он уверил сам себя, что это действительно так. «Я еще повоюю», — заявляет он. Но судьба распорядилась иначе. В степи, на восемьдесят втором километре Симферопольского шоссе автомобиль, в котором находились Лопатин, Пантелеев со своим адъютантом, красноармеец-шофер, подвергся нападению фашистских самолетов. «Хотя Пантелеев и вылез из машины первым, но оставался около нее, ожидая, пока остальные лягут в ковет. Наконец, убедившись, что все легли, он тоже прилег на краю асфальта, подложив руку под голову и выглядывая в небо». Но вражеская бомба не очень-то интересуется тем, смелый ли человек находится в зоне ее разрыва. Она «милостива» к тем, кто умеет быстро и надежно укрыться. «Член Военного совета Особой Крымской армии.

¹ К. Симонов. Разговор с товарищами. М., «Советский писатель», 1970, с. 322.

дивизионный комиссар Пантелеев был убит наповал большим осколком бомбы» (71), — сухо констатирует писатель. Да, ему удалось создать колоритное изображение. Еще раз повторю: Пантелеева не забудешь. Но и под обаяние его личности не попадешь. К. Симонов, смелыми, размашистыми штрихами набрасывая этот образ, видимо, не стремился окружить своего героя сферой особой привлекательности. Писатель хотел показать и показал другое: даже в самые трудные, самые критические, самые тяжелые для нас времена войны советские командиры и политработники, действуя решительно, проявляя необходимую твердость, показывали чудеса личной выдержки, храбрости и самоотверженности. Умение же по-настоящему руководить войсками у некоторых из них еще только вырабатывалось...

Повесть «Пантелеев» воспроизводит, воскрешает один день обороны Крыма. По характеру подачи материала она близка к очерку, это типичный образец повести-хроники. Писатель отказывается от разработки какого-либо сложного сюжета. Сюжет — сами события, обстановка, настроения того времени. И писателю, несмотря на некоторые пробелы, удается воспроизвести их довольно точно. Он умело использует прием «двойного зрения», прием, помогающий достичь выпуклости, стереоскопичности изображения. Все, о чем рассказывает в повести, видят два человека: сам автор и его герой — корреспондент центральной газеты, интендант второго ранга Лопатин. И видят все особенно отчетливо — глазами профессиональных наблюдателей и летописцев. Совпадение и расхождение их «видений» помогает создать глубину, прозрачность изображения, более выпукло передать характеры действующих лиц.

Военный быт, атмосфера того времени уловлены автором и переданы в его повести в основном верно. Но несколько издалека, сверху, так как все это мог видеть корреспондент центральной газеты, находящийся здесь в командировке, наездом. Общается он с большими начальниками, крупными характерами. Но не менее крупные характеры могли скрываться и под выгоревшими гимнастерками рядовых бойцов или младших офицеров. Их Лопатин почти не видит, с ними почти не общается. Это не входит в его задачу. И потому то, что он воспроизводит, при всей исторической и художественной ценности все же несет на себе оттенок поверхностности. Так оно было? Так. А может быть, и не совсем так. Ибо боец, постоянный обитатель передовой траншеи, видел все это по-иному, ближе, отчетливее. Побывать же в положении рядового бойца Лопатину все как-то не удавалось. Да он и не стремился к этому.

Самыми удачными очерками, созданными им на войне (узнаем мы в ходе дальнейшего повествования), были очерки о Сталинграде. И не только потому, что уви-

денное и пережитое там затмевало все увиденное и пережитое ранее, но и потому, что на горящей сталинградской земле был он не наездом, наскоком, а долгое время, вместе с бойцами основательно врывшись в эту заскорузлую, обильно политую кровью и сплошь усыпанную осколками землю. «За это время у Лопатина два раза возникал соблазн попроситься в Москву, как говорится в таких случаях, «отписаться». А в сущности, передохнуть от опасности. Но он преодолел себя и высидал. И, наверное, оттого, что дольше, чем когда-нибудь, просидел в одном месте, по многу раз встречаясь с одними и теми же людьми, глубже понял их и лучше написал про них, сам это чувствовал¹. Что «сам чувствовал» — тоже очень важно. Ведь Лопатин — человек совестливый. Слабая работа, в каких бы обстоятельствах она ни создавалась, никогда не могла принести ему ни покоя, ни удовлетворения, ощущения сопричастности с теми великими делами и событиями, свидетелем которых ему посчастливилось быть.

Если говорить откровенно, особенно мне по душе произведения тех наших «батальных» писателей, которые в годы войны сами отстреливались от наседавшего противника на последних своих рубежах, били из «сорокаплаток» по тракам почти вилотную приблизившихся вражеских танков, сами ходили в атаку. Есть в книгах этих писателей то качество, которое дорого стоит, — непосредственность. Беспредельная точность. То, о чем пишут они, не взят, самими пережито, пережито. Лопатин в атаке не ходил (хотя и сопровождал однажды морских пехотинцев во время их рискованного рейда в глубь вражеского расположения). Он видел вроде бы более, нежели рядовой или офицер переднего края. А в то же время — и менее. Но и тот ракурс, который избрал для него К. Симонов, тоже важен, тоже помогает нам увидеть какие-то новые, неизвестные ранее стороны бесконечно многообразной и переменчивой жизни.

Я подробно остановился на повести «Пантелеев» потому, что, как мне кажется, выразившиеся в ней так полно художественные принципы писателя реализовались и в других произведениях этого цикла. Повесть «Пантелеев» можно было бы в полном соответствии с истиной назвать — «Один день». Не случайно следующая за нею повесть «Левашов» в первой редакции называлась «Еще один день». Еще один день войны, еще одна картина жизни, еще один основательно выписанный образ.

О герое этой повести К. Симонов писал: «Левашов — для меня образец человеческого и комиссарского поведения на войне»². Но если «комиссарское поведение»

¹ «Знамя», 1972, № 9, с. 14.

² К. Симонов. Разговор с товарищами. М., «Советский писатель», 1970, с. 323.

этого героя в какой-то мере показано в романе «Солдатами не рождаются», то в повести этого мы не видим. Левашов в ней в несколько ином масштабе и несколько по-другому делает то, что в повести «Пантелеев» делал Пантелеев: подменяет командира. Почему нам следует считать его комиссаром, то есть, прежде всего, политработником, не ясно. Политработой он не занимается. Не лежит к ней его душа. И он сам откровенно говорит об этом: «Эх, не комиссаром бы мне быть...» (92). А вот настоящего комиссара, с любовью, с увлечением занимающегося политическим просвещением, воодушевляющего своих бойцов, писатель в повестях этого цикла так и не показал. И напрасно. Потому что эта неброская, невидная, непоражающая своими эффектами работа создавала предпосылки победы, была интереснее псевдопартизанских выходов много отчаянного смельчака, украшенного комиссарскими нашивками.

Действие повести «Иноземцев и Рындин» разворачивается на крайнем северном фланге тысячекилометрового фронта. Здесь холодно. А от произведения этого веет особым теплом. Может быть, потому, что действуют тут люди, предельно наделенные высшим человеческим даром — даром человечности.

Лопатин увязался вслед за группой разведчиков в тяжелейший и рискованный поход в глубь территории, занятой противником. Корреспонденту необходимо принять участие в этом походе, он должен хоть ненадолго побыть в роли рядового участника войны, побыть под огнем, каждым нервом ощутить то, что постоянно ощущают бойцы переднего края. На побережье Баренцева моря линия фронта проходила там, где она проходила и до 22 июня. Как ни пытались немцы столкнуть наших бойцов с этой линии, они не могли. К. Симонов вспоминал впоследствии: «...Не только здесь на перешейке, но и на других крайних северных участках фронта все наиболее активные операции были связаны в то время с действиями дальних разведывательных партий. В дни затишья именно они наносили немцам наиболее чувствительный урон»¹. Место корреспондента, если он не хочет ограничивать себя только «дежурным очерком», там, где врагу наносится «наиболее чувствительный» урон. И вот Лопатин в отряде Иноземцева.

К. Симонову удалось великолепно передать обстановку этого похода, суровую напряженность и шутки разведчиков. Внимание к «мелочам», но таким «мелочам», от которых зависит многое:

Майор, проверив по карманам,
В тыл приказал бумаг не брать:
Когда придется, безымянным
Разведчик должен умирать.

Но это только говорится так — «безымянным». А в действительности за каждой безымянной фигурой, одетой в белый маскировочный костюм, скрывается неповторимая, интереснейшая личность. И задача художника — раскрыть сущность этой неповторимости.

Как бы ни был скромн, неприязнителен, выносив Лопатин («У меня завидное для моих лет здоровье старого жилистого петуха» (148), — без излишней скромности говорит он о себе), в группе он воспринимается как балласт, инородное тело («Третий лишний — я», — писал о подобном эпизоде, в котором довелось ему участвовать, сам К. Симонов)¹. И, естественно, командир группы капитан-лейтенант Иноземцев не доволен. Он сдерживает себя, а недовольство все равно прорывается наружу. Лопатину слышны раздраженные нотки в его голосе, он видит, с какой неприязнью поглядывает порой на него этот офицер. Но не видит, не знает, что Иноземцев приказал одному из надежнейших и опытнейших разведчиков — старшине второй статьи Андреевичу постоянно подстраховывать его, Лопатина, не дать пропасть в случае чего. И все это тактично, незаметно, неназойливо.

Образы Иноземцева и Рындина, хотя и показаны всего лишь в одном эпизоде, намечены немногими штрихами, заметно выделяются в длинной галерее образов, созданных К. Симоновым. Может быть, потому, что с прототипами этих героев (капитан-лейтенант Инзарев и майор Люден) автор участвовал в настоящей боевой операции, делил смертельную опасность, видел их в деле. Это люди в основном, в главном, в отношении к своим обязанностям чрезвычайно схожие, во всем же остальном — представляют собою полную противоположность. Сдержанный, молчаливый, немного мрачноватый Иноземцев и веселый, остряк южного типа — Рындин. Внешне они как будто бы даже недолюбливают друг друга, подшучивают (и порой довольно язвительно) друг над другом. Но в действительности это настоящие боевые друзья. В них нет той нарочитой резкости, которая отталкивала нас от Пантелеева, той лихости и грубоватого панибратства, которые невольно коробили при знакомстве с Левашовым. Они люди, и человечность их все время дает себя чувствовать и в отношении к рядовым морякам, и в отношении к корреспонденту — интенданту второго ранга Лопатину, и в отношениях друг с другом. «Справедливость начинается с оценки тех, кого не любишь», — заметил как-то Лопатин. Справедливость — главное во взаимоотношениях Иноземцева и Рындина. В одной из дальних разведок Иноземцев погиб. Рындин тяжело переживает это событие. Всегда немножко задиристый, немножко хвастливый, он отдает должное своему ушедшему из жизни товарищу. «На риск, если хотите знать, он

¹ К. Симонов. Записки молодого человека. М., «Молодая гвардия», 1970, с. 58.

¹ К. Симонов. Там же. с. 67.

чаще меня шел, — говорит он Лопатину. — Только я любил об этом трепаться, а он никогда» (159). Вот такие люди — отчаянно смелые, решительные, беспредельно преданные долгу и своим товарищам, а в то же время — сдержанные, нежелающие а неумеющие «трепаться», и являются подлинным украшением «Записок».

Чтобы уловить сущность писательского поиска, проведенного в них К. Симоновым, сравним их с некоторыми другими материалами.

В конце октября писатель был направлен в район Мурманска (вернулся оттуда в Москву лишь 4 декабря 1941 года). Сделал он там, как и в других местах, куда закидывала его корреспондентская судьба, очень много. Центральным же эпизодом поездки был поход в составе разведывательной партии в ближний тыл противника. По времени поход этот совпал с великим праздником советского народа: «На втором привале, лежа на снегу за скалой и потихоньку покуривая в рукава, мы вдруг вспомнили, что ведь сегодня праздничная ночь — с 6 на 7 ноября»¹.

Ближайшими литературными итогами похода были записи в блокноте и «подвальный» очерк «В праздничную ночь». Конечно, они не могли вместить в себя всю полноту впечатлений, владевших автором, уже в ту пору рассматривались им как первые эскизы. Следующий этап овладения этим богатейшим материалом — работа над сценарием кинофильма «Смоленская дорога», которую К. Симонов вел вместе с Всеволодом Пудовкиным. Уже тогда, поздней осенью 1943 года, у Вс. Пудовкина возникла идея создать фильм на основе фронтовых дневников своего соавтора. Его интересовали не надуманные приключения, встречи и размовки, «не личные драмы, а драмы войны»². А раз так, то самой удобной фигурой, которую можно поставить в центр фильма, становится фигура военного корреспондента, человека, который сегодня может встречаться с одними, а завтра с другими, сегодня быть здесь, а завтра там... В течение месяца сценарий был написан, но по ряду причин воплотить его в фильм не удалось. В 1968 году уже после смерти Всеволода Илларионовича К. Симонов опубликовал этот сценарий, и нам теперь видно, что это — еще одна, может быть, не самая удачная, попытка придать незабываемым впечатлениям реальность, сделать их художественно ощутимыми.

Из первоначального наброска репортера, героя «Смоленской дороги», возник Синцов, один из ведущих персонажей трилогии «Живые и мертвые». Но Синцов быстро сошел с журналистской стези. И появляется Лопатин.

Повесть «Иноземцев и Рындин» была написана в 1963 году. Событийная канва ее

точно следует действительно происходившим событиям, то есть тому, что запечатлено в дневниковых записях автора, его очерке «В праздничную ночь», соответствующих эпизодах сценария «Смоленская дорога». А вот сами образы претерпели значительные изменения, пополнились новыми характерными черточками, «ожили», полнее выявили свои заветные, только им присущие качества. С новой стороны увидели мы и самого Лопатина.

И все же в повести многое идет от очерка: сдержанный тон повествования, экономное распределение света и тени, скупой переданный пейзаж. И, несмотря на все это, К. Симонову удалось увлечь нас обаянием лиризма, овеять суровые картины войны дыханием поэзии. Скорее всего потому, что поэтичны сами герои, за суровой внешностью бывалых, прокаленных ветрами Заполярья солдат, скрывающих богатейшее содержание, привлекательнейший, непостижимый человеческий мир.

К. Симонов отлично умеет подавать детали, характеризующие его персонажей. И все же, как мне кажется, порой он непростоительно скуп. Вот в передаче Рындина мы узнаем об обстоятельствах гибели его друга Иноземцева (последовавшей вскоре после похода, в котором участвовал Лопатин): «...В километре от фиорда началась перестрелка. Услышав ее, Иноземцев пошел на риск: взял с собой группу и углубился на берег, навстречу выстрелам. Отходивших к берегу разведчиков спасли, а перехвативший их немецкий патруль перебили, но в этой перестрелке Иноземцев был убит наповал» (158). Здесь точно изложены обстоятельства дела. Но печальное известие это подано как-то бесстрастно, информационно, без «грустинки» в голосе.

Стилю К. Симонова присущи пружинная гибкость и твердость. Но эти твердость, лаконизм, предельная четкость, столь необходимые хорошему репортажу, наносят некоторый урон собственно художественности, приглушают тонко вибрирующие интонации рассказчика. Послушаем, как примерно такое же сообщение передает читателям юный комбат Гальцев — один из героев повести Вл. Богомолова «Иван». Он вроде бы рассказывает о гибели офицера разведки капитана Холина тоже спокойно, бесстрастно. Но сколько напряжения, восхищения подвигом товарища, сдерживаемой тоски в этом «бесстрастии»: «Холин вскоре погиб во время поиска: в предраассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулеметной очередью Холина перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату...»¹. Сопоставление творческих манер двух писателей помогает нам более отчетливо почувствовать некий рационализм, перечислитель-

¹ К. Симонов. Записки молодого человека, М., «Молодая гвардия», 1970, с. 67.

² «Искусство кино», 1968, № 2, с. 119.

¹ Вл. Богомолов. Рассказы. М., Художественная литература, 1975, с. 89.

ность, от которых К. Симонов не избавился вполне и в этой одной из лучших своих повестей.

Но вообще-то повести, входящие в цикл «Из записок Лопатина», работают хорошо, существенно пополняя наши представления о людях и событиях Великой Отечественной войны.

Многое можно было бы сказать о повестях «Жена приехала» и «Двадцать дней без войны». Но, во-первых, это произведения скорее бытового, нежели батально-психологического плана. И хотя война дает себя чувствовать в каждой их строке, они все-таки несколько выходят за пределы той темы, которая затронута нами в этом разговоре. А, во-вторых, повести эти вызвали такое активное (азартное, сказал бы я) обсуждение в критике, что новое что-либо добавить чрезвычайно трудно. Суть творческих завоеваний К. Симонова в этих повестях, по-моему, великолепно выразил Анатолий Бочаров в своей статье «Война неотвязная» (См.: «Новый мир», 1973, № 1).

Перечитав сборник «Из записок Лопатина», мы почувствовали, что интендант второго ранга, а затем майор Лопатин стал нашим близким другом. На первый взгляд — ничем не привлекательный человек. Но постепенно все сильнее дают себя чувствовать такие его качества, как твердость и принципиальность в сочетании с отзывчивостью и справедливостью, неторопливость суждений, глубина и широта взгляда на все происходящее, верность оценок. То, что видит, в чем участвует Лопатин, всегда интересно. Интересно и поучительно. Школа, которую он начал проходить еще до войны на Дальнем Востоке, которая была продолжена в решающих битвах Великой Отечественной, постоянно дает себя чувствовать.

И все же любви своей к романтическим просторам Дальнего Востока автор «Записок Лопатина» не утратил. В «Записках молодого человека» он вспоминает: вскоре после возвращения с Баренцева побережья он услышал от редакционного шофера сообщение о том, что Япония объявила войну Америке и Англии. Волнение было сильным. «...Меня водитель отвез в «Правду». По дороге мне мерещились халхин-гольские степи, и казалось, что я опять попаду на Дальний Восток». В годы войны К. Симонову попасть на Дальний Восток не удалось. В послевоенное время это свое стремление он осуществил. И не раз.

Очерки К. Симонова «Признание в любви» (1967), «Мысли вслух» (1969), «Как это началось...» (1969) — неизбывные свидетельства того, что ранняя любовь «не ржавеет». Запас острых впечатлений, полученных в юности, требует пополнения. И где ж это пополнение получить, как не на дальневосточных землях, овеянных романтикой подвига и созидания.

60 лет — для мужчины возраст зрелости и особенно напряженной духовной работы. Мы отмечаем этот юбилей вместе с автором «Записок Лопатина». Мы помним, что

цикл этот еще не завершен. И мы желаем Константину Михайловичу Симонову новых вдохновений, новых талантливых повестей, новых успехов в творчестве. Интендант второго ранга Лопатин уверенно шагнул по дорогам войны, он еще долго будет шагать рядом с нами.

■ ■ ■

ПЛАМЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Как никогда не погаснет Вечный огонь народной памяти о Великой Отечественной войне и безмерном мужестве ее героев, так никогда не иссякнет эта тема в нашей поэзии и в творчестве поколения, родившегося после нее, и в стихах и поэмах тех, кто еще придет в литературу. Но совсем по-особенному звучит эта тема в поэтических строках участников войны, ибо страницы их книг обладают достоверностью документа, пахнут пороховым дымом.

Сборник сахалинской поэтессы Ольги Голубевой «Встреча с юностью»¹ — тоненькая книжка со звездой и орденой ленточкой на зеленом переплете.

В сапогах, в голубых погонах,
Дни и ночи прикованы к рации.
Что-то вроде богинь погоды:
И глаза, и слух авиации.

Так, видимо, выглядела и сама Ольга Голубева в годы войны, но с подлинно фронтовой скромностью она говорит не о себе, а о своих боевых товарищах Маше, Пашеньке Усовой. Она не устает любоваться ими и многими другими сверстниками, о которых теперь напоминают фотографии.

Драматизм фронтовой любви в лучших строчках Ольги Голубевой удастся передать с лаконизмом немого кино.

...Забить ли мне слова, что он сказал:
«Я скоро. Жди».
И в самолет шагнул.
Был жаркий бой. И прямо на глазах
На «мессера» он Як свой развернул.

Как бы «отставшее» слуховое восприятие этого боя неожиданно концентрируется в другом стихотворении:

Вновь сквозь года услышу вдруг
Тот страшный отзвук вдалеке.
И мне тепло любимых рук
Всю жизнь хранить в своей руке.

Есть в сборнике по-настоящему хорошее стихотворение «Тетя Варя». Высокая простота, точность деталей, пластика этого

¹ О. Голубева. Встреча с юностью. Южно-Сахалинск, Сахалинское отд. Дальневост. кн. изд., 1974.

стихотворения глубоко трогают. В доме состарившейся труженицы тети Вари «...Немо смотрят на нас мужчины со стелны — Соловьевых род».

Так же, как эти фотографии, красноречивы восемь стульев в горнице:

Все, как прежде, стоит на месте.
Вот сундук — я на нем спала.
Восемь стульев когда-то вместе
Здесь сдвигались вокруг стола.
В сорок первом они сомкнулись,
Будто всхлипнув, последний раз,
Тетя Варя в тот день, ссутулясь,
На войну собирала нас...

И концовка:

Увезти бы ее отсюда —
Не поедет она со мной.
Тетя Варя все верит в чудо:
Кто-нибудь да придет домой.

Кроме двадцати стихотворений — не во всем, конечно, равноценных, — в сборник включена поэма «Возвращение» о воспитанниках детдома, ушедших воевать. Здесь тоже лучше всего батальные сцены: они отличаются динамичностью, еще раз подтверждающей фронтовой опыт автора.

Именно оттого, что поэтессе хорошо известна цена мужества, высокой человечности, боевой взаимовыручки, она нетерпима к подлости, трусости, душевной черствости — и не только в военное время. Она не прощает свою ровесницу Майю Купцову и ее тетку, пришедших к заключению, что «надежнее бронь, чем броня» («Возвращение»). Не прощает родной бабушке, побоявшейся взять на себя труд воспитать сироту («Дом родной для меня»). Не прощает человеку, предавшему любовь: «Звала в бреду — был безответен зов. В жару металась, почернев, любовь. Отмучилась. Угасла на ветру. И ты пришел к погасшему костру» («Вот ты и здесь. А писем не писал»).

В творчестве Ольги Голубевой есть один постоянный художественный образ, к которому поэтесса обращается в разное время и в разных стихах. Это образ Волги, живая вода которой для нее — символ детства, символ России: «Мы росли. Все Волга отражала. Все видала старая ветла» («Возвращение»). «Не узнала меня Волга. Волны плещут: откуда? Чья? Прикоснись, — это я, Ольга. — Вот отметина у плеча. Разлучила война с тобою. Время стерло мои следы. А ведь я крещена боем первый раз у твоей воды» («Встреча с Волгой»).

Но именем этой реки не ограничивается символика Родины:

Я вербочку сохранила,
Землячку мою, с Сахалина.
Ее тереблю с грустью —
И пахнет весенней Русью.

В поэме и многих стихах Ольги Голубевой проходит сквозной мотив Родины-

матери, взрастившей детей «на ладонях своих». И так же органичен для этого второго сборника поэтессы сквозной мотив Вечного огня, заставляющего нас застыть в безмолвии, как застыли в бессмертии гранитные богатыри-солдаты, перед чьими пьедесталами мы склоняемся:

Спят мертвым сном сыны Отчизны
В земле, священной для меня.
Внук — продолжение их жизни —
Замрет у Вечного огня.

Л. ДОРОФЕЕВА.

■ ■ ■

ЛЕТОПИСЬ

ВСЕНАРОДНОЙ

СТРОЙКИ

Строящаяся Байкало-Амурская магистраль окажет влияние на развитие экономики огромной территории протяженностью в три тысячи километров и шириной триста—четыре тысячи километров. В зону БАМа войдет площадь более миллиона квадратных километров. Возникнут новые экономические районы в Сибири и на Дальнем Востоке, для народного хозяйства нашей страны откроются новые подземные кладовые, появится возможность более полного использования лесных богатств.

Еще ни одна страна не прокладывала подобных железнодорожных магистралей в столь сложных условиях. Строителям трассы необходимо возвести около ста сорока мостов общей протяженностью более тридцати километров, перебросить их через такие крупные и бурные реки, как Лена, Киренга, Олекма, Нюкжа, Зeya, Селемджа, Бурей, Амгунь, Амур. На своем пути строителям предстоит преодолеть несколько крупных хребтов: Байкальский, Северо-Муйский, отроги Станового, Дуссе-Алинь. Здесь будут пробиты тоннели. Крупнейший из них — длиной более пятнадцати километров...

О БАМе много пишут, говорят, слагают песни. Понятен пристальный интерес к «стройке века» журналистов, писателей, поэтов, композиторов. Сегодня тут проходит передовая трудовая фронта и наиболее ярко проявляются черты характера трудового человека, воспитанного социалистическим обществом.

Появилось уже немало хороших очерков, репортажей, статей о тех, кто прокладывает второй путь к океану. О тех, кто, отрешившись от городских удобств, переселился в палатки и передвижные домики и упорно одолевает вечную мерзлоту, непроходимые болота и таежные дебри, по зову партии строит здесь десятки будущих новых поселков и городов. Но надо ска-

зять и другое: во многих случаях авторы, стремясь удивить читателя масштабами стройки, лишь бегло касаются тех, кому предстоит эту стройку вершить. Из разных источников читатель получал примерно одну и ту же информацию, и не так уж много нового узнавал о героизме, нравственных и духовных качествах первостроителей БАМа. Писалось немало о неунывающих ребятах с гитарами, романтиках. А то, как проявили себя в деле эти ребята, преодолевая подчас неимоверные трудности, оставалось в тени. О серьезных проблемах стройки, ее нуждах и неизбежных конфликтах вообще пишут мало.

Приятно поэтому порождала отсутствием репортерской торопливости, обстоятельностью и вниманием ко многим важным вопросам стройки книга о БАМе, выпущенная Хабаровским книжным издательством¹. Это сборник очерков, репортажей, статей, документов и фотодокументов о всенародной стройке и ее людях.

Панорама строительства Байкало-Амурской магистрали дается с трех точек: Иркутской и Амурской областей и Хабаровского края. Книга и разделена на три главы, соответствующих зонам развернувшегося строительства: «БАМ. Западный участок», «Бам. Центральный участок» и «Бам. Восточный участок».

Эта последовательность расположения материалов не случайна, такова была редакторская задумка. И она позволяет зрителю представить себе, как идет прокладка железнодорожной магистрали от Лены к океану, что уже сделано и что предстоит сделать. Книга открывается картой, на которой изображена вся дорога с уже имеющимися и будущими станциями. Карта как бы приглашает читателя совершить путешествие по БАМу, представляя ему в качестве надежных гидов авторов сборника. И начинается «путешествие» со вкладки фотографий (кстати сказать, издательство не поскупилось на хорошую бумагу и полиграфическое исполнение снимков отличное), с которых на нас смотрят заборные, полные энтузиазма лица строителей, открываются радости и тяготы их жизни. Над фотографиями же заверстаны документы другого рода: выдержки из писем и высказываний молодых строителей. Документы эти являются как бы эпиграфом к книге.

«Мы комсомольцы, нам по 18 лет. Мечтаем о комсомольско-молодежной стройке Байкало-Амурской магистрали. Мы горим желанием попасть на эту ударную стройку, быть вместе со всеми, выполнять любую работу, бороться с трудностями и неудачами, которые будут на нашем пути».

«Причиной, вызвавшей во мне желание ехать на строительство БАМа, является не поиск романтики и труд-

ностей, а желание построить свою дорогу, увидеть своими глазами, с чего начинаются эти стальные магистрали».

«Только первопроходцы могут испытать себя на смелость, на характер, на упорство... Я хочу узнать себя до конца, мне это очень нужно».

Категоричность, пафос этих заявлений принимаешь очень близко к сердцу, понимая, что тут человек может мыслить высокими категориями, и в этом нет никакой фальши.

Несколько особняком от основных глав стоят две очень важные статьи, раскрывающие значение строительства Байкало-Амурской, — это статьи председателя Госплана СССР Н. Байбакова — «Величие планов, великие дела...» и министра геологии СССР академика А. Сидоренко — «БАМ и освоение природных богатств». Авторы раскрывают значение стройки с точки зрения ее экономического потенциала в будущем, ее влияния на дальнейшее ускоренное развитие производительных сил огромного района, освоения сырьевых ресурсов Сибири и Дальнего Востока.

Далее идет рассказ о том, как претворяются в жизнь эти планы. Рассказ о каждом участке начинается с хроники, проследившей день за днем все важные события стройки. Речь идет о том, как шли изыскания трассы, как с первого колышка начиналась стройка: рубились просеки, через которые потом пройдет дорога, закладывались первые поселки и станции, велись взрывные работы и отсыпка полотна. Документы эти волнуют своим лаконизмом и масштабностью сделанного. К ним будут обращаться последующие поколения, как мы сегодня обращаемся к документам о строительстве Магнитки и Комсомольска-на-Амуре.

Хроника обрывается декабром 1974 года, за пять месяцев до пуска первого участка дороги Бам — Тында, соединившего Транссибирскую магистраль со строящимся БАМом.

Ценность книги и в том, что в ней в литературно-художественных очерках показаны строители БАМа. И не просто показаны трудности их быта, палаточная романтика, а прослеживаются характеры современника во всей их жизненной конкретности и неповторимости. Люди изображены в их отношениях друг к другу, к труду, к обществу. Читатель в очерках найдет немало примеров тому, как в борьбе с трудностями формируются характеры людей, закаляются, как отсеиваются люди слабые и безвольные. Жизнь стройки показана правдиво, без прикрас.

В этом плане особенно хотелось бы отметить очерки Л. Шинкарева «БАМ. Письма с трассы», Ю. Балакирева «Хроника первых километров», П. Лосева «От Лены до Амура», очерк электрика стройки Г. Лободы «Серебряное звено», путевые записки писателей В. Никонова и О. Хав-

¹ БАМ. Панорама всенародной стройки. Год 1974. Выпуск первый. Хабаровск, Кн. изд., 1975.

кина «Утро великой стройки», репортажи В. Анисеева «Восточное направление».

Инженер-изыскатель А. Побожий, работающий на БАМе с 1933 года, в своем интервью-исповеди о пройденном трудовом пути, завершающем книгу, признается: «Это самая трудная трасса в моей жизни». И, рассказывая о том, как много интересного и невероятно трудного было в жизни изыскателей и тех, кто потом шел по их следам, прокладывая стальную трассу жизни, А. Побожий восклицает: «Хоть книгу пиши! — и сокрушается: — Только мало таких книг».

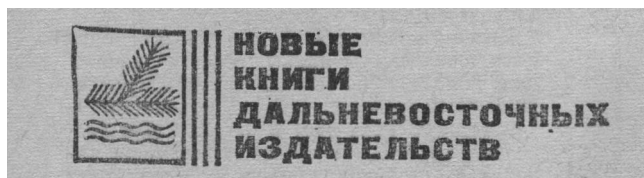
Одна из таких книг, на наш взгляд, появилась. И в этом, помимо коллектива авторов, немалая также заслуга редактора-составителя книги Ю. Ефименко.

Упрекнуть издателей можно, пожалуй, только в одном: в книге пока все же больше путевых очерков-впечатлений, нежели очерков, прицельно направленных на исследование человека и тех или иных важных проблем всенародной стройки. Но это, видимо, неизбежные издержки в освоении новой и очень важной темы.

Приятно, что на титуле рядом с названием книги стоит: «Выпуск первый». Хабаровское книжное издательство намерено выпускать такие ежегодники до конца строительства трассы. Таким образом, будет создана летопись всенародной стройки, значение которой трудно переоценить.

Книга достойна быть представленной всеобщему читателю.

В. ФЕДОРОВ.



ХАБАРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Янгузов З. Ш. КОМИССАРЫ «НАШЕНСКОГО КРАЯ». Слово о комиссарах Советской Армии — дальневосточниках. Лит. подг. Ю. Л. Яхнина. Благовещенск, Амурское отд. Хабаровск. Кн. изд., 1975. 272 с. с илл. (Замечательные дальневосточники). Тираж 15 000 экз. Цена 52 коп.

Книга, написанная доктором исторических наук профессором З. Ш. Янгузовым, тематически примыкает к его работе «Созвездие полководцев», вышедшей в Хабаровском книжном издательстве в 1972 году. В «Созвездии полководцев» рассказывалось о выдающихся советских военачальниках-дальневосточниках, а в этой книге повествуется о четырнадцати видных комиссарах-дальневосточниках, многие из которых были крупными партийными и государственными деятелями. Книгу предваряют предисловия генералов армии П. И. Батова и И. И. Федюнинского.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГВАРДИЯ ПЯТИЛЕТКИ. Выпуск четвертый. Сб. очерков. Сост. Н. П. Рябов. Хабаровск, Кн. изд., 1975. 224 с. Тираж 3000 экз. Цена 30 коп.

В очередном четвертом выпуске серии «Дальневосточная гвардия пятилетки», в

очерках журналистов и писателей идет речь о передовых тружениках предприятий и строек, совхозов и колхозов Хабаровского края, отличившихся в социалистическом соревновании за досрочное выполнение планов третьего и четвертого годов девятой пятилетки. Многие люди и передовые коллективы, ставшие героями очерков, за успехи в труде удостоены высоких правительственных наград.

Шестакова Ю. ОГНИ ДАЛЕКИХ КОСТРОВ. Повесть и рассказы. Хабаровск, Кн. изд., 1975. 432 с. Тираж 30 000 экз. Цена 81 коп.

В этой книге представлены документальное повествование «Новый перевал» и рассказы известной дальневосточной писательницы Ю. А. Шестаковой. Произведения сборника объединены темой освоения дальневосточной тайги, пронизаны романтикой открытий. К повести «Новый перевал» писательница вернулась много лет спустя после того, как совершила путешествие к истокам реки Хор, в центральную часть Сихотэ-Алиня, дополнив ее новыми материалами. В повести рассказывается о судьбе первого удэгейского писателя Джанси Кимонко. Рассказы посвящены геологам, охотникам, юношам и девушкам, работающим в глухих таежных поселках.

А. ЕВГРАФОВ.



ПОД ЗНАКОМ «ЛЕТЯЩЕЙ РЫБЫ»

Летящая рыба на фоне земного шара — символ службы акклиматизации обитателей водоемов. Сегодня «летающая рыба» часто встречается на транспортных документах в аэропорту Владивосток. Срочный груз! Сотрудники пресноводно-акклиматизационной станции должны доставить в Ленинград для выставки «Инрыбпром-75» пресноводных животных — беспозвоночных и молодь различных видов рыб бассейна озера Ханка.

Вторая группа сотрудников станции вышла в море на сейнерах рыбокомбината «Попов». На палубах судов и на берегу вовсю работают компрессоры, нагнетая воздух в полиэтиленовые пакеты и каны (большие прямоугольные 45-метровые емкости из оргстекла), в которых будет осуществляться транспортировка обитателей моря.

С глубины тралами поднимается богатая добыча морских организмов. Акклиматизаторы быстро сортируют улов, отбирая только нужных им рыб и беспозвоночных — трубочников, ярко-оранжевых голотурий, роскошных синих, белых, красных, похожих на подводные цветы актиний, асцидий...

С помощью водолазов собирают трепангов, гигантских дальневосточных крабов, морских звезд, ежей, мидий, гребешков, типичные для дальневосточных морей водоросли.

Самолеты, идущие специальным рейсом, доставят все это в Ленинград.

В. ИГНАТЕНКО.

«Красное знамя».

ИСКА-
КА-
ТЕ-
ЛИ

ЖЕНЬ-
ШЕНЯ



Приморье. Край, в котором встретишь и виноград, и лимонник, и заманиху, и аралию, и знаменитый корень жизни — женьшень.

Растет женьшень в самых дебрях Уссурийской тайги. Найти его — дело не простое. Не каждому улыбается счастье.

Почти каждый год ходят на поиски женьшеня Виктор Михайлович Гаевский и Леонид Иванович Юваншин. Они работают в Лазовском госпромпхозе.

Оба коренные дальневосточники, с тайгой связана у них вся жизнь.

Вот и в это лето отправились за женьшенем.

Ходили два дня. Десяток сопок перебрали, а на корень так и не могли наткнуться. Уже было отчаялись, сомнение закралось, что не повезет в нынешнем сезоне. Такое случается тоже.

Решили заглянуть еще в один распадок. Перевалили несколь-

ко хребтов. На перевале отдохнули и снова в поиски. Солнце в зените, жара несносная, трудно ходить по сопкам. Но настойчивость следопытов была вознаграждена. К вечеру напали они на целое женьшеневое семейство. Взяли самые крупные, один корень был пятисучковый — граммов под сто. Вот в этот счастливый момент, я и сфотографировал искателей.

И. ШИМАНСКИЙ.

СЕМЕЙКА СОБОЛЯТ

Обитатель тайги и каменистых россыпей — соболь — в прошлом в пределах Хабаровского края был почти полностью истреблен. Сохранились лишь отдельные небольшие по площади очаги его обитания в труднодоступных, изолированных друг от друга участках тайги. Но благодаря своевременно наложенному запрету на добычу соболя и успешному расселению удалось восстановить былые запасы этого ценного пушного зверя. И теперь в пушных заготовках края соболь прочно занимает одно из первых мест.

Как-то среди зимы в верховьях реки Тырма, что в отрогах Хингана, промышлял известный зверолов Михаил Иванович Симакин. Ежедневно, проверяя выставленные капканы и ловушки, проходил он тайгой по своему путику не один километр. И вот, делая очередной заход, видит на снегу, близ зарослей кедрового стланика, дразнящий парный след — два, два, два... Раз-машисто прошел соболь. А немного дальше — вот он сидит в ловушке, злится... Принес Михаил Иванович этого соболичку домой в Тырму живым и посадил в клетку. Собирался сдать его в зоокомбинат, тем более, что заказ на отлов был. Но не успел этого осуществить, как зверек заболел, зарылся в сено, перестал есть и, кажется, вот-вот совсем затихнет. Очень загоревал Михаил Иванович — такая потеря!

А на утро, 13 января, взглянул в клетку и об*наружил соболь сидит живым, бока впалые, а в тщательно прикрытом сверху гнезде из мягкого сена, лежат трое соболят. Чего-чего, но этого опытный зверолов никак не ожидал. Почему так рано, не вовремя, зимой, оценилась соболичка? Ведь насколько известно, соболь приносит потомство весной, в апреле, в мае. Самая ранняя дата, зарегистрированная по Верхнебуринскому району, — 9 апреля. А тут, среди зимы, в самый мороз, принесла.

Родились малыши почти голыми, в чуть заметном светлом пуху. Клетку, где находилось соболиное семейство, для удобства пришлось открыть, и начались заботы. Соболиха-мать тщательно оберегала свое потомство, не любила, когда люди мешали и лезли, пытаясь помочь. Она все время, затаившись, лежала рядом и тихо ворчала.

Так тянулось долго. Но соболят все же выходили.

— На двадцатые сутки, — рассказывает Зоя Михайловна, хозяйка дома, — соболята, еще слепыми, уже начали тянуться на запах молока и лизать ложку со сгущенным молоком. И только на 34 день у них порезались глаза. Вскоре зве-



рята стали шевелиться, ползать и без конца пищать. Скулят, будто дребезжат... Соболь — всеядный зверь, и малыши, осмелев, быстро научились есть все, что им давали: мясо, рыбу, овощи, ягоды — только баранины почему-то не любили. Особенно им нравилось сгущенное молоко — одна банка на два дня — и конфеты, ирис с орехами.

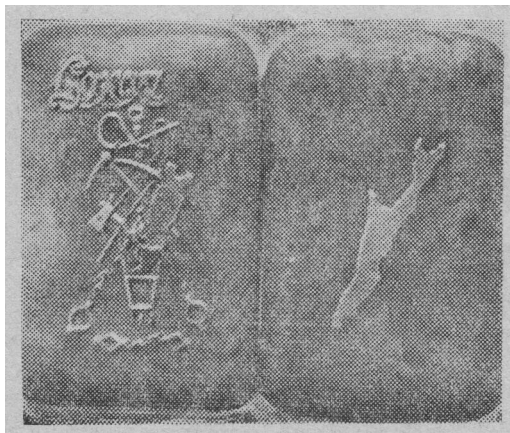
Мать-соболиха очень нервная, за ней нужен глаз да глаз. Все время думает о том, куда бы припрятать своих ненаглядных деток, и по ночам, пытаясь увести свое семейство на волю, прогрызает дырки по углам комнаты. Поэтому пришлось перевести зверей в сарай. Там попросторнее и надежнее.

Живя в сарае, в просторной клетке — вольере, пушистые зверьки тоже без конца возятся, играют друг с другом, ссорятся. Все время раздаются их твякающие голоса. На шерстке поблескивают искры, хорошо заметные в полумраке. Горящие черные глаза шалеют от любопытства, — кто пришел? К хозяевам соболята привыкли, не боятся и свободно идут на руки. Но, когда зайдет кто-либо посторонний, сразу же, проворные как молнии, прячутся. Чувствуют, что чужой.

Вырастив соболят, Михаил Иванович хотел выпустить их, как потеплеет. Но, подумав, мы соболя решили, что соболята настолько привыкли к людям, что выпущенные на волю сразу же будут кем-нибудь пойманы. И тогда решили передать соболят в зоокомбинат. Пусть радуют людей а одним из зоопарков страны.

В. ЯХОНТОВ

УНИКАЛЬНЫЙ ПОРТСИГАР



На предлагаемом снимке портсигар, изготовленный в девяностых годах прошлого столетия каторжанином или ссыльным поселенцем на острове Сахалине. Портсигар сделан из березового напыла-капа. На его крышке ручной филигранной работы инкрустации из накладного серебра. Это сделанные в миниатюре неизбежные принадлежности каторжанина: ручные и ножные кандалы с поясным креплением, тачка, топор, лопата, лоток для промывки золотоносного песка, кирка, мотыга и плетель надсмотрщика. Вверху надпись серебряной вязью: «Сахалин».

На нижней крышке портсигара серебряное рельефное изображение острова Сахалин с указанием всех бывших тогда населенных пунктов, в основном ссыльных поселений. Названия многих из них сохранились по настоящее время.

Портсигар привез на материк в 1901 году забайкальский казак Артамон Васильевич Каретников. Шестидесять восемь лет он служил семейной реликвией и в 1969 году сыном Каретникова был подарен автору этих строк и пополнил его коллекцию.

П. ГОЙХМАН.



Мастерица Вера Бельды из села Найхин Нанайского
района

Фото А. Шляхова

50 коп.

ИНДЕКС
73103